

СИБИРСКИЕ ОГНИ



9/2023



Вальтер Вильде.
Девочка на бревне.
1985

Вальтер Вильде.
Забывтая улочка.
2002



На первой странице обложки: Вальтер Вильде. Мотив с молодой мамой. 1987

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Михаил Косарев
ответственный секретарь

Лариса Подистова
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Татьяна Седлецкая
редактор отдела художественной литературы

Михаил Хлебников
начальник отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова
редактор отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Карасёв
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Л. Р. Юкляева
Верстка: С. В. Колотилов

9/2023

Содержание

ПРОЗА

Юрий ПОКЛАД. Константиновский рубль . Повесть.	3
Манифест «Новой волны деревенской прозы».	57
Анастасия АСТАФЬЕВА. Всё на свалку! Рассказ.	59
Максим ВАСЮНОВ. Пух в октябре . Рассказ.	65
Артем ПОПОВ. Проводник . Рассказ.	77
Наталья МЕЛЁХИНА. Пупсик . Рассказ.	83

ПОЭЗИЯ

Анна ПАВЛОВСКАЯ. Кровавый дым . Стихи.	54
--	----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Весна в набеге половецком... Стихи.	89
Александр ДЕНИСЕНКО. Воспоминаний горький мед... История создания «Гнезда поэтов».	97

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Мария КУЗЬМИНА. Лик в пустом иконостасе	106
<i>Прямая речь</i>	
Владимир Алексеев: «Все мы немножко старообрядцы!..» Окончание.	114
Вячеслав ЛЮТЫЙ. Праведница	127
Михаил ТАРКОВСКИЙ. 42-й до востребования . Главы из книги	131

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Капитолина КОКШЕНЁВА. Власть жизни, или Островский в современном театре	157
--	-----

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Елена САФРОНОВА. Несостоявшийся детектив	181
--	-----

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Александр ТИХОНОВ. Ловец времени Вальтер Вильде	186
---	-----

Авторы номера	190
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Юрий ПОКЛАД

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РУБЛЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Вера Николаевна Елисеева, семидесяти восьми лет, жила на втором этаже, Зинаида Петровна Снегирёва, примерно ее ровесница, — на первом, они гуляли по скверу неподалеку от дома почти каждый день. Когда Вера Николаевна была готова к прогулке, она стучала по батарее небольшой гирькой, которую покойный муж Аврелий Николаевич клал когда-то на документы, чтобы они не разлетались со стола от сквозняка. Условный стук: три раза подряд, потом еще два, перепутать было невозможно. Минут через десять Зинаида Петровна уже ждала возле подъезда.

Женщины не очень хорошо относились друг к другу. Вера Николаевна считала Зинаиду Петровну туповатой и завистливой, Зинаида Петровна Веру Николаевну — заносчивой и высокомерной. Зинаида Петровна пользовалась губной помадой и средствами макияжа, Вера Николаевна считала, что в их возрасте это недопустимо. Но любое общение в старости лучше одиночества, и они прогуливались вместе по аллеям, разговаривая о разных мелочах, но чаще молча.

Они многое знали друг о друге, поэтому подробности прошедшей жизни старались не обсуждать.

Привычки у них, в соответствии с прошедшей жизнью, сложились разные: Вера Николаевна много лет проработала в библиотеке и любила читать книги, Зинаида Петровна трудилась завскладом на крупном заводе, книг почти не читала, говорила, что от них болят глаза. Не исключено, что эта странная дружба так и продолжалась бы, если б не кот Барсик, который жил у Веры Николаевны с тех времен, когда Аврелий Николаевич был еще жив.

Кот Барсик, серой масти с огромными огненно-желтыми глазами, ненавидел всех, кто приходил к Вере Николаевне, да и хозяйку терпел с трудом; он обладал большим умом, но это не делало его добрее, скорее, наоборот, ожесточало. Был подозрителен и неласков, никогда не давал себя погладить, вырывался из рук молча и яростно; не царапался, но было ясно, что лучше его отпустить и не мучить ласками.

Вера Николаевна любила кота, несмотря на его отвратительный нрав, он был частью ее семьи, третьим после мужа и сына Виталия, она



старалась мириться со сложным характером Барсика, говорила с ним ласково, словно с непослушным ребенком.

Снегирёву Барсик ненавидел больше, чем других людей, чувствуя ложность и фальшь ее поведения.

У Зинаиды Петровны когда-то был муж — грозный и властный Петр Никодимович, имевший среди знакомых и друзей прозвище Крокодилович. К жене он был строг и требователен, иногда сверх меры, по молодости лет случались даже рукоприкладства.

Зинаида Петровна приспособилась жить так, как ей удобно. Зарплата у нее была небольшая, муж выделял деньги на семью скупно, у него образовалась своя жизнь: приятели, выпивка, карты, возможно, и женщины. Зинаиду Петровну этот вопрос сначала волновал, потом перестал. Главное, ради чего она жила и чего с нетерпением ждала каждый год, — отпуск в санатории, путевку в который она неизменно добывала в профкоме через хорошую знакомую, которой приносила нехитрые подарки.

Она сложила о себе мнение как об очень больном человеке, которому постоянно необходима медицинская помощь. На лице у Зинаиды Петровны сформировалось выражение непрерывного страдания, которое требовало от окружающих сочувствия.

На самом деле она была больна ничуть не больше, чем любая женщина средних лет, молва о болезненности нужна была для того, чтобы никто не возмущался по поводу ежегодных санаториев.

К лечению там она готовилась тщательно: шила новые платья, запасалась косметикой, договаривалась с матерью, чтобы та забрала дочь Надю к себе в деревню на месяц. Петру Никодимовичу эти поездки не нравились, он не то чтобы чересчур ревновал жену, но отлично видел двойную бухгалтерию ее страданий.

Прибыв в санаторий, Зинаида Петровна преображалась, из вялой, утомленной работой и хроническим недомоганием женщины превращалась в энергичную, выглядевшую намного моложе своих лет привлекательную даму.

На мужчин у нее был глаз острый, она никогда не ошибалась с выбором. В первые несколько дней, на танцплощадке, стоя в стороне, оценивала контингент. Она точно знала, кто ей нужен. Избранник должен быть незатейлив по характеру, приятной внешности, семейный, при деньгах. Особенным вниманием пользовались шахтеры и нефтяники. Она танцевала с ними, а танцевать она умела прекрасно, выспрашивала обо всем, оценивая кандидата.

После первой ночи любви обвиняла избранника в коварстве, в том, как умело он ее соблазнил, иногда даже плакала.

Мужчина проникался огромной виной и весь последующий месяц неудержимо тратил на Зинаиду Петровну деньги. Тут и рестораны, и увлекательные поездки по живописным окрестностям, и дорогие подарки. Месяц проходил быстро и увлекательно, под конец его Зинаида Петровна заявляла, что о продолжении романа речи идти не может. Мужчины, как правило, на этом и не настаивали.

Потом была война, Снегирёва эвакуировалась вместе с заводом в Ташкент, времена наступили тяжелые, вспоминать о них Зинаида Петровна не любила. Муж погиб на фронте, дочь вышла замуж и уехала, приятные воспоминания остались лишь о довоенной жизни, о тех санаториях со щедрыми поклонниками. Зинаида Петровна рассказывала о них Вере Николаевне, надеясь, что та позавидует, но Вера Николаевна демонстрировала лишь равнодушную брезгливость.

Неприязнь Барсика к Зинаиде Петровне вылилась в то, что он стал справлять малую нужду на половичок перед дверью ее квартиры. Иногда делал это демонстративно, не скрываясь. Кончилось тем, что половичок был принесен и брошен под ноги Вере Николаевне со словами:

— Нате вот, стирайте за своим.

Многолетняя дружба прекратилась, женщины стали гулять в сквере поодиночке, стараясь не встречаться. Барсик вскоре умер. Стук гирькой в батарею замолк до той ночи, когда Вера Николаевна проснулась оттого, что прострелило вдруг сверху вниз всю правую часть тела. Боль была столь неожиданной и резкой, что она вскрикнула. Попыталась шевелить правой рукой, но рука не повиновалась. Вера Николаевна знала, что такое инсульт, однако не могла представить, что он может случиться с ней.

Она не имела склонности к панике, поэтому ситуацию оценила здраво: телефон находится в прихожей, туда не дойти, поэтому позвонить сыну Виталию или внуку Георгию невозможно. Она спокойно относилась к тому, что когда-нибудь умрет, но не ожидала, что это произойдет так скоро и так неожиданно, надеялась еще на несколько лет.

Гирька Аврелия Николаевича так и лежала на подоконнике с тех пор, как совместные прогулки прекратились. Вера Николаевна понимала, что теперь этот стук будет выглядеть малодушием, но другого выхода не оставалось. С трудом дотянувшись левой рукой, она взяла гирьку и ударила в батарею три раза подряд, потом, через паузу, еще два раза. Звук звонко разнесся по спящему дому, Зинаида Петровна страдала бессонницей и не могла его не услышать.

2.

Сын Виталий редко навещал Веру Николаевну, а когда появлялся, все время куда-то спешил, часто взглядывая на часы. Его жена, Варвара Михайловна, бывала один раз в год, на день рождения, но Вера Николаевна не возражала, если б она не появлялась совсем. Варвара Михайловна — добропорядочная, умная женщина, Вера Николаевна не сомневалась, что, когда придет время, она не бросит ее умирать на руках ничего не умеющего сына, но ухаживать за ней будет человек, который давно и убежденно ее не любит. Взаимная неприязнь сложилась сразу же, как только Вера Николаевна увидела избранницу Виталия, ее властное, красивое лицо, и поняла, что с этой женщиной сын счастлив не будет. Варвара Михайловна сначала старалась казаться приветливой, но обмануть Веру Николаевну было трудно, невестка поняла это, и обоюдная ненависть стала явной.





Чаще всего приезжал внук Георгий, Вера Николаевна видела, что он делает это не по принуждению, не по просьбе отца, ему действительно интересно бывать у нее. Вере Николаевне казалось, что его могут заинтересовать подробности ее жизни с Аврелием Николаевичем, и она рассказывала, как впервые увидела молодого подпоручика зимой, в парке, на катке, потом — на балу в дворянском собрании, где их и познакомили. Дальше были записки, передаваемые через знакомых, трогательные по содержанию, свидания в парке, осторожные улыбки и все более откровенные разговоры.

Аврелий Николаевич окончил в Санкт-Петербурге Михайловское артиллерийской училище и был направлен по месту дислокации артиллерийской бригады, сюда, в сибирский город, столицу губернии. Для Елисева, человека замкнутого, знакомство с Верой Николаевной было большой удачей, он чувствовал себя одиноким в большом, неприветливом городе, вдали от матери и сестер.

С каждой встречей взаимный интерес возрастал, Аврелий Николаевич рассказал о том, как был на родине в последний раз, когда ему был разрешен отпуск, как он приехал в приволжский город, где прошло его детство, и в новеньком офицерском мундире шагал от железнодорожного вокзала по Алексеевской улице, к дому, где его ждали родные.

Первой его увидела в распахнувшейся двери сестра Ольга, она бросилась ему на шею с радостным криком. Мама, Анастасия Викентьевна, нежно обняла его и прижала к груди.

— Как жаль, что тебя не видит отец! — с горечью сказала она.

Отец служил начальником почтово-телеграфной конторы и умер семь лет назад, когда Аврелий был кадетом. Отцу, знатоку истории Древнего Рима, он и обязан своим причудливым именем.

Следующим утром пошли на кладбище, где покоился Николай Григорьевич. Владимирская церковь напротив ворот кладбища была, как и прежде, приземистой и родной, вокруг нее — поле ослепительно-белых ромашек.

Перекрестившись, Аврелий поцеловал крест на могиле отца. Он чувствовал, что не скоро побывает здесь вновь, так оно и вышло. Он много раз потом намеревался посетить могилу, но, когда, через десять лет, собрался окончательно, узнал, что кладбище решением городских властей уничтожено, все могилы сровняли с землей и на этом месте разбили парк.

Встречи Веры и Аврелия становились все чаще, дело шло к свадьбе, как вдруг все обрушилось. Германия объявила России войну, бригада подпоручика Елисева оказалась на фронте. Аврелий Николаевич исполнял обязанности младшего офицера 3-й батареи, командиром 1-й батареи был его друг и однокашник по Михайловскому училищу Сергей Энгерт, командиром 2-й — поручик Некрашевич, отважный, но молчаливый человек.

Вера теперь жила письмами Аврелия — из-под Перемышля, из-под Черновиц, из-под Домбровы и Люблина. Письма он отправлял каждый раз, как только представлялся удобный момент.

В декабре 1914 года Елисееву присвоили звание поручика, и он был назначен командиром батареи. Бригада, в которой он воевал, отличилась в Ченстоховско-Краковской операции.

Все эти события подробно отражались в письмах Вере Николаевне, которую поручик Елисеев в разговорах с однополчанами называл своей невестой.

В январе 1915 года Аврелий Николаевич участвовал в Карпатской операции, за проявленную храбрость в боях был награжден орденом Святого Станислава II степени с мечами.

Война набирала ход, становилась все более жестокой. В начале мая 1915 года при обороне позиций под Домбровой Елисеев был контужен, в тяжелом состоянии попал в госпиталь, где пробыл полтора месяца. После выздоровления получил отпуск и отбыл в Сибирь, к Вере Николаевне.

Провести помолвку по всем правилам было невозможно. По традиции требовалось послать сватов в дом невесты, чтобы познакомиться с ее родителями и обсудить подробности предстоящего мероприятия, — это называлось сговор. Но у Аврелия не было ни близких друзей, ни знакомых, ни родителей. В декабре 1914 года Анастасия Викентьевна и сестра Нина, приехав навестить Ольгу, вышедшую в Петрограде замуж, заболели тифом и сгорели за неделю. Попасть на похороны Аврелию не удалось.

Что касается Веры, то и здесь не обошлось без проблем. Она имела фамилию Поречнева, но на самом деле родным отцом — как ее, так и старшей сестры Людмилы — был Николай Степанович Иванцов. Их мама, Евдокия Григорьевна, венчалась с Николаем Ильичом Поречневым, но смогла прожить с ним лишь год, поскольку Николай Ильич страдал запоями, во время которых становился страшен. Строить семью с этим человеком возможным не представлялось, и Евдокия Григорьевна сошлась с соседом по дому — Иванцовым, осужденным в Киеве за банковские махинации и высланным в Сибирь. Впоследствии его оправдали, судимость сняли, но вернуться в Киев он не захотел, поскольку жил с Евдокией Григорьевной как с женой и имел от нее двух дочерей. Когда Евдокия Григорьевна обратилась к Поречневу с просьбой дать развод, тот категорически отказал, обозвав ее нецензурным словом, позорным для порядочной женщины.

Молодых благословили на совместную счастливую жизнь без лишней торжественности. Они на ней и не настаивали. Вера и Аврелий были не прочь сразу же и обвенчаться, но Евдокия Григорьевна этому воспротивилась, мотивируя тем, что между помолвкой и венчанием должно пройти не меньше месяца, но главной причиной было то, что Аврелий уедет на фронт, под пули, и вернется или нет, еще неизвестно.

Вера Николаевна выросла в спокойствии и достатке. Николай Степанович работал главным бухгалтером в банке, являлся уважаемым в городе человеком. Он сумел поставить себя так, что факт незаконного сожительства с чужой женой никогда никем не упоминался. Законного мужа Евдокии Григорьевны городская знать молчаливо вычеркнула из памяти, по-человечески поняв бедную женщину — Поречнев во хмелю вполне мог





и убить, — но это все равно не отменяло мучительный груз позора, который лежал на Евдокии Григорьевне.

Вера Николаевна понимала, что ее ждет нелегкая жизнь, была готова к ней, но не представляла, через какие муки предстоит пройти не только ей с Аврелием, но и всем жителям России в предстоящие годы.

Отпуск был достаточно длительным, и они решили поехать в Саратов, к дяде Елисеева, генерал-майору в отставке, потом подняться на пароходе вверх по Волге до родного города Аврелия Николаевича, чтобы побывать на кладбище, где похоронен его отец, закончить же путешествие предполагалось в Санкт-Петербурге, теперь называвшемся Петроградом, чтобы навестить сестру Ольгу и поклониться могилам Анастасии Викентьевны и Нины.

Вера Николаевна все свои восемнадцать лет прожила в Сибири, никуда не выезжая, поэтому предстоящее путешествие очень ее волновало. Кроме того, она никогда не была знакома с генералом.

Дядя Аврелия Николаевича Петр Григорьевич после отставки по болезни жил в Саратове, семьи у него не было, он неважно себя чувствовал и очень просил Аврелия Николаевича его навестить. Звание генерал-майора Петр Григорьевич получил по выходе на пенсию и очень гордился им. Вере Николаевне хорошо запомнился высокий, грузный человек с седыми висящими усами и короткой бородой. Мутноватые глаза его постоянно слезились, и он промокал их комком носового платка. Аврелий Николаевич под большим секретом рассказал Вере Николаевне о вине, которую Петр Григорьевич за собой чувствовал.

Подполковником он участвовал в обороне Порт-Артура, офицеры и солдаты уважали его за грамотность и бесстрашие. Он, как и другие офицеры, считал, что город можно оборонять еще достаточно долго, но генерал-лейтенант Стессель сдал Порт-Артур японцам. Единственная льгота, которой удалось добиться, касалась офицеров: они могли быть отпущены домой.

Государь своей телеграммой разрешил им вернуться в Россию. Но возникли колебания: одни утверждали, что в императорской телеграмме конкретно указано, что офицерам надлежит вернуться, это приказ; другие говорили, что это всего лишь пожелание. Петр Григорьевич воспринял телеграмму как приказ, оставил свой полк в японском плену и уехал, о чем потом горько сожалел, считая, что запятнал этим поступком честь русского офицера.

Саратов Вере не понравился, город был низкорослым и пыльным, даже Волга его не оживляла, они гуляли с Аврелием по набережной, но больше тяготели к немногочисленным скверам, где можно было без опаски целоваться. Веру больше всего поражала эта перемена в ее жизни: то, что раньше казалось неловким и даже стыдным, теперь было приятным и естественным. Она еще не ощущала себя вполне взрослой, но чувствовала, что во взрослости есть много привлекательного.

Аврелий ходил в военной форме — в гимнастерке на манер солдатской, но из дорогого, явно не солдатского, сукна; зеленые, защитного

цвета погоны были пришиты к гимнастерке. В такой форме ходили все фронтовики. Тогда и была сделана в ателье на главной улице города фотография, которую Вера Николаевна через много лет, после долгих колебаний, решила поставить на этажерку.

Вера гордилась, что ее жених награжден орденом Святого Станислава, бордовый крест на его груди сразу же бросался в глаза. На улице на них оглядывались. В Саратове было скучно, и молодые люди с нетерпением ждали дня, когда сядут на пароход и отправятся вверх по реке. Вере казалось, что в родном городе Аврелия будет интереснее, чем в Саратове, но жених недвусмысленно намекнул, что и там такая же провинциальная глушь.

Для Веры было неожиданно и приятно, что Аврелий, вовсе не похожий характером на романтика, помнил много стихов.

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.
Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью дольней и отрадней
Высокомерна и глуха.
Неслышный и неторопливый,
Так странно плавлен шаг ее,
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней все счастье мое*.

Вере очень хотелось, чтобы это были его собственные стихи, так искренне они звучали, но Аврелий честно признался, что они чужие.

Если говорить о счастье, то Вера примерно так себе его и представляла: любимый ею человек, поцелуй, стихи, — всё как во сне.

Но счастье кончается быстро: накануне отъезда на родину Аврелия пришла срочная телеграмма из бригады: немедленно вернуться на фронт. Без объяснения причин. В военное время причины объяснять не принято. И Вере вдруг открылась страшная правда, о которой она старалась не думать: ее жених скоро будет там, где убивают, он вполне может не вернуться, и она так и останется невестой. Ей показалось необходимым, чтобы между ней и Аврелием произошло то, что должно случиться лишь после свадьбы. Старшая сестра Людмила рассказывала ей об этом шепотом, на ухо, и Вера непроизвольно вздрагивала от осознания неизбежности этого события.

Она поделилась мучившими ее мыслями с Аврелием, но он сказал, что это невозможно, потому что внесет в ее жизнь много сложностей, если его убьют. И она была вынуждена с ним согласиться.

* Стихотворение «Она» Н. С. Гумилева.





Вечером, перед отъездом, Аврелий долго беседовал в кабинете с дядей, дверь была приоткрыта, и Вера отлично слышала их разговор.

— Ты, конечно, догадываешься, что скоро будет революция, — говорил Петр Григорьевич голосом такого тембра и громкости, словно командовал перед строем, — эту войну навязали России и победить в ней она не может, ты сам видишь, каково настроение в войсках. Будет революция, которую совершит чернь — крестьяне и те, кого называют пролетариатом. Нам с тобой в этой стране будет нечего делать, нас уничтожат.

— И какой выход? — спросил Аврелий, его твердый голос дрогнул.

— Либо умереть, либо бежать.

— Бежать? Куда?

— Куда-нибудь. В Европу.

— Но мы там никому не нужны.

— Несомненно. Но это сохранит нам жизнь. В том, что меня, генерала, пролетариат расстреляет, я ничуть не сомневаюсь. Эти люди ненавидят нас даже не за то, что мы богаты, нас ненавидят за то, что мы умнее, лучше их, что мы вообще существуем. Лихое время не за горами, будь готов принять решение, надеюсь, что оно не окажется запоздалым.

Поезд в Сибирь, которым уезжала Вера, отправлялся рано утром, Аврелий и Петр Григорьевич провожали ее на вокзале. Вера стеснялась плакать, хотя очень хотелось. Она надеялась вновь увидеть Аврелия через год, в крайнем случае через два, но они встретились через пять лет другими людьми, в другой стране, хотя эта страна и называлась по-прежнему Россией. Они встретились, когда иссякло последнее терпение и томительная горечь безнадежности окончательно отравила душу.

Рассказывая внуку свою жизнь, Вера Николаевна чувствовала, что история звучит вполне заурядно, ничего выдающегося не произошло, все это давно и более интересно описано в художественной литературе. Было обидно, но приукрашивать не хотелось.

3.

В июне 1915 года бригада Елисеева приняла участие в Таневском сражении. Танев — правый приток реки Сан, пограничная река России.

«Снарядный голод» лишил русскую артиллерию возможности на равных бороться с артиллерией противника и был главной причиной нашего отступления», — писал невесте Аврелий, еще он упомянул о том, что был вновь контужен, но легко и остался в строю, и о том, что погиб Сергей Энгерт.

Сергей был из родовитой санкт-петербургской знати, барон, интеллектуал, но держался всегда подчеркнуто просто и дружелюбно, и этим понравился Аврелию. Они подружились. Когда началась война, Сергей попросил перевести его в бригаду, где служил Елисеев. Благодаря Энгерту Аврелий полюбил стихи. На фронте они командовали соседними батареями, часто встречались, рассуждали о том, как сложится их жизнь после войны. Для Энгерта война закончилась 12 августа 1915 года, когда германская артиллерия накрыла его батарею прямым попаданием.

Аврелий застал Сергея в госпитале еще живым, но надежд уже не оставалось. Друг лежал, закрытый простыней до подбородка, высокий лоб его был бледен. Узнав Аврелия, Сергей с трудом приподнял правую руку и сделал указательным пальцем скупое движение крест-накрест.

Когда Аврелий пришел в госпиталь следующим утром, ему сообщили, что барон Энгерт ночью скончался, и передали его вещи, завернутые в серую холстину: причудливо изогнутую трубку, мешочек с ароматным табаком, часы, немного денег и золотой портсигар. Аврелий удивился портсигару, Сергей никогда не показывал его. Там оказалось несколько старинных монет. Энгерт, видимо, увлекался нумизматикой и наиболее ценные экземпляры взял с собой на фронт. Аврелий сунул портсигар в полевую сумку и надолго забыл о нем.

В боях при Вильколазе батарея поручика Елисеева отличилась точным огнем, и Аврелий Николаевич был награжден орденом Святой Анны II степени с мечами.

Аврелий Николаевич привык к войне и нигде, кроме нее, уже не мог себя представить.

Вера Николаевна жила далеко от войны и ощущала ее только по письмам Аврелия Николаевича. Она жила этими письмами, все остальное было скучно, неинтересно, ненужно. Евдокия Григорьевна была не слишком довольна тем, что младшая дочь может оказаться замужем раньше, чем старшая, это считалось дурной приметой: она как бы отбирала таким образом счастье у старшей сестры, следовало дожидаться, пока та выйдет замуж. Но разве Вера виновата в том, что Людмила отказала уже четверым? Она полюбила мужчину, который был намного старше ее годами и занимал видную должность товарища прокурора. Невозможно понять этот выбор: человеку за сорок, он лысоват, с отечным лицом, с шеей как у индюка, он взяточник, картежник и пьяница. Судя по безнадежному выражению на лице матери, Вера догадывалась, что самое страшное уже произошло: Людмила стала любовницей женатого человека, теперь можно с большой гарантией предполагать, что когда товарищ прокурора ее бросит, а бросит, судя по его безответственному поведению, обязательно, в родном городе в жены ее никто не возьмет.

К подругам, с которыми окончила гимназию, Вера ходила редко, разговаривать было не о чем, а жаловаться на однообразие жизни не имело смысла: так жили все. Она все больше замыкалась в себе, тем желаннее было каждое новое письмо Аврелия. Вера перечитывала его письма десятки раз, стараясь проникнуться его заботами, трудными военными буднями, и не могла избавиться от напряженного ожидания беды; 1916 год тянулся мучительно долго.

Высочайшим приказом по военному ведомству от 30 сентября 1916 года за отличную службу поручик Елисеев был произведен в штабс-капитаны. Командир бригады лично вручил ему погоны.

Вера получила письмо в конце октября, очень обрадовалась и хотела показать его матери, но вовремя сдержала себя. На Евдокию Григорьевну свалилось новое несчастье: она поскользнулась на обледенелой булыжной





мостовой и сломала ногу. Наложили гипс, нога прела под ним, болела и краснела, Евдокии Григорьевне было не до радостей дочери по поводу повышения в звании ее жениха.

Вера взяла за правило внимательно читать в газетах сводки с фронта. Армия, в состав которой входила бригада Аврелия, находилась на левом фланге Западного фронта, занимая рубеж обороны от реки Березина до реки Припять. Шли упорные бои, армия несла большие потери.

Невзгоды преследовали Поречневых-Иванцовых: Людмила забеременела, еще один позор лег на семью. Город был полон злорадными сплетнями. Нога беспокоила Евдокию Григорьевну все сильнее, появилось подозрение на гангрену, в декабре положение стало критическим, ногу ампутировали до колена.

Аврелий Николаевич написал, что в войсках появилась необходимость открыть специальные учебные заведения для обучения взаимодействию артиллеристов и авиаторов. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев распорядился подготовить для этой цели офицерский состав. В начале мая 1917 года Елисеева и Некрашевича направили на обучение. С Константином Некрашевичем у Аврелия Николаевича сложились доверительные, приятельные отношения.

Вера Николаевна немного перевела дух: Аврелий в безопасном месте. Теперь он писал о том, как овладевает отработкой целеуказаний авиаторов, радиотелефоном и радиотелеграфом, а также передачей сигналов цветными полотнищами и ракетами. Продолжительность курса школы для командиров дивизионов и батарей составляла четыре недели.

Месяц без войны, и опять фронт.

В июне 1917 года бригада штабс-капитана Елисеева участвовала в нанесении вспомогательного удара по Вильно. После артподготовки пехота пошла в наступление, но, встретив ожесточенное сопротивление противника, с большими потерями вернулась на исходные позиции. Неудачное наступление и неустойчивая политическая обстановка в стране негативно повлияли на бойцов, участились случаи дезертирства, солдаты отказывались идти в атаку; Аврелий Николаевич понимал, что с таким настроением войну не выиграть.

В конце октября 1917 года, после известных событий в Петрограде, был принят большевистский «Декрет о мире», солдаты толпами повалили с фронта по домам, началось бегство офицеров, не согласных с новой властью. Случались самоубийства. Разбегались караулы, назначаемые на охрану складов, имущество расхищалось. Аврелий Николаевич прикладывал большие усилия для того, чтобы его батарея не потеряла боеспособности.

В начале декабря 1917 года было подписано перемирие, но 18 февраля 1918 года, как только срок перемирия истек, германские войска по всему фронту перешли в наступление. Сопротивление русских частей было сломлено. Взяв Сморгонь, немцы двинулись на Минск.

Письма от Аврелия Николаевича приходят перестали, этим горем Вере поделиться было не с кем: Людмила рыдала в своей комнате, готовясь рожать, Евдокия Григорьевна грозно громыхла костылями

в страшной обиде на жизнь, Николай Степанович старался меньше бывать дома; если б он куда-то уехал, домашние не обратили бы на это внимания.

В конце февраля штаб бригады, в которой числился штабс-капитан Елисеев, был расформирован, личный состав распушен.

То, что произошло с Аврелием Николаевичем дальше, он рассказал Вере Николаевне значительно позже, писем больше не писал, дойти до адресата в этой чудовищной круговерти они не могли.

Штабс-капитану Елисееву поступило предложение: «Если хотите защитить Россию и остаться верным присяге, вступайте в Добровольческую армию». Поколебавшись, он согласился.

В Добровольческой армии чинопроизводство носило случайный характер, поэтому, когда Елисеев приказом главнокомандующего Деникина стал капитаном, то не слишком обрадовался, понимая, что капитан он не настоящий.

Аврелий Николаевич получил назначение в Темрюк, преподавателем в артиллерийскую школу. Воевать Елисееву больше не хотелось, он чувствовал отвращение к бессмысленному смертоубийству, но и преподавание в школе быстро наскучило, не оставляла мысль о том, как попасть в Сибирь, к Вере.

В ноябре 1919 года капитан Елисеев был направлен в Херсон для практического обучения учащихся школы, но в январе 1920-го пришлось срочно эвакуироваться в Крым, спасаясь от наступавшей конницы красных. Аврелий Николаевич оказался в неудобной, насквозь продутой холодными северо-восточными ветрами Феодосии.

Ему настойчиво предлагали принять участие в боевых действиях: опытному офицеру-артиллеристу, прошедшему битвы Первой мировой войны, место на передовой. Аврелий Николаевич уклонялся от этих предложений не только потому, что не хотел воевать, но и по причине обострившейся болезни: две контузии, особенно первая, не прошли бесследно. Он страдал сильными головными болями, мог на несколько минут терять сознание, иногда нарушались зрение и слух. Едва ли в таком состоянии он смог, даже если б захотел, столь же успешно, как прежде, командовать артиллерийской батареей. Знакомый доктор сказал, что не исключена и частичная потеря памяти; этого Аврелий Николаевич боялся больше всего, он представлял, как, добравшись до Сибири, увидит Веру, но не сможет узнать ее.

Было ясно, что Крым, несмотря на уверения барона Врангеля, не продержится долго, и дело тут не в том, что не хватает вооружения или войск, главная причина в обреченном настроении личного состава, в том числе офицеров.

4.

В Феодосии он два раза лежал в госпитале, просился туда сам, надеясь, что врачи не позволят развиваться болезням, вызванным контузиями, но у врачей было достаточно других забот, им было некогда вникать





в проблемы здоровья назойливого капитана-артиллериста. В госпитале было еще одно важное преимущество: там хорошо и регулярно кормили.

В Феодосии случилось то, о чем Аврелий Николаевич смог рассказать Вере Николаевне, лишь когда они состарились настолько, что вспоминать без опаски стало возможным о чем угодно. Но и тогда слушать эту историю Вере Николаевне было мучительно.

В госпитале Елисеев познакомился с девушкой Сашей, медсестрой. Это знакомство преобразило его жизнь.

С давних времен Феодосия делилась на несколько районов с причудливыми названиями: Форштадт, Бакурба, Карантин, Чумка. Город имел свое лицо и был бы интересен Аврелию, если бы не гнетущая тоска, которая его преследовала. Он поднимался на Карантин, откуда можно было любоваться морем, но его красота не поднимала настроения, он чувствовал себя в капкане, вырваться из которого невозможно. Единственного близкого друга, Сергея Энгерта, убили на фронте, других друзей у него не было, он трудно сходилась с людьми.

Когда головные боли становились нестерпимыми, Саша колола ему морфин, предупредив, что часто этого делать нельзя. Но после укола вместе с головной болью исчезало чувство безысходности. Иногда, обманывая Сашу, он просил уколоть ему морфин, когда голова не болела.

Саша, смуглая, черноволосая, черноглазая, веселая, — настоящее дитя Крыма, сколько национальностей перемешано в ее крови, представить трудно. Саша любила стихи и сама писала их. Аврелий тоже любил стихи, но писать не пытался, искренне восхищаясь теми, кто умеет таким образом выражать свои чувства.

Саша пригласила Аврелия в «Кафе поэтов», в небольшой подвальныйчик на углу улиц Земской и Новой. Небольшое помещение с низким потолком было заполнено возбужденными людьми, многие курили, табачный дым висел слоями. Не стесняясь друг друга, нюхали кокаин, вдыхая его через ноздри с краев трубчатых зубочисток.

С небольшой низкой сцены непрерывно читали стихи, поэты и поэтессы нетерпеливо ждали своей очереди. Аврелий плохо слышал и с трудом понимал смысл стихотворений, но сама атмосфера «Кафе поэтов» ему очень нравилась.

Он познакомился с интересным человеком — Александром Александровичем Новинским, начальником Феодосийского торгового порта, — лысоватым, маленького роста, с небольшой черной бородкой, в белоснежном форменном кителе. Говорил Новинский много и торопливо, словно опасаясь, что перебьют, касался очень любопытных вещей, Аврелий заслушался.

— Здесь слишком шумно для стихов, пойдете ко мне, — предложил Новинский Аврелию и Саше, — тут недалеко. Должен прийти Осип.

Он произнес это имя с подчеркнутым уважением.

Оказалось, что Александр Александрович приглашает в свой рабочий кабинет. Управление Феодосийского торгового порта располагалось на улице Итальянской под раскидистыми «екатерининскими» липами.



По белым мраморным ступеням поднялись в полутьме на второй этаж, Новинский открыл тяжелую дверь, включил свет. Сахарно-белые лампы осветили обширный стол с царственным креслом, карту Крыма, таблицы морских глубин и течений на стенах, внушительных размеров барометр в полированном футляре.

Вскоре пришел Осип — худощавый молодой человек с узким, носатым лицом и хохолком редеющего чуба на высоком лбу.

— Это гениальный поэт, — шепнул Новинский Аврелию, — когда ему не хочется подниматься на Карантин, где он снимает комнату, я даю ему ключ от кабинета и он ночует здесь.

Новинский достал из шкафа фрукты на блюде, фужеры, две бутылки вина.

— Немного красного вина, — подмигнул он Осипу, тот кивнул и понимающе улыбнулся уголками тонких губ.

Позднее Аврелий узнал от Саши, что у Осипа есть строки: «Немного красного вина, немного солнечного мая — и, тоненький бисквит ломая, тончайших пальцев белизна».

Осипу понравилось имя Елисеева, он ничуть не удивился его наличию у вполне русского по внешности человека, это невольно расположило Аврелия к поэту.

— Что вы прочтете сегодня? — спросил Новинский Осипа.

— Нового ничего нет, — пожал тот худыми плечами, — ну, давайте вот это.

Я изучил науку расставанья
 В простоволосых жалобах ночных.
 Жуют волосы, и длится ожиданье,
 Последний час вигилий городских;
 И чту обряд той петушиной ночи,
 Когда, подняв дорожной скорби груз,
 Глядели вдаль заплаканные очи
 И женский плач мешался с пеньем муз.

Читал он, высоко подняв острый подбородок, полузакрыв глаза, Аврелия взволновала чарующая музыка не вполне понятного ему по содержанию стиха, она была созвучна его настроению.

Кто может знать при слове «расставанье»,
 Какая нам разлука предстоит,
 Что нам сулит петушьи восклицанья,
 Когда огонь в акрополе горит?
 И на заре какой-то новой жизни,
 Когда в сенях лениво вол жуёт,
 Зачем петух, глашатай новой жизни,
 На городской стене крылами бьет?*

* Стихотворение Tristia O. Э. Мандельштама.



Новинский глядел на молодого человека с восхищением, ловил каждое его слово.

Позднее Саша разъяснила Аврелию, о чем идет речь в этом стихотворении:

— Название *Tristia* означает «печаль». Поэту Овидию император Октавиан Август приказал навсегда удалиться из Рима, посчитав его стихи о любви непристойными. Овидий прощается с женой, которую видит последний раз в жизни. Он должен покинуть Рим до рассвета. Ему следовало отказаться от своих стихов, но он не стал этого делать.

— А что значит: «последний час вигилий городских»?

— Это время последнего ночного караула в городе перед рассветом.

Аврелий Николаевич старался не думать о том, что его взаимоотношения с Сашей могут продвинуться намного дальше любви к поэзии. Саша была не просто красивой — обольстительной девушкой, неистребимый южный темперамент проявлялся во всем, и Аврелий не раз ловил ее недоуменные взгляды: как же так, три месяца знакомы и ни разу не поцеловались. Он не скрыл, что у него есть невеста и он с ней помолвлен, но это известие не произвело на Сашу особого впечатления: невеста, какая бы хорошая ни была, — далеко, а она, Саша, — рядом.

Кроме того, Аврелий уже не мог без морфина, Саша постоянно носила в сумочке шприцы и ампулы, трудно было представить, как ей удавалось доставать это строгого учета лекарство в госпитале. Она знала, насколько опасно пристрастие к морфину, но Аврелий становился требовательным до грубости, когда ему требовался укол, и она молча исполняла его желание.

В конце августа произошло то, чего Аврелий так опасался. Душной ночью он провожал Сашу после посещения «Клуба поэтов» к ее небольшому домику на Форштадте, где она жила вместе с мамой. Аврелий не знал, что в комнату Саши есть отдельный вход, и, когда она предложила войти, растерялся.

Зажигать свет Саша не стала, комната скупо освещалась тусклыми, золотистыми отблесками с улицы. Он отвлекся, пытаясь разглядеть скромное убранство комнаты: шкаф, кровать, стулья, картины на стенах, — и, когда Саша подошла к нему, невольно вздрогнул от неожиданности. Она рассмеялась и обняла его. Аврелий тоже обнял Сашу и понял, что она без платья.

— Чему ты так радуешься? — спросил он охрипшим вдруг голосом.

— Не каждой девушке удастся стать женщиной с любимым ею человеком, — ответила она, — не всем так везет.

В начале октября Аврелий встретил на набережной Петра Григорьевича. Дядя шел в распахнутой шинели, заложив руки за спину, в походке и во всем его облике чувствовалось нечто обреченное. Он не удивился, увидев Аврелия:

— Хорошо, что я поехал в Феодосию, а не в Севастополь, — сказал Петр Григорьевич, — словно знал, что ты здесь. Вдвоем будет не так гадко на чужбине. Я надеюсь, ты принял решение? В Константинополь на днях должны идти пароходы «Петр Регир» и «Аскольд».

Аврелий промолчал, и это не понравилось дяде.

— Хочешь добираться к Вере? Что ж, это твое право, каждый волен сам распоряжаться своей жизнью, только не удивляйся, если тебя расстреляют. Тут есть человек, который делает документы, надеюсь, что с ними ты доберешься до Сибири, хотя никто сейчас не может ничего гарантировать.

Аврелий никуда не хотел ехать, он собирался остаться в Феодосии по причинам, о которых невозможно было сказать Петру Григорьевичу, но, когда дядя пообещал сделать документы, понял: это судьба, нужно ехать к Вере, он никогда не простит себе, если бросит женщину, которая ждет его все эти пять страшных лет. В том, что Вера ждет, он не сомневался.

— Сделайте мне документы, Петр Григорьевич, — попросил он, — я буду очень вам благодарен.

Дядя огорченно вздохнул, поняв, что бедовать на чужбине придется одному. Он посоветовал:

— Ты прикинься больным, так меньше придираются будут. Или глухонемым, что ли.

— Я действительно болен, — признался Аврелий, — следствие контузий. Бессонница, сильные головные боли, плохо слышу.

Он хотел добавить про морфин, но решил, что не стоит.

— Красные вот-вот захватят Крым, — сказал дядя, — уходи через Керчь, там наймешь лодку, чтобы пересечь пролив. Если повезет, не убьют. Сейчас сначала стреляют, потом разбираются.

Через несколько дней Елисеев встретил возле недавно отстроенной дачи табачного фабриканта Стамболи Константина Ивановича Некрашевича. В Добровольческой армии бывший командир 2-й батареи успел дослужиться до полковника. Некрашевич почти не изменился с 1917 года, когда они с Елисеевым вместе обучались взаимодействию артиллеристов и авиаторов, только в черных усах появилась соль седины.

Когда Елисеев подошел, Константин Иванович стоял, задрав голову, критически осматривая сооружение табачного фабриканта:

— Это удивительно, Аврелий Николаевич, — сказал он, увидев Елисеева, — как можно додуматься до того, чтобы такой дворец назвать дачей.

Он, как и Петр Григорьевич, не удивился встрече, все белое офицерство скопилось преимущественно в Крыму. Некрашевич решил эмигрировать в Турцию, дальше как получится — в Черногорию или Сербию, туда, где принимают бездомных людей. Он так и не женился, близких родственников не имел, оставаться в России не было смысла.

На следующий день Елисеев познакомил Константина Некрашевича с Петром Григорьевичем, дядя очень обрадовался надежному человеку, и у Аврелия Николаевича стало спокойней на душе.

Когда Елисеев сказал Саше, что уезжает, она ответила с вопросительно-насмешливой интонацией:

— Нам остается только имя: чудесный звук, на долгий срок?

Больше она ничего не сказала. Строки Осипа как нельзя лучше подвели итог их любви.





К Вере он добрался через месяц, очень удивившись, что так быстро. По пути его задерживали несколько раз, но отпускали, видя полубезумные от непрерывной головной боли глаза. Вместо молодого щеголеватого поручика с ровным пробором в каштановых волосах, с гордо вскинутым подбородком и задорным взглядом карих глаз к Вере Николаевне вернулся неопределенного возраста человек в мятой одежде с чужого плеча, с седоватой неряшливой бородой и нервным, судорожным лицом. Этого человека терзали болезни, он плохо слышал и видел и был мало приспособлен для дальнейшей жизни. Но Вера Николаевна ждала его, была с ним обречена и хотела стать его женой.

В семье Поречневых-Иванцовых дела шли от плохого к худшему. Людмила родила мальчика, он постоянно болел, плакал и всех измучил. Товарища прокурора новая власть расстреляла, как пособника буржуазии. Николай Степанович работал простым бухгалтером, денег приносил мало, кроме того, подвергался нападкам домоуправления за то, что занимал слишком большую жилплощадь. Евдокия Григорьевна измучилась, непрерывно стуча швейной машинкой, что-то кому-то перешивая. Платили продуктами, это поддерживало семью. Вера Николаевна научилась вязать, но доход приносила слабый. Людмила вообще не приносила дохода, все ее время отнимал больной ребенок.

Появление едва живого, душевнобольного жениха Веры было воспринято домашними безо всякого энтузиазма. В качестве добытчика он выглядел бесперспективно. Его нужно было лечить, но где взять на это деньги? Они еще не знали про морфин.

Было ясно, что выходить замуж за Елисеева Вере не только не нужно, но и опасно: Аврелий компрометировал семью, его уверения, что, служа в Добровольческой армии, он ни разу не участвовал в боях с красными, выглядели жалкой ложью, его в любой момент могли арестовать. Героические подвиги Елисеева на войне и его царские ордена в нынешнее время никого не интересовали, о них лучше было вообще не вспоминать. По суровой логике послереволюционной жизни ему следовало немедленно исчезнуть, чтобы никого не ставить под удар.

Эти соображения Евдокия Григорьевна в самой категорической форме изложила дочери. Вера выслушала и успокоила мать, сказав, что они, как только обвенчаются, немедленно уедут. С Евдокией Григорьевной после этих слов случилась истерика, ей ставили на лоб холодные компрессы.

5.

Зинаида Петровна не спала. Услышав условный стук в батарею, она поняла, что с Верой Николаевной что-то случилось. Зинаида Петровна включила настольную лампу, собираясь одеться, подняться на второй этаж и, если потребуется, позвонить Виталию Аврелиевичу, номер его телефона она знала, но, вспомнив про кота и про то, как отшвырнула ногой Вера Николаевна половичок, оскверненный Барсиком, решила не ходить: утром все выяснится. Приняла таблетку и заснула.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

6.

Поселок назывался Носовое, мыс, на котором он расположен, — Белый Нос. Георгий после окончания института попросил распределить его на работу куда-нибудь подальше, лучше всего на Север. Декан факультета Игорь Андреевич саркастически усмехнулся:

— Туда, где трудно?

Георгий оценил его иронию, но не стал обращать на нее внимания.

— Именно так.

Георгий не то чтобы собирался совершать подвиги, но считал, что начинать трудовую деятельность надо где-то вдалеке от цивилизации. Если что-то получится с подвигами, будет не лишним.

В поселке Носовое находилась база экспедиции глубокого бурения; когда начиналась навигация, сюда нефтеналивными судами и сухогрузами привозили дизельное топливо, трубы, оборудование, цемент, бентонитовую глину — все, что было необходимо для бурения скважин.

Поселок поразил Георгия Елисеева скукой, жизнь в нем выглядела остановившейся, лишенной внутренней инициативы, энергии. Море, даже на вид холодное, грозно накатывало на скалистый берег волны с седой бахромой. Георгий подолгу стоял на берегу, пока не начинал замерзать под пронизывающим влажным ветром.

Работа, которую поручили Елисееву, была до обидного простой, хотя и по-своему ответственной. Он трудился инженером на трубной базе. Требовалось точно, по количеству и по маркам стали, принять трубы, которые привозили на кораблях летом, а зимой, когда наступали морозы и открывались дороги на буровые, отгружать трубы на машины и тракторные сани, тоже безошибочно. Никаких подвигов для этого не требовалось, нужно было просто быть внимательным. Зимой, правда, случалось до минус сорока пяти и ниже, но на трубной базе имелась теплая бытовка, в которой в любой момент можно было погреться.

С работой Георгий справлялся, со скукой дело обстояло сложнее. Хуже всего приходилось вечером, когда, поужинав в столовой, Георгий возвращался в тесную комнату в общежитии. С детства он был малообщителен, приучиться к алкоголю так и не смог, поэтому друзей в поселке у него не появилось. Пили здесь много и безобразно, Георгию это не нравилось и от знакомств отвращало.

Он вырос в непьющей и довольно странной семье, где каждый жил сам по себе. Отец — Виталий Аврелиевич, главный библиограф областной библиотеки, был занят проблемами истории, допоздна задерживался в читальном зале; мать — Варвара Михайловна, работала экономистом в плановом отделе завода железобетонных изделий. Воспитанием Георгия никто не занимался, да он и не нуждался в нем, со школьными заданиями успешно справлялся самостоятельно. Гораздо больше, чем родители, на него влияла бабушка Вера Николаевна,





которая жила неподалеку, в трех остановках на трамвае. Георгий бывал у нее часто.

Бабушка рассказывала много интересного, например, о том, как видела Распутина. На перемене в гимназии кто-то прокричал, что на железнодорожную станцию вот-вот должен прибыть поезд, на котором Распутина везут в Санкт-Петербург к царю. Старшая сестра Людмила предложила Вере сбежать с уроков и посмотреть. В большом сибирском городе, где они жили, поезд с Распутиным стоял долго, на вокзале собралось много народу, и все показывали пальцами на окно вагона, в котором можно было смутно различить бородатого человека. Никто не мог точно сказать, что это Распутин, но все уверяли друг друга, что это он.

Время выглядело для Георгия неправдоподобно и странно: с бабушкой он мог разговаривать прямо сейчас, а загадочный Распутин, которого она видела в окне железнодорожного вагона, был далек примерно как Петр Первый. Время имело свойство слеживаться, слои его постепенно истончались, эпохи и люди становились не слишком далеки друг от друга. При этом расстояние между толстой, с испещренной гречкой лицом старухой, сидевшей напротив Георгия в глубоком кресле, и красивой черноволосой женщиной в широкополой черной шляпе на портрете, висящем на стене, было огромным.

Бабушка говорила: «Жизнь — это когда тебя кто-то любит». Георгий не смог оценить глубину и горечь этих слов и пропустил их мимо ушей, посчитав обычным старческим ворчанием. Человек умнеет медленно, и далеко не у всех это получается.

Дедушку звали Аврелий Николаевич, имя не соответствовало простой русской фамилии Елисеев. На вопросы об Аврелии Николаевиче бабушка долгое время отвечала уклончиво, жизнь научила быть осторожной, потом, состарившись, поняла, что надо рассказывать, иначе можно не успеть. Она перестала бояться, и Георгий увидел на старой, почерневшей от времени этажерке фотографию дедушки в форме поручика царской армии. Истории об участии Аврелия Николаевича в Первой мировой войне Георгий слушал, словно увлекательную повесть.

На более поздних фотографиях Аврелий Николаевич был неизменен в белом полотняном пиджаке под горло, наподобие кителя, с гладко выбритым, худощавым, аскетическим лицом.

Бабушка рассказывала, что он был склонен к едкому юмору. Любимое выражение «Это было давно, в старое проклятое время» отчетливо говорило о его политических пристрастиях. Он умер мгновенно, от инфаркта, когда бабушка рано утром пошла в магазин за молоком. С тех пор молоко она не пила, иронизировала над этим, но следовала зароку до конца жизни.

После смерти деда к бабушке стало приходиться множество людей, раньше такого не было: побаивались сурового Аврелия Николаевича. Бабушка умела каждому быть полезной, она прекрасно вязала и шила, могла быстро и качественно перелицевать платье, починить пиджак или брюки. Возможно, занималась также перепродажей серег и колец, она знала

в этом толк. Она много в чем знала толк, в том числе в лечении различных болезней народными средствами. Приходя к ней, Георгий постоянно заставлял каких-то вежливых бабушек в чистых платочках и женщин помоложе, с озабоченными лицами. Советами она делилась бесплатно, ничего не требуя, но люди все равно приносили ей подарки.

Когда он пришел к ней перед тем, как уехать по распределению после окончания института, Вера Николаевна почувствовала, что эта встреча последняя. Она давно смирилась со смертью, как с окончательным уходом, при этом верила в Бога, постоянно читала Библию и другие церковные книги, но вера давно уже стала привычкой, она не чувствовала той душевной глубины, которая была в молодости.

С трудом выбравшись из глубокого кресла, Вера Николаевна подошла к трельяжу, выдвинула один из ящичков, достала монету тускло-белого цвета и протянула ее Георгию.

— Вот, возьми. Аврелий Николаевич говорил, что это редкая монета, она дорого стоит. В жизни всякое случается, когда будет трудно, продашь.

Елисеев завещал свою коллекцию областному краеведческому музею, но эту монету почему-то сказал не отдавать. Георгий не обратил большого внимания на слова бабушки об ее ценности, считая, что слова «очень дорого стоит» для разных людей звучат неодинаково. Что значит для бабушки «очень дорого»? Пятьдесят рублей? Сто?

Уезжая на Север, Георгий бросил монету в пластмассовый стаканчик на столе, где стояли карандаши, не везти же ее с собой.

Бабушка умерла через пять месяцев, но приехать на похороны Георгию не удалось. Ликвидацией вещей Веры Николаевны занималась Варвара Михайловна, она не сохранила ничего, даже портрет Веры Николаевны в шляпе и фотографию Аврелия Николаевича в мундире офицера, не говоря уже о мебели. Виталий Аврелиевич немного поскандалил с женой по этому поводу, в ответ Варвара Михайловна предложила ему самому заняться продажей квартиры матери, и его негодование сразу же сошло на нет.

Георгий приехал, когда вся суета, связанная с уходом Веры Николаевны, была давно закончена и забыта, бабушка исчезла бесследно, от нее осталась лишь старая, потускневшая монета с изображением какого-то полувельского человека, возможно царя. Георгий достал монету из стаканчика с карандашами и долго разглядывал. По кругу было написано: «Б. М. КОНСТАНТИНЪ I ИМП. И САМ. ВСЕРОСС. 1825».

Георгий не очень хорошо знал историю, но точно помнил, что императора Константина в России не было. Он удивился, но не настолько, чтобы всерьез заинтересоваться этим вопросом, бросил монету назад в стаканчик и забыл о ней.

Через три месяца произошло событие, самым трагическим образом отразившееся на судьбе родителей Георгия: их обокрали. Ограбление было странным: переворовали вещи, раскидали по квартире, вытряхнули ящики шифоньера, комода и письменного стола, вероятно, что-то искали, но что можно искать у скромных пожилых людей предпенсионного возраста?





Предполагали тайное хранение каких-то ценностей? Но их у родителей Георгия никогда не было. Взяли несколько старых книг по истории в потертых обложках и ордена Аврелия Николаевича.

Серьезного материального урона грабители не нанесли, но психологический удар оказался сокрушительным. Виталий Аврелиевич, выглядевший в пятьдесят девять лет вполне здоровым и крепким, вдруг резко сдал, стало беспокоить давление, заболело сердце. Ему не давала покоя мысль о том, что ограбление может повториться, ведь непрошенные гости не нашли того, что искали.

Для Варвары Михайловны особенно отвратительным было то, что чистое белье, которое она тщательно гладила и аккуратно складывала в шкаф, кто-то чужой хватал грязными руками и швырял на пол, под ноги. Ее природная чистоплотность была глубоко оскорблена.

После случившегося она считала недопустимым оставлять квартиру без присмотра, даже намекнула Георгию насчет того, чтобы он бросил Север и вернулся домой. Но Георгий возвращаться не собирался. Во-первых, он уже привык к независимости, во-вторых, в стране близилась перемена, и они уже начали отражаться на жизни людей — зарплату задерживали, предприятия нищали и закрывались. Георгий не был уверен, что в родном городе сможет найти порядочную работу, а трудиться кем попало не хотел.

Приехав в отпуск, он отправился в милицию, чтобы узнать, возможно ли найти злоумышленников. Пожилой седовласый следователь сказал, что квартирные кражи раскрывать трудно, к тому же нанесенный ущерб минимален. Стало ясно, что искать никто никого не будет.

Георгий подозревал соседей. В квартире напротив жила странная молодая пара неопрятного вида, эти люди ни с Георгием, ни с его родителями не здоровались, отворачивались при встрече, вели себя подчеркнуто недружелюбно, хотя поводов к этому не было. Георгия поразила такой случай: он стоял возле лифта, собираясь подняться к себе на седьмой этаж, в этот момент в подъезд вошла соседка с двумя малолетними сыновьями. Он жестом предложил ей быть первой. Старший из сыновей, мальчик лет пяти, подошел к Георгию и вдруг ударил его кулаком в живот. Георгий, удивившись, спросил:

— Почему ты меня бьешь? Чем я тебя обидел?

В ответ мальчик ударил еще раз. Мама, не извинившись за странное поведение сына, взяла его за шиворот и затащила в подошедший лифт.

Георгию уже приходилось сталкиваться с немотивированной ненавистью людей, но глубина этой неприязни его поразила.

Никаких реальных обвинений соседям Георгий предъявить не мог. Он еще несколько раз приходил в милицию, следователь выслушивал его с полным вниманием, но подозрения по поводу соседей проверить не считал нужным.

Поняв бессмысленность усилий, Георгий прекратил суету. Его беспокоило состояние родителей: мать более-менее крепилась, но отец стал нервным, зачастил в поликлинику, однако врачи ничего опасного для здоровья найти не могли.

Отпуск закончился, Георгий с тревогой в душе вернулся в поселок Новое. Наступила зима, море сковал лед, каждый день шел снег, засыпая поселок все сильнее, увеличивая серую, гнетущую тоску. В конце января отец умер, так и не оправившись после страшного потрясения. Поселок и подъездные пути к нему окончательно завалило снегом, выбраться было сложно, Георгий позвонил матери и сказал, что на похороны не придет.

Со стороны отца Георгий всегда чувствовал разочарование, по-видимому, того не устраивало, каким растет сын. Отец, особенно в детстве, пытался заинтересовать мальчика литературой, но у Георгия обозначились спортивные пристрастия, он допоздна гонял мяч во дворе, приходил домой взмыленный, раскрасневшийся, на приготовление уроков, тем более на чтение дополнительной литературы, времени не оставалось. Варвара Михайловна не раз грозилась «взяться за сына», но так и не взялась. Георгий был средних способностей, закоренелый троечник, интереса ни к одному предмету не проявлял, тем не менее вступительные экзамены в институт нефти и газа сдал успешно.

Виталий Аврелиевич подрабатывал, читая лекции по эстетике в строительном институте. Однажды Георгий, ради интереса, пришел на его лекцию, сел в дальнем ряду аудитории так, чтобы отец не видел. Он удивился количеству студентов: неужели эстетика вызывает интерес у будущих прорабов?

Георгий прослушал лекцию о Льве Толстом и Достоевском. Виталий Аврелиевич не читал ее, как это делают обычные преподаватели, он подружески делился со студентами своим восхищением великими писателями, это создавало атмосферу доверия, будущие прорабы слушали с большим вниманием. Георгий увидел отца с неожиданной стороны, он перестал ему казаться человеком, живущем словно в аквариуме, за стеклом, появился повод гордиться им.

Как любому человеку, Георгию не нравилось быть посредственностью, он не хотел мириться с этим, пытался отыскать в себе качество, которое сможет развить, чтобы превосходить окружающих.

У него был друг Ярослав, единственный человек, с которым он не стеснялся делиться сокровенным. Ярослав жил в соседнем подъезде, они встречались каждый день, хотя и учились в разных школах, Георгий — в обычной, Ярослав — в элитной, с углубленным изучением французского языка. Когда Георгий попросил отца перевести его в эту школу, Виталий Аврелиевич смутился.

— Видишь ли, туда всех подряд не берут, — объяснил он.

— Только умных?

— Ну, не совсем так. У твоего друга Ярослава, учти, папа — первый секретарь райкома партии.

— Поэтому Ярослав умнее меня?

Виталий Аврелиевич из-за мягкости характера не был способен на грубость, Варвара Михайловна, слыша этот разговор, объяснила более доходчиво:





— Почему ты простых вещей не понимаешь? Его отец — начальство, номенклатура. Они даже питаются не так, как мы, в очередях за морожеными куриными лапами и шеями не стоят. Тебе уж пятнадцать лет, а ума не нашёл.

И Георгий вспомнил, как однажды засиделся у Ярослава до вечера, его родители пошли в театр, вернуться должны были поздно, Ярослав предложил вместе поужинать. Поставил на газ сковородку, налил подсолнечного масла, навалил горой картофельное пюре, сбоку положил какие-то небольшие котлетки. Они оказались удивительно вкусными, Георгий никогда таких не ел.

— Котлеты из рябчиков, — объяснил Ярослав, — нравятся?

Георгий даже представить себе не мог, что из рябчиков могут быть котлеты.

Ярослав тоже неважно учился, но троечник в элитной школе и в обычной — это разные троечники, он даже бравировал своим пренебрежением к учебе: мол, если потребуется, я и отличником смогу стать, только мне это не нужно, неинтересно. Он, действительно, на спор прочитывал страницу в книге и потом цитировал текст почти без ошибок или мгновенно умножал в уме двухзначные числа. Но главное — вел себя так, что им надлежало восхищаться. Для восхищения он хотел приспособить Георгия, но Георгий считал, что в дружбе должно быть равноправие. Кстати, перемножать в уме двухзначные числа он тоже научился, особенного дарования для этого не требовалось.

Однажды он спросил друга, в какой институт тот собирается поступать после окончания школы. Ярослав ответил, странно усмехнувшись:

— Куда-нибудь запишут.

...Варвара Михайловна после смерти Виталия Аврелиевича прожила недолго, около двух лет. Ничем серьезным она не болела, подвело то, что называется страхом смерти, этим недугом страдают многие пожилые люди. Кто-то посоветовал ей приобрести книгу о целебном голодании, которое продлевает жизнь почти до бесконечности. Варвара Михайловна, изучив ее, дополнительно купила брошюры о системе диет и поддержании здоровья с помощью обливания ледяной водой. Имея характер твердый и последовательный, она строго выполняла все требуемые манипуляции и скончалась от инфаркта ранним утром в ванной, после принятия рекомендованных водных процедур.

Похоронив мать, Георгий решил продать родительскую квартиру. Его удержал лишь слух о том, что геологоразведочное предприятие, в котором он работал, предполагают ликвидировать вместе с поселком Носовое. Он решил оставить плацдарм, куда можно будет вернуться с Севера.

Родители сразу же после памятного ограбления установили входную дверь внушительного вида и толщины. Георгий перед отъездом в Носовое запер ее на все мощные замки, один комплект ключей отдал Ярославу, больше было некому, попросил иногда заходить и проверять, не прохудились ли в квартире водяные и газовые трубы.

Ярослав после окончания института был оставлен на кафедре социологии, писал диссертацию на соискание звания кандидата наук. Георгий слабо представлял, чем может заниматься социолог, тем более если это друг его детства Ярослав.

8.

На Севере всегда находилось место «странным» людям, попросту говоря, юродивым — по поведению и внешне, — их не прогоняли, даже принимали на работу в сторожа или подсобные рабочие. К этому великодушию Георгий относился с пониманием, но со «странными» людьми старался не общаться, считая, что говорить с ними не о чем. Брезгливости он не испытывал, эти люди были безобидны и вежливы.

Таких в поселке Носовое было несколько человек, в основном спившиеся интеллигенты, утратившие первоначальную сущность и облик. У каждого из них имелась своя печальная история, одинаковым было то, что прежняя среда по разным причинам отторгла их, заставив изменить образ жизни и в прежнем качестве исчезнуть. Уничтожение личности не могло пройти бесследно, они тихо доживали в поселке свой век, зарабатывая на пропитание и алкоголь, без которого обойтись не могли.

С одним из таких людей — Всеволодом Ивановичем — Георгий неожиданно сошелся близко, помогла брусника.

Бруснику собирали абсолютно все жители поселка, в тундре произрастало огромное ее количество. Из брусники делали замечательные морсы, варили варенье. Для Георгия сбор этой ягоды являлся средством от тоски. Тоска царила смертная, большинство жителей поселка спасались от нее алкоголем, выход это был небезопасный, имевший порой трагические последствия. Георгий понемногу выпивал в компаниях, куда его приглашали на различные празднования, но особого удовольствия от водки не испытывал, хотя и чувствовал, что душа благодаря ей слегка оттаивает. Что-нибудь праздновать в поселке любили, если не было повода, легко его находили.

Георгий собирал бруснику один, спутник непременно принялся бы что-то говорить, отвлекая от мыслей. А думалось Георгию о разном. Он строил планы, которые можно было назвать мечтами, но он стеснялся высокопарности этого слова. Он намеревался отработать в поселке три года, положенные после окончания института, потом уехать в какой-нибудь большой город, лучше всего в Москву, поступить в университет и выучиться на астронома или путешественника, он еще не решил до конца, на кого именно. Эти профессии открыли бы, по мнению Георгия, обширные перспективы. Он боялся, что жизнь пройдет монотонно и нерасторжительно, как у его родителей.

Иметь в двадцать четыре года мечты четырнадцатилетнего мальчика было странно, Георгий это понимал, в его возрасте полагается думать о создании семьи, о детях, которые родятся. Но это как раз и был путь к быстрому расходованию жизни, ответственность перед женой и детьми





сразу же расставит все по местам, он окажется впряжен в телегу, освобождаться от которой уже не представится возможным, и жизнь закончится, едва начавшись.

Он вырос в семье, где сильных, шекспировских страстей не было и не предполагалось. Мама, Варвара Михайловна, была главной и намечала основные направления, Виталий Аврелиевич ей, в общем-то, подчинился, но при этом неуклонно проводил свою линию поведения, и Варвара Михайловна ничего с этим поделаться не могла. Скандалить с мужем было бессмысленно, он молчал и продолжал жить так, как ему хотелось: библиотеки, архивы, исторические изыскания. Покупка дачи, ремонт квартиры и прочие глупости в круг его интересов не вписывались. Георгию было непонятно, зачем родители поженились и почему живут вместе так долго, у каждого из них свои интересы, которые не совпадают и никогда не совпадают. Позднее Георгий имел возможность убедиться в том, что люди совершают много необъяснимых логически поступков, оказываясь в результате в колее, выбраться из которой не хватает ни сил, ни желания.

Георгий встретился со Всеволодом Ивановичем в тундре, когда собирал бруснику. Этот человек был его подчиненным, работал стропальщиком на трубной базе. На вид ему можно было дать и пятьдесят, и семьдесят лет — редкая седая борода, впалые щеки, изможденное скуластое лицо с высоким лбом, взгляд рассеянный, будто он пытается что-то вспомнить, но никак не может.

Стропальщик из Всеволода Ивановича был никудышный, начальник трубной базы Петр Петрович Лещий не раз гневно выговаривал Георгию, краснея мощной шеей и щеками:

— Ты почему за ним не следишь? Почему он у тебя под грузом стоит? Если этого недоумка прибьет, тебя в тюрьму посадят, а заодно и меня.

Петр Петрович начинал пить водку с утра и не прекращал до вечера, но дозы при этом распределял умело и сильно пьяным не бывал, неизменно находясь в приподнятом, энергичном состоянии.

Признавая обоснованность обвинений, Всеволод Иванович оправдывался тем, что иногда ему в голову приходят поразительные мысли, он становится невнимательным, попадая под их власть.

В общем, человек был ненормальным.

Постояв немного за спиной Георгия и понаблюдав за сбором брусники, Всеволод Иванович дал ему ценный совет: класть в брусничное варенье кусочки яблока, оно, таким образом, приобретает особенный, пикантный вкус. Яблоки в поселковом магазине продавались, это были сморщенные, бледно-зеленого цвета плоды величиной чуть крупнее грецкого ореха, покупать их и употреблять в пищу никому не приходило в голову, но Всеволод Иванович заверил, что для варенья они будут вполне пригодны.

Сварив бруснику по новому методу, Георгий пригласил Всеволода Ивановича в гости, на чай. Выяснилось, что тот когда-то жил в Москве и трудился обозревателем в военно-историческом журнале, журнал имел партийную направленность, и когда Всеволод Иванович стал проявлять

некоторые сомнения в обветшавшей идее, это вызвало удивление и возмущение у коллег. Всеволод Иванович уже тогда регулярно выпивал, этого старались не замечать, но, когда выяснилось, что он к тому же скрытый диссидент, по совокупности пороков от него избавились.

В молодости он был любвеобилен и от каждой из трех жен имел детей, после смерти третьей выросшие дети нашли способ вытеснить Всеволода Ивановича из московской квартиры.

Попав на Север, он не изменил своей привычке, во внутреннем кармане телогрейки всегда носил плоскую фляжку. Он научился гнать самогон отменной крепости, почти не имеющий запаха, не морщась, отхлебывал его прямо из горлышка фляжки.

Общение со Всеволодом Ивановичем стало скрашивать одинокое существование Георгия: характером тот немного напоминал ему отца, правда, был гораздо словоохотливей. В глазах Всеволода Ивановича, увеличенных толстыми стеклами очков, жила безнадежная печаль, Георгий понимал, что ему встретился человек, с терпеливым достоинством ожидающий смерти.

История человечества в рассказах Всеволода Ивановича представлялась непрерывным страданием простых людей и бессмысленной жестокостью властителей. Он был когда-то заядлым нумизматом и говорил о том, что судьбу иных монет можно рассматривать как череду трагедий народов.

— Мой дед тоже был нумизматом, — сказал Георгий, — бабушка, по завещанию, отдала его коллекцию в областной краеведческий музей. Одну из монет она подарила мне, сказала, что монета стоит больших денег, но, я думаю, это преувеличение.

— Она у вас с собой? — спросил Всеволод Иванович.

— Нет, зачем ее возить, еще потеряю.

— Как она выглядит? Опишите.

— Там изображен полулысый дядька с большим лбом, коротким носом и мощным, выдающимся подбородком. По периметру указано: Константин Первый, Император Всероссийский, год 1825.

Всеволод Иванович, дрогнув тонкой, с длинными пальцами рукой, снял очки. Похоже, что он был взволнован.

— Откуда этот раритет мог взяться у вашего деда? Он бывал когда-нибудь в Москве, в Санкт-Петербурге?

— В Москве — не знаю, а в Питере точно был, он окончил там Михайловское артиллерийское училище. Вы считаете, это ценная монета?

— Да, она более чем любопытна, хотя это наверняка подделка. Впрочем, и качественные подделки имеют немалую ценность.

— Но насколько я знаю, императора Константина в России никогда не было, откуда ж взялась монета?

— В том-то и дело! — засмеялся Всеволод Иванович. — Императора не было, а монета — есть! В этом ее ценность. И загадка.

Он взглянул на Георгия как-то по-новому, не с усталой рассеянностью, как обычно, а остро и заинтересованно.

— Вы кому-нибудь говорили, что у вас есть этот раритет?





— Нет. Не помню. А почему вы спрашиваете?

— Видите ли, время сейчас тревожное, я думаю, что оно будет еще хуже, начнутся волнения, демонстрации. В такой ситуации преступность, бандитизм, как правило, активизируется, мы скоро в этом убедимся. Если кто-то из подонков узнает об этой редкой и дорогой монете, у вас могут возникнуть проблемы.

— А сколько она стоит?

— Это может сказать только опытный эксперт. По-любому деньги немалые, будьте осторожны.

— Что же это за монета, расскажите.

— Это одна из самых странных и таинственных монет Российской империи. История ее появления достоверно не известна. Вы правильно сказали, что императора Константина в России никогда не было. Некоторые исследователи считают, что в 1825 году эта монета была отчеканена с расчетом на коронацию цесаревича Константина Павловича. Никто не знал о том, что он отрекся от престола в пользу своего брата Николая еще в 1819 году. Царской семьей этот факт скрывался. Был подготовлен манифест Александра Первого, в котором наследником трона признавался Николай. Причем самому Николаю о содержании манифеста известно не было. Документ хранился в запечатанном пакете, открыть который надлежало только после смерти Александра. 27 ноября 1825 года стало известно о кончине императора, пакет распечатали, манифест огласили. Но еще до вскрытия пакета Константину успели присягнуть Николай и гвардия. Константин в это время находился в Варшаве, но ехать в Петербург для публичного заявления отказался, считая это излишним. Он письменно подтвердил отречение и отправил его с младшим братом Михаилом. Две недели в стране длился период неопределенности, возможно, в это время и были отчеканены монеты. После того как Николай Первый вззошел на престол, монеты уничтожили за ненадобностью, но не все. Несколько штук осталось, сколько именно, сказать сложно, потому что постоянно всплывали и всплывают качественно выполненные копии.

— Так вы считаете, что хранить такую монету опасно?

— Я же вам объяснил: лучше, если о ней никто не будет знать.

— Но я могу продать ее?

— Можете, но вам нужно очень хорошо продумать, как это сделать.

9.

Этот разговор изменил скучную жизнь Георгия. Он стал вспоминать рассказы бабушки о деде, сопоставлять и анализировать события, осмысливать причастность их семьи к истории с константиновским рублем. Он допускал, что может ошибиться, насильно привязав факты друг к другу, но сюжет поневоле закручивался в его голове, изобилуя детективными подробностями.

Бабушка рассказывала о близком друге деда, бароне Энгерте, столичном аристократе. Энгерт окончил в один год с Аврелием Николаевичем

Михайловское артиллерийское училище, они воевали в одной бригаде в Первую мировую войну, потом Энгерт был тяжело ранен, скончался в госпитале, и деду передали его вещи, в том числе боевые медали и монеты, среди них — константиновский рубль. Как опытный нумизмат, Аврелий Николаевич не мог не знать о ценности константиновского рубля, поэтому не говорил о нем никому, даже Вере Николаевне. Он не отдал эту монету в краеведческий музей вместе с коллекцией. Но константиновских рублей немного; кому-то стало известно, что монета хранится у деда, эти люди заподозрили, что после его смерти она оказалась у Виталия Аврелиевича и Варвары Михайловны, поэтому их и ограбили.

Неожиданно просыпаясь по ночам, Георгий думал о том, что след может привести к нему. От этой мысли пробирала нервная дрожь: что делать, если так случится?

В этот год он не собирался заезжать домой, когда будет в отпуске, рассчитывал отдохнуть где-нибудь на юге, в Крыму — в Ялте или в Феодосии, но теперь решил заехать обязательно, ведь драгоценный рубль так и лежит в стаканчике с карандашами на письменном столе. Там ли он до сих пор, или квартира вновь подверглась ограблению и рубль исчез?

Чтобы отвлечься от этих мыслей, Георгий решил вечером пойти к Тане — была у него в поселке девушка, которую можно назвать любовницей. Бывает так: любви нет, а любовница есть.

А появилась в его жизни Таня вот как.

Новый год жители поселка праздновали в клубе, такая была традиция, приходили все. Георгий, немного выпив, развеселился, танцевал со всеми подряд девушками и даже с пожилыми женщинами. Но отчего-то рядом все время оказывалась Таня Копосова, посудомойка из столовой, и он несколько раз приглашал ее на медленные танцы, ощущая ладонями гибкую худую спину.

Таня была не только некрасива, но даже несимпатична, выражением лица напоминала маленькую обиженную собачку, но при этом пыталась выглядеть веселой, часто улыбалась. Они о чем-то разговорились, из клуба вышли вместе, и Георгий решил проводить Таню до общежития на краю поселка.

Пока дошли, замерзли, Таня предложила попить у нее в комнате чаю, чтобы согреться. Нашлась и початая бутылка сладкого вина. Уходить из тепла не хотелось, Георгий просидел долго, разговаривая о чем попало. Решающим событием в том, что произошло дальше, явилась перегоревшая лампочка. Она ярко светила из-под розового стеклянного абажура и вдруг погасла. В комнате стало темно и тревожно, Таня пересела ближе к Георгию, потом оказалась у него на коленях и вдруг стала его целовать, обняв тоненькими руками за шею.

Потом они оказались на кровати, разделись. Все происходило естественно и неизбежно, будто по заранее оговоренной программе. Таня обнимала Георгия так сильно, словно боялась, что он убежит.

Георгий понял, что до него мужчин у Тани не было, и спросил:

— Тебе, наверное, больно сейчас?



Она ответила:

— Так и должно быть, мне говорили: сначала больно, а потом все будет нормально. Вы не беспокойтесь.

То, что она в такой момент назвала его на «вы», Георгия поразило. Что-то неестественное было в их торопливой неожиданной близости.

Когда он возвращался утром к себе в общежитие, было еще темно. Морозный ветер сек лицо мелким снегом, Георгий не обращал на него внимания, он чувствовал душевное и физическое опустошение и стыд. Может быть, оттого, что первую свою женщину не любил, она даже не вызвала у него симпатии. Это ненормально, неправильно, все должно было произойти по-другому. Ведь они с Таней даже знакомы по-настоящему не были — виделись каждый день в столовой, но не всегда здоровались. Почему она так легко согласилась на близость? Боялась, что больше никто не польстится? Разве она любит его?

Дальнейшие отношения развивались не менее странно: Таня никогда не приглашала его к себе, а он не предупреждал, что придет. Мог не появляться неделю или дольше, потом приходил, они гуляли по поселку, пили чай в Таниной комнате, и Георгий оставался до утра. Он понимал, что в случайности этих визитов есть что-то обидное для Тани, но никаких изменений в отношении не вносил, и все оставалось так как есть.

После рассказа Всеволода Ивановича о константиновском рубле Георгию стало казаться, что существует человек, от пристального взгляда которого не спрятаться нигде, даже здесь, на краю земли. Захотелось прислониться к кому-то, чтобы не то что спасли, но хотя бы поняли и обогрели на время. Никого другого, кроме Тани, для этого не было. Он не собирался рассказывать ей о константиновском рубле и об опасности, которая ему угрожает, и вдруг, не сдержавшись, открыл тайну. Ситуацию разъяснял столь подробно, что вскоре сам запутался, но Таня во всем разобралась и спросила:

— А нельзя сделать так, чтобы этой монеты не было?

— В каком смысле, не было? — не понял Георгий.

— Ну, нельзя выбросить ее, что ли, чтобы больше не думать?

Георгий опешил от такого нелепого предложения.

— Ты с ума, что ли, сошла? Она очень дорогая, мне кажется, на эти деньги даже квартиру можно купить возле моря, в Сочи или Феодосии, чтобы в отпуск приезжать, а потом, состарившись, совсем туда переселиться.

Он почувствовал, что загнул насчет квартиры, константиновский рубль столько не стоит, подумаешь, монетка, но ему хотелось поразить Таню.

— Тебя подстережет кто-нибудь, убьет и заберет этот рубль, тогда поймешь, что я права.

Танины слова попали точно в цель, он постоянно думал об этом.

— Если убьют, то как я смогу в этом убедиться, — проворчал Георгий.

Он собирался ехать в отпуск один, но Таня очень просила, и Георгий согласился взять ее с собой — не так скучно будет. Он не хотел признаться

себе в том, что боится ехать один. Он решил выяснить истинную стоимость константиновского рубля, но пока не знал, как это сделать.

О женитьбе на Тане вопрос не поднимался как неуместный, Георгий вступать в брак не собирался. Ни в ближайшие, ни в долгосрочные его планы это не входило. С Таней было удобно иметь товарищеские отношения, которые при необходимости приобретали ракурс любовных. Такая универсальность Георгия вполне устраивала, о том, устраивает ли она Таню, он не задумывался.

Но однажды Петр Петрович Леций вдруг сказал:

— Ты, говорят, скоро жениться будешь, так свадьбу в поселке делай, не зажимай, погуляем, как положено.

Георгий не нашел, что ответить, он забыл о том, что в поселке не так уж много людей и жизнь каждого видна словно под микроскопом. Негласно считалось: если мужчина спит с женщиной, то должен нести за это ответственность. Георгий с этим утверждением не был согласен, но и не обращать на него внимания не имел права. Любви к Тане не было, но он привык к ней и уже не обращал внимания на ее некрасивость. Таня внимательна, заботлива, с ней интересно разговаривать вечерами, она спасала от одиночества — вот что самое главное. Но свою жену он представлял совсем иной. Таня была товарищем, наподобие Ярослава. Разве можно жениться на товарище, в этом есть что-то противоестественное.

Как бы то ни было, в отпуск они поехали вместе.

10.

Георгий был полон подозрений, он осматривал квартиру так пристально, что вызвал невольную улыбку у Тани. Улыбка привела его в негодование. Разве нельзя допустить, что в квартиру проникли посторонние? Да, дверь стальная, надежная, но к любой двери можно подобрать ключ, если есть на это время и ты точно знаешь, что хозяин квартиры не может появиться неожиданно. А сосед об этом знал. И у Ярослава все это время были ключи от квартиры, можно ли быть уверенным в его честности? Разве не мог он вступить в преступный сговор с бандой, которая решила найти константиновский рубль? И не эта ли банда ограбила квартиру при жизни родителей?

Стоит ли говорить, что Георгию показалось, будто вещи в шкафу сложены не так, как раньше, в них кто-то рылся, и шторы на окнах он год назад задергивал не так, и книги на полках стоят не в той последовательности.

Таня уверяла, что он просто мнителен, что ему все это кажется, разве можно в точности запомнить все мелочи? Константиновский рубль на месте, вот он, в стаканчике с карандашами, почему злоумышленники не обнаружили его и не забрали?

Монета и в самом деле была на месте, но Георгий и тут нашел объяснение: если хочешь вещь надежно спрятать, лучше всего оставить ее на виду, это проверено, так во всех книгах пишут.





Он достал монету и долго вглядывался в курносый профиль неудавшегося монарха. «Отчего отказался этот человек стать императором? Побоялся ответственности? Невозможно даже представить, как это трудно — управлять огромной Российской империей, что ни случись — во всем виноват ты».

Проклятый константиновский рубль внес сумятицу и неопределенность в жизнь Георгия, казалось бы, чего проще — продай его, получи деньги и успокойся. Но разве легко это сделать? За сколько и кому продать? Где тот человек, который выложит деньги? И не будет ли это противозаконно, ведь константиновский рубль наверняка представляет собой историческую ценность, попробуй докажи потом, что ты его не украл, что он принадлежал твоему родному деду? А где взял его дед? Действительно ли у барона Энгерта? Может быть, и там темная история?

Константиновский рубль мучил Георгия, он ловил себя на мысли о том, что Таня права, лучше б его не было.

Таня тщательно прибралась в квартире, вымыла полы и окна, произвела ревизию на кухне, выбросив старую, с трещинами, посуду, которая, по ее словам, приносит несчастье в дом. Накупила разной еды и заполнила ею холодильник. Георгий наконец-то заметил, как вкусно она готовит.

До него не сразу дошло, что Таня чувствует себя в квартире хозяйкой и это не выглядит неожиданностью или наглостью. То, что она ему не жена, уже не важно. Она умеет создать комфорт, уют, а это не каждой женщине по плечу.

Она ненавязчиво вошла в его заботы, все они крутились теперь вокруг константиновского рубля. Таня возненавидела эту монету, была уверена, что она не принесет им ничего хорошего. Георгий растерялся, он не знал, как поступить, не выбрасывать же. Он решил, несмотря ни на что, ее продать, деньги положить в сберкассу, чтобы росли проценты. Правда, в стране царил такой тарарам, что о сберкассе лучше было забыть.

Георгию не хотелось встречаться с Ярославом, но это было неизбежно, хотя бы для того, чтобы забрать ключи от квартиры. Таня к этой встрече отнеслась внимательно, приготовила обед, купила дорогой коньяк.

Ярослав защитил диссертацию и преподавал в университете. Друг детства раздался вширь и слегка полысел, говорить стал многозначительно и убедительно.

Он пил коньяк, каждый раз промокая салфеткой толстые губы, и рассуждал о рыночной экономике, неизбежной, на его взгляд, для России. В поведении Ярослава появилось нечто покровительственное, Георгия он называл «дорогой мой», Таню — «милая моя». Несколько раз солидно повторил: «Извините, но это не мой вопрос». В целом выглядел неприятно.

Георгий спросил, не знает ли Ярослав, где собираются теперь в городе нумизматы.

— Решил пойти по стопам деда, монетки собирать? — улыбнулся Ярослав. — Наверное, много денег на Севере заработал, спешишь вложить? Что ж, разумно. Скажу тебе по секрету, наступают времена, когда деньги лучше всего хранить в чем-то вещественном.

— Например? — поинтересовался Георгий.

— В золоте, бриллиантах, недвижимости. Да хотя бы в тех же старинных монетах, они своей ценности никогда не потеряют. Твой дедушка напрасно сдал коллекцию в музей, лучше б внука обрадовал наследством.

Слушая эти ленивые рассуждения, Георгий терялся в догадках: ну же! Ярославу что-то известно? Возможно, что кто-то из нумизматов города знает о константиновском рубле, Аврелию Николаевичу не удалось скрыть факт наличия у него этой монеты. Почему он не рассказал о ней бабушке, хотя бы перед смертью? Не знал реальной ценности монеты? Сомнительно. Что-то не складывалось в этой логике.

Требовалось срочно выяснить, сколько стоит константиновский рубль, затягивать с этим вопросом не хотелось, пора было брать билеты на поезд в Феодосию — отпуск есть отпуск, он бывает раз в год и предназначен для отдыха, а не для глупых переживаний о злополучной монете в душевной жаре приволжского города. Таня уже несколько раз намекала об этом, в общении с Георгием она умела взять аккуратный тон и, вроде бы ни на чем не настаивая, систематически давить на мозги. Если б она хамила и качала права, которых у нее не было, Георгий без труда нашел бы линию поведения, но ложная покорность Тани его обезоруживала и заставляла склоняться к компромиссам.

Ярослав сообщил адрес, и Георгий отправился в клуб филателистов и нумизматов.

Это было длинное, мрачноватое полуподвальное помещение с решетками на запыленных окнах; вдоль стен — столы, за которыми сидели пожилые люди, разложив кляссеры с марками, капсулы и планшеты из картона с ячейками для каждой монеты. В пространстве между столами бродили посетители, наклоняясь к выставленным на продажу монетам, некоторые разглядывали через увеличительные стекла, марки брали пинцетами; в этих людях чувствовалось нечто фанатическое. Атмосфера была душная и немного торжественная, разговоры велись негромко. Георгий отметил, что смотрят монеты и марки подолгу, но покупают редко. Народу было немного, иногда те, кто смотрел, доставали из портфелей свои кляссеры, альбомы и планшеты и показывали их содержимое сидящим за столами.

Крепко сжимая константиновский рубль в кулаке, Георгий пристально вглядывался в лица коллекционеров, выбирая, к кому из них обратиться с вопросом. Каждый при тщательном рассмотрении казался ненадежным и подозрительным, несмотря на преклонный возраст. Ошибиться было нельзя, ужасные картины преследования и расправы сразу же возникали в воспаленном мозгу Георгия.

Он остановился на самом старом из коллекционеров, этому человеку было за восемьдесят, седая плешивая голова порой болезненно вздрагивала, под погасшими водянистыми глазами взбухли опухоли, горбатый нос был испещрен синевато-багровыми сплетениями. Георгий дал ему прозвище Предсмертный, подошел и учтиво поздоровался.

Предсмертный посмотрел на Георгия без особого интереса и подвинул ближе к краю стола планшет с монетами: мол, будьте любезны, смотрите.





— Я хотел бы с вами поговорить, — сказал Георгий.

Лицо Предсмертного осталось равнодушным.

— Говорите. Слушаю.

— Здесь много народу, я бы хотел наедине.

— Что за капризы, молодой человек, я вас не понимаю.

— У меня серьезный разговор, поверьте.

— Что ж, — раздраженно пожал плечами Предсмертный, — извольте.

Он неторопливо сложил планшеты с монетами в потертый портфель, защелкнул замки и поставил его на пол возле стула соседа-нумизмата:

— Евгений Васильевич, будьте любезны...

В этой компании, как выяснилось, был старший по помещению — маленький иссохший старичок, похожий на китайского мудреца. Предсмертный сказал ему в ухо, поросшее пухом белесых волос, несколько слов, и тот протянул ключ:

— Надеюсь, ненадолго, Алексей Вячеславович?

— Полагаю, да, — ответил тот.

Помещение, в которое они вошли, оказалось чьим-то кабинетом: длинный стол, стулья вдоль него, с торца — кресло, по стенам — полки с книгами.

— Слушаю вас, молодой человек, — сказал Алексей Вячеславович, садясь на стул, голос у него был басовитым, многозначительным, хотя и вздрагивающим временами. Когда он говорил, «предсмертным» уже не выглядел.

Георгий молча вынул из кармана монету и положил ее на стол портретом неудавшегося императора вверх. Константин глядел насупившись, недобро. Алексей Вячеславович взял раритет сухими голубоватыми пальцами, рассмотрел, близко поднеся к очкам, потом вынул из кармана увеличительное стекло, раскрыл его, стал изучать монету подробнее. Наконец, положил ее на стол.

Сказал, не меняя в глазах погасшего, замершего выражения:

— Если приобретение вами этой монеты было связано с криминалом — бандитизмом и воровством, то давайте нашу встречу закончим, вы ничего от меня не добьетесь, даже если станете угрожать. Только не говорите, что случайно нашли монету на пляже в песке или когда копали картошку на огороде.

— Она принадлежала моему покойному деду Аврелию Николаевичу Елисееву, — сказал Георгий, поняв, что темнить не нужно, — мне передала ее бабушка после смерти деда.

— Почему я должен вам верить?

Георгий достал из кармана брюк паспорт, который предусмотрительно взял с собой, открыл его на нужной странице и показал старику.

— Елисеев Георгий Витальевич, — прочитал старик вслух и усмехнулся. — Вы представляете, сколь распространенная это фамилия? Впрочем, ладно, похоже, что вы не бандит, это обнадеживает.

Он глубоко вздохнул и откашлялся.



— Итак. Я был знаком с вашим дедом. Человек это глубоко порядочный, но чрезвычайно скрытный. О том, что он обладает этим раритетом, Аврелий Николаевич никогда мне не говорил. Предполагаю, мало кому говорил. Мне известна история константиновского рубля довольно подробно. Могу вас уверить, что ваш экземпляр к шести монетам, отчеканенным в 1825 году, отношения не имеет. Это подделка, но очень хорошего качества. Монету перечекаивали не раз, и каждая новая редакция имеет свои особенности — вам это едва ли интересно. Вас, вероятно, волнует стоимость монеты?

— В общем-то, да, — признался Георгий.

— Я не самый высококлассный эксперт, могу сказать очень приблизительно.

Он достал из кармана пиджака блокнот, шариковую ручку, открыл чистый лист, написал цифру и показал Георгию. Блокнот сразу же спрятал. Георгия удивило, что старик не произнес цифру вслух, словно опасаясь, что могут подслушать, осторожность у этого поколения в крови.

— Есть еще вопросы?

— Не могли бы вы купить у меня эту монету?

— Еще чего не хватало. Вы, наверное, шутите?

Глаза старика стали насмешливыми и даже язвительными.

— Но почему? Неужели она вам не интересна?

— Молодой человек, я удовлетворил ваше любопытство, но вы продолжаете задавать вопросы. Они выглядят неэтично.

— Извините.

— Ничего. Будьте здоровы.

Старичок церемонно откланялся.

Когда Георгий вернулся домой, Таня смотрела телевизор, старенький «Темп-3», купленный когда-то Виталием Аврелиевичем по большому знакомству. В Москве были волнения, демонстрации, показывали Горбачева, беседующего с трудящимися, люди вели себя возбужденно.

Таня предложила пообедать, но Георгию было не до еды, он до сих пор не мог прийти в себя от шока, вызванного цифрой, написанной в блокноте стариком. Он решил не сообщать ее Тане, но, когда она спросила, сдержаться не смог. Он думал, что Таня будет поражена, но она лишь пожала плечами:

— Вот видишь, я так и думала. Что нам теперь с ней делать? С собой взять, в Феодосию?

— Нет, — возразил Георгий, — возить ее опасно, еще потеряем или украдут. Надо где-то здесь в квартире спрятать, в надежном месте.

— Она и лежала в надежном месте, ты сам об этом говорил, — сказала Таня и бросила монету обратно в стаканчик с карандашами.

До определенного момента жизни человек не думает о том, что он — часть истории, но это до тех пор, пока история не начинает вершиться на его глазах. Так было с Георгием и Таней в августе девяносто первого года.

Они приехали в Феодосию, сняли небольшой домик в районе, называемом местными жителями Карантин. Район был на горе, открывался



замечательный вид на морской залив, Георгий и Таня по утрам любовались им. Днем было некогда, они шли на пляж, загорали, купались, потом гуляли по городу, по набережной. Лето выдалось солнечное, жаркое, им очень нравилось в этом городе.

Однажды они подошли к порту и Георгий рассказал Тане, что именно отсюда генерал-майор Петр Григорьевич Елисеев отбыл в эмиграцию в 1920 году, он предлагал это сделать и Аврелию Николаевичу, которого встретил в Феодосии, но тот отказался, он был помолвлен с Верой Николаевной и должен был на ней жениться. Петр Григорьевич убеждал племянника, что белогвардейского офицера большевики обязательно расстреляют, но Аврелий Николаевич был непреклонен. С большими приключениями добравшись до Сибири, он выполнил обещание и обвенчался с Верой Николаевной.

Аврелий Николаевич получил в Михайловском артиллерийском училище отличное образование, в советское время он без труда окончил курсы геодезистов, овладев новой профессией, устроился работать на строительство железных дорог — делать съемку будущих путей. Работать приходилось в глухой местности, с частыми переездами, это и спасло его от бдительного ока компетентных органов.

Когда началась Великая Отечественная война, Аврелию Николаевичу исполнилось пятьдесят, его могли призвать в армию, но он имел бронь как железнодорожник. Воевать он не хотел и не раз говорил об этом Вере Николаевне, к советской власти относился скептически.

Перед тем как выйти на пенсию, они купили небольшую квартиру в городе, где жил сын, Виталий. Он вырос как-то незаметно, в многочисленных деревнях и поселках, по которым кочевали Елисеевы, прокладывая новые железные дороги.

— Откуда у него взялся константиновский рубль? — спросила Таня.

— У деда был близкий друг, барон Энгерт, они вместе окончили Михайловское артиллерийское училище и воевали вместе, Энгерт погиб, монета была в его вещах. Мне бабушка об этом рассказала.

— И дед никогда об этой монете никому не говорил, никому ее не показывал и не пытался продать?

— Выходит, что так.

— Ну и зачем она была нужна ему в таком случае?

В домике, где жили Таня и Георгий, был маленький телевизор, показывал он плохо, черно-белый экран рябил, поэтому включали его редко. С посторонними людьми Таня и Георгий не общались, о событиях, происходящих в Москве, они узнали поздно, когда Горбачев уже вернулся из Фороса в Москву и вся история с его якобы пленением закончилась. На самом деле это было только началом трагических событий, о которых тогда невозможно было даже предположить.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

11.

Этот день навсегда запомнился Георгию Елисееву и не запомниться не мог.

Мороз был до сорока пяти, как и положено в феврале за полярным кругом. Раньше такие дни называли актированными, то есть выходными, теперь о морозе никто не вспоминал, если требовалось, работали.

Елисеев сидел в своем кабинете начальника базы производственного обеспечения, слушал характерное в сильный мороз потрескивание стен, отвечал на редкие телефонные звонки. В поселке Носовое два руководителя: глава администрации Парчевский и начальник базы Елисеев. Кто из них главнее, сказать сложно, поскольку подчиняются они разным ведомствам, однако Парчевский постоянно норовит поставить перед Елисеевым какую-либо задачу и потребовать ее выполнения.

Прошло почти пять лет после того памятного отпуска в Феодосии, за это время Георгий и Таня из поселка никуда не выезжали. Георгия назначили начальником ремонтного цеха, потом предложили возглавить всю базу, поскольку никого более подходящего не нашлось. Он долго сопротивлялся, прежде чем дал согласие. Геологоразведочную экспедицию, которой принадлежала база, расформировали, но принимать грузы по навигации было нужно для других организаций, поэтому базу пока что сохранили, однако ее существование каждый год висело на волоске. Народ разбежался, пил, организовать какое-то подобие управляемого производства становилось все труднее. Таня окончила бухгалтерские курсы и работала в администрации поселка, давая Парчевскому лишней козырь для давления на Елисеева.

У Георгия с Таней родился сын Дмитрий; приходя вечером домой с работы и глядя на этого маленького человека, Георгий каждый раз думал о том, что сына, как и все поколение, ждет нелегкая судьба.

Начался тот день с телефонного звонка в город с требованием дизельного топлива для электростанции и котельной. Поселок был полностью автономным, находился вдалеке от цивилизации, протянуть к нему линии электропередач и в советское время было сложно, а теперь — вообще фантастично. Дорог к нему также не построили; если взглянуть на карту, это легко оправдать: в октябре — начале ноября пробивали зимник, по нему вывозили на буровые то, что было принято в порту в навигацию и завозили в поселок продукты и топливо. Раньше трасса поддерживалась в хорошем состоянии, теперь бурили мало, поэтому зимник часто стоял переметенный снегом.

О поселке Носовое городское начальство иногда словно забывало, Елисеева это крайне возмущало: здесь жило сто двадцать человек, некоторые с малолетними детьми, если посередине зимы встанет из-за отсутствия топлива электростанция или котельная, эти люди замерзнут.

В этот год топлива на долю поселка завезли возмутительно мало, обещали в случае необходимости дополнительные поставки, но Елисеев





на них не надеялся, гораздо больше успокаивало его то, что было принято двести кубов топлива для совместного предприятия «Аризона-ойл», он надеялся, если потребуется, взять в долг. Топливо хранилось на берегу в рулонной емкости, рядом стоял балок, в котором жил охранник от «Аризоны-ойл».

Наругавшись с утра, Георгий Витальевич с наслаждением закурил, он постепенно втянулся в курение, от табака отдыхали мозги, и еще это был повод, чтобы в этот момент не беспокоили посещениями.

Но останавливало это не всех. Коротко постучав, в кабинет вошел Александр Александрович Зварич, мастер ремонтного цеха. Высокого роста, с седоватыми, гладко зачесанными волосами, с нездоровым ярким румянцем на крепких щеках. Присел к столу. Ему необходимо было поговорить. Любого другого Елисеев попросил бы подождать за дверью, но не Зварича.

Он болен раком, долго лежал в больнице в городе, ему что-то вырезали в легких, потом облучали. Вернулся после операции вышел на работу и трудится в обычном режиме. Пьет при этом, как и прежде, ежедневно. Уволить его невозможно, надо сердца не иметь, чтобы его уволить.

— На рабочих не дыши, — попросил Елисеев. — И вообще не увлекайся.

— Я леденцами закусываю. — Зварич достал из кармана жестяную коробочку, открыл крышку и показал конфеты.

— Лучше б не пил, тогда и леденцы бы не требовались.

— Я б не пил. Не получается.

У него синие, откровенные глаза, Елисееву трудно в них глядеть.

— Болит у тебя внутри?

— Болит.

— Что?

— Душа. Дочь в институте не успею выучить.

— Тебе ж вроде бы вырезали все лишнее...

Не отвечает, глядит синими глазами мимо, на карту побережья, висящую на стене. Он знает, сколько ему вырезали и на какой срок хватит того, что осталось, ободрять Зварича нет смысла, жить ему недолго, хотя внутри ничего не болит, кроме души.

Глядя на него, Георгий Витальевич думал о том, как странно и страшно человеку ощущать свою физическую уязвимость: печень, почки, сердце, сосуды, легкие — как все это ненадежно. Он где-то прочитал про самообман, называемый клонированием.

Предположим, клонирование органов поставят на поток, прогресс в области капитального ремонта человеческого организма гарантированно удлинит жизнь. Но удлинит не всем. Стоимость клонирования органов будет высока, богатые люди станут жить дольше бедных, возникнет каста долгожителей. Эти люди перестанут опасаться за свое здоровье. Цирроз печени? Сейчас заменим печень. Рак легких? Заплатите по прејскуранту.

Зварич ничего не знает о клонировании, сидит, склонив голову, молчит, хотя пришел поговорить, ему дублированных органов точно не

достанется. Он на инвалидности и может не работать, но без работы умрет гораздо раньше. От тоски.

Долго сидеть в кабинете начальника неприлично, он тяжело поднимается:

— Ну, я пойду?

Ждет, что Елисеев предложит задержаться, но тот не просит. Зваричу хочется облегчить душу, он не понимает: когда делишься грузом, тому, с кем поделился, становится тяжелее.

Георгий не ожидал, что станет начальником, что ему будет доверена жизнь людей. Раньше поселок был обширен и густонаселен, хотя эта зона считалась пограничной и попасть сюда было нелегко. Люди стремились в поселок, потому что здесь хорошо платили и снабжение продуктами и товарами было отличным. Теперь, после распада страны, жизнь переменялась — зарплата стала намного меньше, да и ту выдают с большой задержкой, а по поводу снабжения и говорить нечего. В поселке остались те, кому некуда деться, процветает пьянство, хотя алкоголь не завозится. Елисеев знает, что в ремонтном цехе на поток поставлено изготовление саmogонных аппаратов, но ничего не может с этим поделать.

Однажды посреди ночи его разбудил телефонный звонок, звонила вахтерша из общежития:

— Георгий Витальевич, там Симаков сам себя режет!

Не вникая в подробности, Елисеев накинул полушубок, сунул в унты босые ноги, понимая, что медлить нельзя. Милиционера в поселке давно не было, его функции легли на Парчевского и Елисеева. Но хитрый Парчевский отключал телефон на ночь и дверь не открывал, чтобы не беспокоили.

Посреди комнаты, пол которой сплошь усеян сгустками крови, сидел на стуле здоровенный парень, голый по пояс, — плотник Симаков. С задумчивой озабоченностью склонив патлатую голову, он вырезал у себя из мякоти левой руки, ниже локтя, кусочки мяса. Уже проглядывала белая лучевая кость. Насквозь пропитав тело и мозг алкоголем, Симаков боли не чувствовал.

Елисеев содрогнулся от этой картины:

— Что ты делаешь, дурень, прекрати!

— Не кричите, Георгий Витальевич, — спокойно ответил плотник, взглянув на Елисеева тусклыми, отсутствующими глазами. — Я ондатру свежую. Не подходите, не мешайте.

Пьяные собутыльники Симакова сбивчиво объяснили, что он, обезумев от самогона, стал бросаться на всех с ножом, даже кого-то слегка зацепил, потом сел на стул в своей комнате и принялся кромсать руку.

Елисеев рос тихим и неконфликтным, в драках во дворе никогда не участвовал, за всю жизнь никого не ударил по лицу, даже когда следовало это сделать, Елисеев и сам не понял, откуда взялось в нем вдруг столько решимости: он подошел к Симакову и с размаху врезал ему в ухо. Плотник повалился на пол, как куль, нож отлетел в сторону. На Симакова бросились, стали его связывать.





— Идиоты! — заорал Елисеев. — Руку ему забинтуйте, он сейчас от потери крови умрет!

Руку в предплечье перетянули резиновым жгутом, чтобы остановить кровь, рану перебинтовали. Прилетел вертолет — санрейс, Симакова отвезли в город, в больницу. Там он и умер...

Ситуация с дизельным топливом совершенно не нравилась Елисееву: позавчера его уверили, что из города вышли в поселок две машины — это двадцать кубов солярки, — но вчера вечером пришло сообщение о том, что машины вернулись, потому что крутой овраг, имеющий название Тещин язык, замело снегом. Был направлен бульдозер, чтобы расчистить дорогу, но он сломался, бульдозерист на попутной машине вернулся в город и запил.

Елисеев позвонил в офис компании «Аризона-ойл» и попросил дизельное топливо в долг, там вежливо сообщили, что, по их информации, топливо в поселок отправлено в достаточном количестве, опасности, что люди замерзнут, нет. Информацию о поломанном бульдозере и запившем бульдозеристе посчитали ложной, решив, что их обманывают, чтобы перестраховаться.

Георгий Витальевич позвонил в городскую администрацию и доложил, что ситуация тревожная, если не сказать катастрофическая, там долго слушать не стали, ответив коротко: «Принято».

Уверенно распахнув дверь, в кабинет вошел Олег Владимирович Пожидаев — видный мужчина с повадками женского любимца. Важными манерами он напоминал Елисееву павлина. Пытался держаться на равных, намекает на свои серьезные в прошлом должности: «Я руководил тысячами людей». Никакими тысячами он не руководил, Елисеев из любопытства поинтересовался в отделе кадров.

Пожидаев — мастер по обслуживанию и ремонту трубопроводов, которые ведут от морского терминала к нефтебазе.

С утра он посылает двух подчиненных ему слесарей для осмотра и ремонта труб и задвижек, а сам целыми днями не выходит из кабинета, бессовестно спит, составив друг с другом стулья; иногда выпивает, стараясь не попасться на глаза Елисееву. Георгий давно собирается выгнать этого бездельника.

— Вы хомуты заказали? — спросил он.

— Естественно.

— На все диаметры трубопроводов?

— Конечно.

— И резину нашли?

— Конечно.

— Можно проверить?

«Задумался, — отметил Георгий, — значит, врет».

— Почему вы ко мне придираетесь?

— Вас оскорбляет то, что я требую организовать работу? В навигацию изготовлением хомутов и тренировками по их установке будет заниматься некогда. Я наблюдал за действиями ваших рабочих при порыве

трубопровода. Вам самому приходилось пользоваться хомутом? Вы представляете, как его поставить?»

Пожидаев кровно обижен, гневно сжал губы.

— Я двадцать лет в нефтяной промышленности!

— Не имеет значения, хоть тридцать. Давайте завтра проверим наличие хомутов по списку, каждой разновидности должно быть по четыре штуки.

— Что вы меня пугаете?

«Неизлечим, — решил Елисеев, — надо гнать, пусть лучше никакого мастера не будет, чем такой».

12.

Неподалеку от офисного здания базы производственного обеспечения отапливаемый гараж для старенького служебного уазика. Водитель давно уволился, Георгий научился ездить сам. Гараж сооружен из старой компрессорной и оборудован по-хозяйски, Елисеев им тайно гордится. Нужно ехать домой на обед, пешком идти холодно. Двигатель машины завелся «с полпинка», заурчал уютно и ровно, словно соскучившись по работе.

Дома ждал борщ, котлеты из оленины и восторг сына, Дмитрия Георгиевича, по поводу появления отца. Сначала Георгий называл сына по имени-отчеству в шутку, но потом привык и уже не мог без этого обойтись. Восторг сына трогал его до слез. Ему невольно думалось, что, когда он будет умирать, эти картины вспомнятся как самые счастливые: восторг сына при его появлении и улыбающееся лицо Тани, сидящей за накрытым к обеду столом. Любому человеку, независимо от возраста, отчего-то кажется, что умирать он будет еще очень нескоро.

Родив ребенка, Таня заметно пополнела и приобрела женские формы, она даже на лицо стала симпатичной, чего уж совсем трудно было ожидать. Перед росписью в ЗАГСе, в городе, когда сидели на мягких стульях, ожидая своей очереди, Таня умоляюще шепнула на ухо Георгию:

— Ты только, пожалуйста, не пей, что бы ни случилось! Можешь даже к чужой женщине пойти, я это как-нибудь переживу, но не пей.

Таня была местная, выросла в поселке Нижние Ручьи, там пьянство имело ужасающие масштабы, родители Тани по этой причине рано ушли из жизни, оставив в памяти дочери жуть своего поведения.

Почувствовав, что ее слова прозвучали чересчур откровенно и неуместно, Таня добавила, попытавшись неловко пошутить:

— Мама говорила, что у мужчины могут быть в жизни два несчастья: большие деньги и красивая жена, тебе повезло, у тебя нет ни того, ни другого, так что можешь считать себя счастливым.

Шутка Георгию не понравилась.

После обеда Елисеев решил съездить на нефтебазу, особой нужды в этом не было, но ему вдруг захотелось посмотреть на рулонную емкость с дизельным топливом, принадлежащим совместному предприятию «Аризона-ойл», он словно засомневался в ее реальности.





Он ехал по поселку, стараясь не замечать безжизненные двухэтажные дома с заколоченными окнами, заметенный снегом клуб с просевшей крышей, готовой провалиться, безлюдность улиц. Поселок умирал и скоро умрет окончательно, это было ясно. Георгий отдал ему десять лет жизни, получалось, что годы эти прошли бессмысленно. То, что показывали по телевизору, также не внушало оптимизма: страна катилась в пропасть, чем дальше, тем быстрее, Георгий Елисеев не мог этот процесс остановить, и ему было горько и страшно.

Дорога на нефтебазу была сильно переметена и едва различалась, Георгию пришлось включить в машине передний мост. Вот и два ряда окрашенных в серебристый цвет емкостей. Балок «Аризоны-ойл» выглядел безжизненным, но Георгий знал, что охранник на месте, он отлучается лишь ранним утром, чтобы проверить «чумики» на песцов и петли на зайцев.

Задвижка рулонной емкости была замотана цепью, висел солидный амбарный замок. Георгий улыбнулся символичности этого запора: переписать цепь ножовкой можно за пять минут. Охранник так и не вышел из балка, видимо узнав Георгия издали, появление начальника базы не вызвало у него подозрений. А может быть, он просто спал.

Елисееву захотелось поехать на причал, в этом также не было необходимости, но если уж делать осмотр подведомственной территории, так всей сразу. Лобовое стекло стало припорошивать снегом, Георгий подумал: если начнется пурга, это не меньше чем на три дня. Или на шесть. Или на девять. Пурга дует именно с такой периодичностью.

Берег моря на снежной равнине почти не обозначался, где-то под снегом застыли причальные дебаркадеры, весной они оттают и всплывут. Георгий любил весну, в зиме было что-то мертвенно-унылое, но зима в этих местах стояла в течение восьми месяцев.

На обратном пути свернул к помещению электростанции, он каждый день бывал там, не было объекта важнее. Ну еще котельная. Электростанцией командовал Петр Афанасьевич — пожилой, солидный человек, друг Всеволода Ивановича. Всеволод Иванович два года как умер — уснул на койке в пустом общежитии и не проснулся. Георгия очень расстроила его смерть.

О ситуации с дизельным топливом Петру Афанасьевичу было хорошо известно, поэтому ненужных вопросов Елисееву он задавать не стал, не сомневаясь, что тот ищет выход из положения и найдет его.

Светлое, ухоженное помещение электростанции всегда вносило умиротворение в душу Георгия: пока рокочет мощный двенадцатицилиндровый агрегат, поселок жив; и в самой фигуре Петра Афанасьевича — плотной, приземистой, в его добела седых, нестриженных кудрях, было что-то надежное, капитальное, на такого человека можно положиться.

Когда Елисеев вернулся в кабинет, пурга уже дула всерьез, бросая в оконное стекло гроздь снежной крупы. Георгий подумал, что про те две машины с дизтопливом, которые пытались пробиться из города, можно окончательно забыть. Он не сомневался, что получит разрешение взять

кубов двадцать топлива в долг из рулонной емкости «Аризоны-ойл», иначе быть не могло.

Начало темнеть, Георгий включил свет, стал листать деловые бумаги, не переставая думать о том, что обязательно должны позвонить из города по поводу топлива.

Валя вошла молча и решительно, Георгий невольно вздрогнул при ее появлении, хотя к этим трагическим манерам успел привыкнуть. Маленькая, сутуловатая женщина, в сером платье и коричневой вязаной кофте. Комок горя, мощный негатив. Даже когда она молчит, пространство наполняется столь глубокой, физически ощутимой скорбью, что хочется выйти из помещения.

Валя исполняет функции секретарши, нормировщицы и вообще тянет всю бумажную работу на базе производственного обеспечения. При отращении Елисеева к регулярной отчетности и другим бюрократическим программам такой человек важен.

Появилась она года два назад; быстро поняв свою незаменимость, принялась наглеть. Из-за тотальной загруженности Георгий пропустил прохождение Валей границы, разделяющей уязвленную гордость незамужней женщины и бесцеремонность матери-одиночки, чьи права защищены государством. Мать-одиночка — это священная корова, которой можно абсолютно все, при этом сын постоянно на Большой земле, у бабушки. Некоторые люди считают, что в их несчастьях виновно все остальное человечество.

Зварич искренне поражался:

— Откуда взялся сын? Кто на нее польстился?

Он оказался не прав. Валя быстро обзавелась любовником. Угловатый оператор котельной Богдан стал подолгу засиживаться в ее крошечном кабинете, где едва уместались стол и стул. Телогрейка Богдана исторгала устойчивую вонь, свойственную котельной, Валя терпела во имя тайных стратегических целей. Расчет оказался верным: Богдан бросил семью и стал жить с ней.

Это был один из тех людей, которые не хватают звезд с неба, потому что они им не нужны. Угрюмый, малоразговорчивый, временами — дерзкий.

А потом Богдан тяжело заболел, его лечили в городской больнице, потом перевели в окружную. Затем отвезли в Архангельск, где страшный диагноз подтвердился. С той поры начались Валины визиты в кабинет Елисеева. Она ухитрялась выглядеть гордой и независимой, когда просила, а просила она постоянно. Просьбы незаметно превратились в требования, создалось впечатление, что Елисееву ничего не стоит помочь ее горю, но он не желает из равнодушия.

Георгий не заметил, как влез в эту трясину: звонил, писал бумаги в городскую и окружную администрацию. Все эти действия отняли у него массу нервов и времени, Богдану не помогли, но по поселку распространился слух о близких отношениях между Елисеевым и Валей.

Понятие «жалко» было давно пройдено, да и что такое «жалко»? Как применить это слово к человеку, переступившему одной ногой границу





смерти? Что ему эта жалость? И почему это слово так важно для маленькой женщины, ссутулившейся напротив Георгия на стуле?

Однажды Валя сообщит, что Богдан умер, в поселке соберут деньги на похороны и вскоре забудут о нем, но Георгию кажется, что Валя все равно будет приходить к нему в кабинет и сидеть напротив с молчаливой укоризной, пытаясь пробудить в нем стыд за безучастность к судьбе ближнего.

13.

Явился Парчевский. Он редко приходит в кабинет к Елисееву, считая себя руководителем рангом выше.

Владимир Михайлович невелик ростом, но голову держит гордо и осанку имеет подчеркнуто прямую, по этой причине кажется выше. Он часто улыбается, но Георгию не нравятся эти улыбки, они имеют начальственный оттенок.

Остановился возле двери, так и не поздоровавшись, спросил:

— Что у вас с дизельным топливом?

Очень ловко поставлен вопрос, он сразу определяет приоритет: «у вас», значит у Елисеева, он, Парчевский, ни при чем, если что-то не получится, виновник известен.

Георгий без труда оценил эту подлую уловку, он не собирался уклоняться от ответственности, но раздражало то, что Парчевский, отлично осведомленный о ситуации с топливом, хочет, чтобы Елисеев ему официально доложил.

— Жду звонка из города, — ответил Георгий. — Вы звонили в администрацию?

— На компанию «Аризона-ойл» администрация влияния не имеет.

— Тогда нужно было в навигацию привезти топлива столько, сколько я заказал, а не заниматься демагогией, — не выдержал Елисеев.

— Так почему вы этого не добились, не проявили характер?

Смысл визита Парчевского для Георгия предельно ясен: стелет соломку, чтобы, если что, было мягче падать. Теперь, когда приперло, этот хитрован пытается делать трусливые финты, чтобы выйти из-под удара. Что ж, обойдемся без него.

— Я дам вам знать, Владимир Михайлович, когда вопрос решится, — вежливо сказал Елисеев, чтобы завершить бессмысленный разговор.

Парчевского такой вариант вполне устроил, он кивнул и удалился.

Рабочий день закончился, но Елисеев не уходил из кабинета, ожидая звонка. Наконец телефон взорвался трелью, Георгий схватил трубку:

— Слушаю вас.

— Это Евсеев? — В голосе чувствовался южный акцент, который говоривший не находил нужным скрывать, даже подчеркивал.

— Моя фамилия Елисеев, — ответил Георгий.

— Так вот, Евсеев, — абонент не стал исправлять ошибку в фамилии, подчеркивая этим свое пренебрежение, — дизельное топливо компании

«Аризона-ойл» является частной собственностью, если вы возьмете из емкости хотя бы литр, пойдете под суд. Это я вам обещаю.

Георгий задохнулся от негодования:

— У меня больше ста человек в поселке, из них одиннадцать несовершеннолетних детей.

— Надо было раньше заботиться о детях. Вы не подготовились к зиме. Вы плохой руководитель.

— Мне нужно хотя бы десять кубов топлива, задула пурга, ни машинам, ни вертолету, тем более с подвеской, не пробиться.

— Ты что, русского языка не понимаешь? — взорвался абонент, коверкая слова еще больше. — У меня свои дети, у тебя — свои. Прошу не путать.

Георгий бросил трубку.

Всю ночь Елисееву не спалось, он выходил на кухню, курил, приоткрыв форточку, пурга бесновалась жутко, в двух метрах нельзя было ничего различить. Утром Георгий принял относительно топлива окончательное решение: рисковать жизнью людей нельзя.

Десятикубовая емкость на тракторных санях была тарифована по всем правилам, на это имелся официальный документ с печатью. Георгий составил акт, на основании которого надлежало изъять десять кубических метров дизельного топлива, принадлежащего компании «Аризона-ойл» в связи с экстренной ситуацией в поселке, грозящей гибелью людей.

С этим актом в кармане он вошел в балок сторожа, отряхнул снег с шапки, потом снял полушубок и потряс его возле двери.

Сторожа звали Леонид Борисович, Георгий познакомился с ним, пытаясь найти замену Всеволоду Ивановичу, но из этого ничего не вышло.

Леонид Борисович, представительным лицом напоминавший университетского профессора, был на удивление трезв. Недоверчиво взглянув на Елисеева, он надел очки с толстыми стеклами в облезшей золоченой оправе и внимательно изучил предоставленный ему Елисеевым документ. Тяжело вздохнув, категорически заключил:

— Можете делать, что угодно, я видеть этого не хочу. Позвоню хозяевам и сообщу о происшедшем. Надеюсь, вы понимаете, что это произвол?

— Я понимаю то, что могут замерзнуть люди.

Леонида Борисовича не смутило это заявление:

— Вам нужно дизельное топливо? Заберите, препятствовать не могу и не буду, но ключа я вам не дам, пилите замок или цепь, как вам понравится.

На этом разговор завершился, Елисеев дал команду Александру Александровичу, и тот перепилил цепь, предварительно смазав ее солидолом, чтобы не было искр.

Он отлично понимал, что стал уголовным преступником, но иначе поступить не мог. В том, что придется понести наказание, у него сомнений не было.

На следующий день, едва он вошел утром в кабинет, раздался звонок и знакомый голос с южным акцентом сообщил:





— В прокуратуре уже известно о том, что вы сделали. За хищение ответите по закону.

За те два месяца, пока шло следствие, Георгий Витальевич постарел лет на десять. Могучая женщина в очках, окружной прокурор, называла его официально — гражданин Елисеев, а потерпевшего, представителя компании «Аризона-ойл», отчего-то по имени-отчеству — Михаил Аббасович. Это Елисеева уязвляло. Он категорически отрицал то, что «похитил дизельное топливо для последующей продажи с целью личного обогащения». Могучая женщина отлично понимала, что это абсурд, но на этой формулировке настаивала. Михаил Аббасович, обвиняя Елисеева, не говорил, а визжал, он, по-видимому, считал, что тяжесть преступления достойна высшей меры наказания. Руководители администрации города заняли сочувственную позицию, но в защиту Георгия Витальевича никто из них так и не выступил.

Парчевский добавил дровишек в огонь, заявив о том, что начальник базы производственного обеспечения Елисеев разлагался давно, приближая к себе алкоголиков типа Зварича, притесняя добропорядочных людей, как Олег Пожидаев, и пытаюсь вынудить к интимной близости свою секретаршу Валентину Истомину.

Елисееву присудили штраф «за превышение служебных полномочий и хищение частной собственности». Если не знать подробностей этого дела, Георгия Витальевича можно было считать обыкновенным вором.

Администрация города выплатила часть штрафа, присужденного Елисееву, и это выглядело цинично: если компенсируете штраф, значит, признаете, что человек невиновен. От должности начальника базы производственного обеспечения он был отстранен и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Они с Таней и до этого случая подумывали о том, чтобы уехать из умирающего поселка, но отъезд с позором был невыносим.

Таким образом они оказались в приволжском городе, в квартире родителей Георгия, больше деваться было некуда.

14.

По телевизору говорили, что скоро все будет хорошо, нужно немного потерпеть, но это время никак не наступало, Тане и Георгию жить становилось все труднее, денег не было, все заработанное на Севере ушло на оплату штрафа. Таня устроилась бухгалтером, Георгий работы найти не мог, по его профессии вакансий не было, перебивался случайными заработками, где-то чего-то «погрузить-разгрузить», но больших доходов эта деятельность не приносила. В основном сидел дома с сыном, которому это очень нравилось. Иногда звонил Ярославу, тот разговаривал оживленно, но работы не предлагал. Прежняя застенчивость в интонациях друга детства уже не так чувствовалась, он жаловался на коллег-преподавателей, на ректора института, на неправильную страну, в которой ему приходится жить. Ярослав

некоторое время был женат, но развелся, потому что «с дурой жить невозможно».

Иногда Георгий доставал из стаканчика с карандашами константиновский рубль, разглядывал его. Дмитрий Георгиевич любопытствовал, что это за штука, и Георгий подробно рассказал историю монеты. Мысли по поводу константиновского рубля ему приходили в голову самые разные, в том числе рискованные, но Таня, догадываясь о них, запретила даже думать о продаже.

— Человеческая жизнь теперь ничего не стоит, — говорила она, — если бандиты узнают про этот рубль, убьют не только тебя, но и Диму, и меня, и никаких денег тогда не потребуется. Лучше быть бедным, но живым.

Рассуждения выглядели здраво, Георгий соглашался с женой, но бедность угнетала все больше, при самой тщательной экономии едва хватало на еду. Несколько раз Георгий опускался до того, что приходил вечером на рынок после его закрытия и собирал закотившиеся под прилавок картофелины, морковки и свеклы. Он понимал, что ничем не отличается при этом от тех отставных интеллигентов, которые роются в помойках.

Он стал читать книги, которыми были уставлены полки в шкафах, раньше Георгий не вникал в книги отца, но теперь они помогали ему разобраться в том, что произошло и происходит в стране.

В одной из них попалась фраза: «Причина окончательного падения Рима состояла в том, что его жители более не заслуживали успеха». Эдуард Гиббон, который сказал это больше двухсот лет назад, не имел представления о том, что случится в России в конце двадцатого века.

В конце восьмидесятых страна подошла к рубежу готовности к переменам, слишком много накопилось непереносимой лжи и лицемерия, за этим рубежом виделось обновление, чистый воздух. Но сущность перемен представлялась смутно, все эти обтекаемые горбачевские слова, звучавшие с нарочитой искренностью, выглядели декларативно. Казалось, что успеха можно достичь, ничего не меняя во внутренней сущности. То есть пусть будет все так, как есть, только лучше. Но подобные фантастические вещи невозможны, это примерно как быть наполовину беременной. Скорее всего, не понимал этого и глава государства, затеявший перемены, хотя он, несомненно, хотел как лучше. Но огромный корабль, идущий заданным курсом, нельзя поворачивать круто, даже если ты убежден, что поворот будет в нужную сторону. Часть людей при этом попадает за борт и погибнет, другие — получают смертельные травмы от падения внутри корабля, а уж тошнить будет абсолютно всех. Считать это «естественной убылью» во имя достижения главной цели — бесчеловечно. Такие маневры Россия не раз совершала с одинаково жестоким результатом. Но русским людям свойственно нетерпение, уверенность, что сложную задачу преобразований можно решить легко — дней за пятьсот и даже быстрее.

А может быть, дело в том, думал Георгий, что задача создания «нового человека» так и осталась нерешенной и в результате получилось нечто подобное Парчевскому?





Таня, придя домой с работы, заставляла мужа с книгой в руках, а Дмитрия Георгиевича — с игрушками на полу.

Для того чтобы чувствовать себя счастливым, человеку нужно не так уж и много, Таня была счастлива тем, что у нее есть, — сын, муж и эта, пусть неустроенная и нелегкая, но радостная жизнь. Правда, небольшую курицу приходилось растягивать на четыре супа, но это были вполне терпимые мелочи.

Но Георгию это мелочью не казалось, его угнетало то, что он, мужчина в расцвете лет, не может обеспечить семью. Это было стыдно, позорно, невыносимо, любые оправдания выглядели неуместно.

Так прошло лето, а в сентябре, отчаявшись, Георгий втайне от жены отправился в клуб филателистов и нумизматов.

Он вошел в памятное ему длинное полуподвальное помещение. Склоненные над альбомами и планшетами лысины и седые макушки. Для этих людей не существовало ни перестроек, ни реформ, ни революций, они были сосредоточены на своих коллекциях — на этих марках, ветхих открытках и почерневших монетах. Это по-своему счастливые люди, но Георгий им не завидовал. Тридцать лет назад здесь сидел Аврелий Николаевич, теперь он исчез, его место занял другой человек; пройдет еще тридцать лет, состав опять изменится, но останется затхлый дух вечности, повисший в этом полуподвале, дух, о который время разбивается в бессилии.

Алексея Вячеславовича не было, и Георгий этому не удивился: строгий старичок наверняка уже беседует в высших сферах с Аврелием Николаевичем, может быть, они обсуждают судьбу константиновского рубля. Трудно предположить, что там обсуждают.

Георгия мучило бессильное отчаянье: полжизни прошло — и каков результат? Тупик, безнадежность, безденежье. Да еще и это унижительное судилище, в процессе которого стало очевидно, что каждый сам за себя, никто никому не поможет. Он спасал людей от смерти, а над ним посмеялись и бросили.

Глупо чего-то бояться, когда нет будущего, думал он. Клуб нумизматов представился ему кладбищем, где мертвые люди торгуют мертвым товаром. Что-то помутилось у него в голове, осторожность и предусмотрительность показались бессмысленными, надоело бояться. Плохо осознавая, что делает, Георгий пошел по рядам, предлагая каждому из коллекционеров купить у него константиновский рубль. Он бросал монету на стол, решительно глядя в удивленные старческие лица: наплевать, на все наплевать, ничего не страшно.

Нумизматы глядели на него как на сумасшедшего, да он и был сумасшедшим.

— У меня семья, не могу найти работы, — скороговоркой произносил Георгий ненужные слова, — возьму недорого, купите, пожалуйста, мне нужны деньги.

Эти люди хорошо представляли сколько стоит константиновский рубль, даже если он не из тех шести, что были отчеканены в 1825 году

Яковом Рейхелем, но вести разговор о продаже столь редкой монеты с психически ненормальным человеком было не только глупо, но и опасно, серьезные дела так не делаются. Никто из нумизматов на страстный призыв не откликнулся.

Георгий вышел на улицу, закурил и немного успокоился, он не жалел о том, что произошло, жить в страхе позорно. Курить теперь приходилось дешевые, с неприятным, режущим глаза дымом сигареты.

Его тронул за рукав старичок — божий одуванчик, один из нумизматов. Старичок протянул Георгию клочок бумаги со словами:

— Вот телефон. Позвоните этому человеку, быть может, он заинтересуется тем, что вы предлагаете. Но на меня, будьте добры, не ссылайтесь.

Георгий машинально ответил:

— Да, конечно, будьте уверены.

Старичок исчез, словно растворившись в воздухе. Георгий сунул клочок бумаги в карман, лишь придя домой посмотрел номер телефона, написанный неверной старческой рукой. Порядок цифр показался ему знакомым, чтобы не ошибиться, он достал записную книжку и проверил: это был телефон Ярослава.

В принципе, от этой новости ничего не менялось, лишь четче прогнозировались события, все же легче, когда знаешь, с кем придется иметь дело. Выходит, деньги у Ярослава есть, иначе как он собирается купить столь дорогую монету. Другой вопрос: зачем она ему понадобилась? Нумизматикой он никогда не интересовался, значит, решил реализовать свой план вложения денег? Или покупает не для себя, он лишь посредник? Настоящий покупатель — человек богатый, возможно, это мошенник или бандит, разве бывают богатыми честные люди?

Ярослав — мутный и довольно странный тип, которых в последнее время появилось немало, давнее их знакомство не сможет остановить его от участия в преступлении, время сейчас страшное, возможно все что угодно, даже от самых надежных, даже от известных тебе людей можно ожидать чего угодно. Могут элементарно ограбить, хорошо еще, если не убьют, заберут монету и все на этом кончится. Жаловаться можно будет сколько угодно, у таких людей все схвачено и куплено.

Конечно, можно не брать с собой константиновский рубль, договориться о новой встрече, но эти люди способны на что угодно, они могут похитить Дмитрия Георгиевича или Таню и потом заняться шантажом.

Мысли были ужасны, Георгий вспомнил давний совет Тани: выбросить проклятую монету и забыть о ней. Но теперь, когда он по своей глупости оповестил всех о том, что владеет этой монетой, выбрасывать ее бессмысленно, никто не поверит, что он это сделал. И Ярослав не поверит. Георгий видел в друге детства нечто определенно злое. Сюжеты жутких телесериалов взяты из жизни, бандиты пользуются ими как руководством к действию, существует порочная взаимосвязь искусства с жизнью и жизни с искусством.

Георгий понял, что своим отчаянным и удивительным по глупости поступком в клубе нумизматов загнал себя в ловушку, не позвонить



Ярославу теперь невозможно. Жизнь устроена жестоко и примитивно: можно совершить всего одну ошибку — и над твоей судьбой, и судьбой твоих близких нависнет страшная угроза. Друг детства и раньше ничего хорошего собой не представлял, а теперь мог превратиться в окончательного подлеца.

Таня уходила на работу рано утром, Георгий, плохо спавший ночами, валялся в постели до девяти часов, вставал, варил кашу Дмитрию Георгиевичу; мрачные мысли не оставляли его ни на секунду. Таня не могла не заметить его состояния, допытывалась в чем дело, но переложить тревогу и на ее плечи Георгий считал недопустимым. Он отвечал, и это было отчасти правдой: его угнетает то, что она работает и кормит семью, а он, мужчина, бездельничает. Он сидит с ребенком, а женщина зарабатывает деньги. Должно быть наоборот. Таня глядела с подозрением, но делала вид, что верит. Георгию казалось, что Таня видит его насквозь, он настолько привык к ней, что не мог представить на ее месте другого человека, это была уже не жена, это был он сам.

15.

Георгий нашел в столе советский юбилейный рубль, выпущенный к столетию Ленина. Монета была немного меньше диаметром, чем константиновский рубль, и весила меньше, но для затеи Георгия это значения не имело, едва ли Ярослав представляет, как выглядит раритет, тем более — легче он или тяжелее. Георгий долго разглядывал лобастый профиль вождя и нашел кое-что общее с профилем неудавшегося императора. Впрочем, и это не было важным.

Он долго крутил в руках две монеты, прикладывая их одну к другой.

— Ты фокус придумываешь? — поинтересовался Дмитрий Георгиевич, внимательно наблюдавший за отцом.

— Да, фокус, — усмехнулся Георгий. — Как из одной монеты сделать другую.

— Получится?

— Должно получиться, другого выхода нет.

Он долго не решался звонить Ярославу, продумывая предстоящую встречу, просчитывая варианты, даже маловероятные. Он позвонил ему днем, чтобы Таня не могла услышать разговор.

— Где встретимся и когда? — спросил Ярослав, не тратя времени на удивление, что владелец монеты его давний друг; он знал, что дед Георгия — известный нумизмат. — Монета будет с тобой?

— Ты что-то понимаешь в монетах? — удивился Георгий.

— Но это точно константиновский рубль? Тот самый?

— Где я мог взять другой?

— Я навел справки, расспросил людей. Ошибки не будет?

— Не переживай. Это тот самый рубль.

— Что ты скажешь о стоимости?

— Ярослав, очнись, по телефону такие вещи не обсуждают.

— Ну да. Конечно. Ты прав. Где тебе удобно встретиться? Только не дома. Ни у меня, ни у тебя.

— Мы должны быть наедине, — предупредил Георгий. — Никаких посторонних людей. Обещаешь?

— Да ты что, подозреваешь меня, что ли? Мы столько лет знакомы... Старый дебаркадер помнишь?

— Конечно.

— Давай днем, часа в три. Устроит?

— В пять. Мне надо дождаться жену с работы, я ведь с ребенком сижу.

— Сын?

— Да. Дмитрий Георгиевич. Очень хороший человек. Шесть лет будет в этом году.

— Что ж, давай встретимся в пять. Так помнишь, где дебаркадер?

— Ну а как же. Мы рядом с ним купались в реке лет сто назад.

Давно не снилась бабушка и вдруг приснилась: Георгий куда-то то-ропился и все же решил зайти к ней. У подъезда стояла Зинаида Петровна с первого этажа, она попросила:

— Напомните Вере Николаевне, что мы договорились погулять в сквере, я ее жду.

Георгий удивился просьбе, зная, что Вера Николаевна и Зинаида Петровна в соре, но, ничего не ответив, поднялся на второй этаж. Дверь в бабушкину квартиру была не заперта, Георгий вошел и увидел, что там все по-прежнему: портрет молодой Веры Николаевны на стене, фотография Аврелия Николаевича в офицерском мундире на этажерке, небольшое сооружение, наподобие комода, для хранения коллекции монет Аврелия Николаевича, называемое мюнцкабинет. Старое продавленное кресло, в котором обычно сидела бабушка, было пустым, и это Георгия не удивило, ведь бабушка умерла. Он вспомнил, зачем пришел, взял со стола стаканчик с карандашами, внутри которого лежал константиновский рубль, и направился к выходу, но, открыв дверь, увидел, что лестничной площадки и пролетов нет, они обрушены до первого этажа и спуститься невозможно.

В этот момент бабушка его окликнула:

— Жорик! — ошибиться было невозможно, только она звала его так.

Он обернулся: квартира по-прежнему пуста.

Георгий так и не смог вспомнить, когда в последний раз поднимался по железной лестнице с шаткими перилами на старый дебаркадер, лет двадцать, наверное, назад. Ярослава еще не было. Георгий закурил, опершись локтями о перила, глядя в мутную речную воду, в которую, как и прежде, сливалась какая-то гадость с близлежащего завода.

Думал Георгий вот о чем: если жизнь — соревнование, наподобие забега на длинную дистанцию, то почему кто-то бежит по установленным правилам, а для кого-то существуют послабления. Вот как, к примеру, сдавал Ярослав экзамен по истории при поступлении в институт? Он сам рассказал об этом Георгию.

Плохо зная ответы на вопросы в билете, Ярослав крутился во все стороны, расспрашивая соседей. Преподаватель сделал ему замечание:





— Молодой человек, что вы суетитесь, будто куда-то опаздываете?
Ярослав не придумал ничего лучшего, чем ответить дерзостью, которой потом гордился:

— В кинотеатре сеанс в два часа, боюсь не успеть.

Он получил двойку и ушел домой. Через час позвонил отец:

— Слава, поезжай в институт, тебе четверку поставили, нужно сделать отметку в экзаменационном листе.

В институт Ярослав не поехал, но его все равно приняли. И этот человек теперь преподает что-то студентам, сеет «разумное, доброе, вечное».

Ярослав опоздал минут на двадцать, он располнел еще больше, жир со всех сторон переваливался через ремень джинсов, грудь выпирала из рубашки, как у женщины, подбородок стал то ли двойным, то ли тройным. Прежним остался лишь лениво-покровительственный блеск голубоватых глаз.

— Давай сразу к делу, времени мало, — сказал он, энергично пожимая Георгию руку, — объясню ситуацию, чтобы ты понял. Я собрался на постоянное место жительства за границу, в России делать нечего, ты сам это видишь, что в этой заднице находиться уже невыносимо, здесь можно только умирать. И раньше ничего хорошего не было, а теперь — совсем. Я решил собрать ряд ценных вещей, которые можно было бы без проблем провезти через таможню и за границей продать. Вещи должны быть дорогостоящими и компактными, монеты как раз годятся. Ты так активно предлагал рубль в клубе. С деньгами плохо?

— А у кого сейчас хорошо с деньгами?

— Тот, кто умный, у того хорошо. Сколько ты просишь за монетку?

— Алексей Вячеславович, был такой в городе нумизмат, теперь, наверное, умер, оценил ее пять лет назад вот в такую сумму.

Георгий достал из кармана заранее приготовленный листок с написанной на нем цифрой, показал его Ярославу, сразу же порвал и выбросил клочки за борт, в воду.

Ярослав некоторое время молчал, потом сказал, глядя в сторону, на другой берег реки:

— Видишь ли, у меня сейчас таких денег нет. Я могу выплатить задаток, остальное вышлю потом, когда продам монету за границей.

— Меня такой вариант не устраивает.

— Почему?

— Нет гарантии, что ты не обманешь.

— Ну, я дам расписку. Мне очень нужна эта монета.

— Твою расписку в магазине не примут.

Повисло молчание, которое совершенно не понравилось Георгию, ему захотелось оглянуться, возникло чувство, что за спиной кто-то есть. Это мог быть один из самых худших вариантов, но Георгий и его предусмотрел.

— Мне очень нужна эта монета, — повторил Ярослав твердым голосом, даже с какой-то затаенной угрозой, словно давая понять, что другого выхода у Георгия нет, он должен соглашаться.

Георгий достал из кармана монету.

— Вот он, константиновский рубль. Видишь? А вот его нет!

Размахнулся и бросил монету далеко в воду. Перевернувшись несколько раз в воздухе, она упала плоско, взметнув скупой фонтанчик брызг. В ту же секунду страшный удар обрушился на затылок Георгия.

В воде он на мгновение очнулся, мелькнуло перед глазами восторженное лицо сына, Таня, сидящая за накрытым к обеду столом в их квартире в поселке Носовое, потом — короткая мысль: «Вот и все».

16.

С тех пор прошло двадцать лет, Дмитрий Георгиевич вырос, выучился на программиста, хорошо зарабатывает, и его мать, Татьяна Васильевна, смогла наконец бросить надоевшую ей работу бухгалтера. Константиновский рубль так и лежит в стаканчике с карандашами, он не пригодился, о нем забыли.



Анна ПАВЛОВСКАЯ

КРОВАВЫЙ ДЫМ

* * *

Здесь не промчатся поезда,
Не проведут метро.
Мы не уедем никогда
Из города Зеро.

Зашли в очередной тупик
И топчемся у стен.
Ведет нас мертвый проводник,
Хромой абориген.

Он еле тащится в пыли,
Он сбрендил от бухла,
Он говорит: почти дошли
До пятого угла.

Скажи, как ты попал сюда?
Кому ты должен, бро?
Мы здесь застряли навсегда
На улице Зеро.

* * *

Представь себе, что ты стоишь босой
Меж бывшей и грядущей полосой
В прохладной комнате, где рваные обои
Изображают прошлое собою.
Ты чувствуешь горячими ступнями
Холодный пол, ты видишь за стеклом
Дорогу с разноцветными огнями,
Сплошной потоп, текущий напролом.

Он образует зарево сплошное,
Кровавый дым, встающий над странюю.



* * *

солнечный тик на дрожащем стекле
температура стоит на нуле
плачь от тепла или стынь от мороза
выйди из этого анабиоза
пошевелись дай мне воздух вдохнуть
тронься с нуля inferнальная ртуть
солнечный луч исчезает во мгле
температура стоит на нуле

* * *

Человек нечаянно с полочки
Пьет коньяк.
Он устал, совсем дошел до ручки,
Он обмяк.

На вечерней черной остановке
И пустой
Он сидит в растянутой толстовке
С полосой.

Он сидит, в себя вмещающая осень
И тоску,
Он сидит, такой себе не очень,
На боку.



Прошумит замызганный икарус —
Вновь один.
Как там было?.. Мене, текел, фарес.
Упарсин.



* * *

изобретенье теслы с вифслой
погромче сделаем погром-
че я не вижу смысла
все перевернуто вверх дном

я разговариваю с кем-то
я разговор веду со стенкой
в дыму дешевых папирос
ответь мне на один вопрос

и мне из облака ночного
никто не отвечает слова
земля вмерзает в карбонит
и только радио фонит

Наш журнал всегда откликался на живое и подлинное движение в отечественной словесности. Он поддерживал не только отдельные яркие литературные имена, но и целые направления, возникавшие буквально на глазах читателей. Зачастую эти установки совпадали. В свое время «Сибирские огни» активно печатали лучших представителей деревенской прозы: Астафьева, Зальгина, Распутина, Шукшина. Поэтому редакцию, конечно, остро заинтересовало выступление молодых писателей, объявивших себя «новыми деревенщиками». Предоставив свои страницы прозе «новых деревенщиков», мы также печатаем их манифест.

Безусловно, сегодняшняя русская литература «задолжала» деревне, которая в последние десятилетия лишилась своих значимых писательских голосов. Необходимо вернуть внимание читателя к огромной части страны. Но также важно, принимая и развивая традиции классической деревенской прозы, не пытаться ее копировать. Современный мир русской деревни требует иных стилистических, жанровых, смысловых подходов по сравнению с 60—70 гг. прошлого века. Трудно представить, какие формы приобретет проза «новых деревенщиков». Но будем считать, что движение к этому начинается.

Редакция

МАНИФЕСТ «НОВОЙ ВОЛНЫ ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ»

Выступая на творческих встречах в библиотеках, школах, клубах и на иных площадках в сельской местности, мы встречаем огромный интерес людей к литературе, отражающей жизнь простого, «маленького» человека, человека природы, земли и крестьянского труда. К сожалению, голос этой части русского народа давно не слышен, и у огромной части россиян, особенно у городского населения, создается неверное впечатление, что сельского жителя, крестьянина больше не существует. Как не существует его культуры, традиций, нужд, чаяний, проблем — наряду с его мудростью, терпением, выносливостью, приспособленностью к жизни в любых условиях и многовековой способностью больше отдавать, чем брать.

Мы, новые писатели-деревенщики, объявляем себя глашатаями этой части русского, российского народа и готовы взять на себя миссию его защитника, пропагандиста, «ходока» и одновременно духовного наставника и пастыря. Ибо даже в современном техногенном мире по-прежнему кто-то должен растить хлеб и сохранять историческую память — а этим испокон веков занимался простой народ-работяга. А сейчас он особенно нуждается в том, чтобы его увидели и услышали.

На основе всего вышесказанного мы заявляем:

1) будучи не в силах отменить бытование неуклюжих и некогда оскорбительных терминов «деревенская проза» и «писатель-деревенщик», мы тем не менее хотим вернуть им истинное смысловое наполнение: мы считаем себя продолжателями классического русского реализма, но при этом не отказываемся от новаторства и творческих экспериментов;

2) мы не приемлем агрессивного дидактизма, оставляем за нашими читателями, критиками и филологами право на собственное мнение и на свои идейно-художественные взгляды, даже если они будут отличаться от наших, но это не значит, что мы откажемся от своего мнения и своих воззрений в угоду модной «повестке дня»;

3) герои произведений «новой волны деревенской прозы» — сельчане и просто жители глубинки самого разного возраста и социального статуса: дети, молодежь, взрослые люди и пенсионеры;

4) уходит в прошлое «беловский лад» с его мудрым крестьянским мироустройством, но деревня и крестьянин живут, приспособиваясь к новым реалиям, и мы будем стремиться описывать современный мир сельского жителя таким, каков он есть, объективно, без идеализации, но и не одной черной краской;

5) мы будем стремиться поднимать в своих произведениях экологическую проблематику во всем ее многообразии;

6) мы будем стремиться отразить в своем творчестве конфликт капиталистического (урбанистического) мира, где все делается ради экономической выгоды, с традиционным крестьянским сознанием, ищущим единения и гармонии с родной землей;

7) мы актуализируем проблематику войны и мира, так как в ближайшее время она будет только обостряться в самосознании деревенского общества;

8) мы представим разнообразные вариации в социальной тематике, включая одну из самых ужасающих тем — высокую смертность молодых людей до 35 лет в деревне, а также низкий уровень жизни, отсутствие «социальных лифтов», в том числе в виде миграции людей в город и обратно;

9) неотъемлемой частью так называемой деревенской прозы и в наши дни останутся философско-бытийные размышления о смысле и ценности жизни, о природе добра и зла, о вере и безверии и возможных исторических путях развития нашей страны.

*Анастасия АСТАФЬЕВА (Костромская обл.),
Максим ВАСЮНОВ (Москва),
Наталья МЕЛЁХИНА (Вологда),
Артем ПОПОВ (Северодвинск)*

Анастасия АСТАФЬЕВА

ВСЁ НА СВАЛКУ!

Р а с с к а з

Внук Серафимы Павловны наконец-то женился. Медлительный добрый увалень, бесхарактерный и простоватый, к своим тридцати двум годам он не единожды пытался ухаживать за девушками, но те быстро сбежали от него к более бойким парням. Молодуха — не в пример новоиспеченному мужу — была хваткая, шустрая, настырная и вся какая-то «востренькая»: глазки, носик, локоточки, коленочки, тоненькие губки, ушки на макушке, а уж язычо-о-ок!..

Серафиме Павловне девка эта сразу не глянулась. Видно было, что вертеть она Денисом станет почем зря. Но внук сиял, словно начищенный самовар, улыбался каким-то своим потаенным счастливым мыслям и ощущениям, ворковал с востренькой своей голубицей, и та, как заметила потом бабка, с мужем рядом становилась иной: мягчала, светлела, доверялась ему. И все эти ее локоточки и коленочки, вечно торчащие в ожидании нападения, как пики у воина, вдруг куда-то складывались, прибирались, утрачивали свою остроту и опасность.

На большом семейном совете было решено, что жить молодые станут у бабки. Дом у нее в райцентре просторный, две комнаты, кухня, да еще и светелка. Серафима Павловна такому решению не обрадовалась, но возражать не посмела. К тому же внука она любила, жалела, и дом ее вместе с приусадебным участком уже лет пять как был отписан Денису по завещанию.

Сразу после регистрации в загсе и праздничного пира молодые улетели в свадебное путешествие на какой-то экзотический остров. Куда именно, Серафима Павловна не поняла, как ни объяснял ей Денис. Запомнила только, что это где-то рядом с Индией.

Вернулись через две недели загорелые, веселые, привезли бабушке керамическую кружку, разрисованную ракушками и морскими звездами, угостили неведомым фруктом и поселились в горнице. Хозяйка же пристроилась за перегородкой, в маленькой комнате с круглой печкой и одним окном.

Неудобства начались сразу же, и дело даже не в том, что Анжела — так звали супругу внука — с первого дня оккупировала кухню и принялась готовить для муженька различные деликатесы (это как раз Серафиме Павловне нравилось, значит, голодным Денис не останется). И не в том дело, что спать молодые ложились поздно, долго смотрели телевизор,



ходили, смеялись, а потом, погасив свет, предавались плотским утехам, стараясь быть тихими. Хотя уже по одним вздохам в темноте и по ритмичному поскрипыванию дряхлого дивана легко было догадаться о природе их занятий. Неудобство состояло в том, что, когда Денис уезжал утром на работу, Анжела могла целый день просидеть в горнице, глядя в экран телефона, быстренько тыкая в него пальчиком, и не сказать бабушке ни слова. Сама Серафима Павловна пыталась наладить отношения с Анжелой, звала ее пить чай. Молодуха не отказывалась, приходила, но сидела все с тем же телефончиком, не глядя цепляла со стола чашку с чаем, кидала в рот сушку, конфетку и с хозяйкой упорно не разговаривала. В этом ее молчании не было ненависти или презрения, она просто не знала, о чем беседовать с семидесятипятилетней старухой. Серафима Павловна хотела бы понять, чем живет эта молодая женщина, думает ли рожать в ближайшее время, почему не устраивается на работу или хотя бы не поступает учиться. Анжела на ее вопросы отвечала, что она скоро будет делать ногти, что купила курс обучения в интернете, его-то и смотрит все время.

— Какие ногти? Кому? Какой курс?..

Серафима Павловна уходила в огород полоть и поливать грядки или просто гуляла по улицам родного провинциального городка, разговаривала с соседями и знакомыми. Те непременно спрашивали, как ей живется с молодыми. Но мудрая Серафима Павловна коротко отвечала, что всё в порядке, живут, не ссорятся, и переводила тему.

Но не прошел еще у молодых и медовый месяц, как однажды вечером, пошушукавшись, Анжела и Денис постучались в бабушкину комнату.

— Бабуль, давай мы тебе евроремонт сделаем, — бодро возвестил внук.

— Евро... это как? — спросила Серафима Павловна, защитно скрепив руки на груди.

— Ну... выкинем весь твой хлам. И чтоб по-современному все. Потолки натяжные, ламинат, окна пластиковые вставим, мебель поменяем. А то Анжелка говорит, стыдно в такой дом клиентов приглашать.

— Ну если Анжелка, то тогда конечно! — не сдержалась хозяйка.

— Серфим Пална, — тут же и встряла Анжела, — если вы думаете, что мы от вас денег просим, так есть у нас! Надарили на свадьбу. А от вас нам ни копейки не нужно!

— Да, бабуль, ты не переживай! Быстренько всё сделаем, — поддерживал внук жену. — Мы уже и окна заказали.

— А меня вы еще не заказали? — огрызнулась Серафима Павловна и, махнув рукой, ушла от двери, в которой возвышался Денис, а рядом с ним его мелконькая и востренькая. Села на кровать и отвернулась. — Делайте, что хотите. Все равно мое слово теперь ничего не значит...

— Ну бабу-у-ль... — заныл внук совсем по-мальчишечьи, подсел рядом, обнял и стал уговаривать ее.

Через два дня во двор заехал большой грузовик, из которого парни во главе с Денисом долго выгружали разные строительные материалы,

какие-то коробки, упаковки. Дом наполнился людьми, шумом, звуками дреди, стуком молотков, веселым матерком и молодым бестолковым смехом.

Хозяйка сидела в своей комнатке, как в последнем оплоте собственного достоинства, и ни во что не вмешивалась. Горько было на душе, слезы душили, давление поднялось. Она даже не вышла обедать, когда ее позвал Денис, а потихоньку попросила принести ей в комнату.

Внук вернулся с тарелкой жиденького супа и двумя кусками хлеба, поверх которых лежали тоненькие кусочки вареной колбасы.

Серафима Павловна, примостившись у низенького столика, пошевелила в тарелке ложкой, попробовала. Суп был едва теплый.

— Бабуль, мешаем мы тебе, — проговорил, задержавшись на пороге комнаты, Денис. — Давай я тебя на недельку к бате отвезу. Обратно приедешь — дом не узнаешь!

— Это уж точно... — проворчала в ответ бабушка, но поехать к сыну согласилась.

Сын, занятой и хмурый, на робкие попытки матери жаловаться отвечал односложно и коротко:

— Они молодые! Пожить хотят по-человечески. А у тебя тараканы за печкой и диван с клопами — вот все богатство!

— У меня?! Тараканы?! Клопы?! Да как тебе не стыдно! — У Серафимы Павловны аж сердце заходило от обиды и несправедливости.

Она всегда была чистоплотна, аккуратна. Да, прожила всю жизнь небогато. Мебель в дом они еще с мужем покупали, наверное, годах в семидесятых. И посуда, и холодильник — все было из тех времен. Служили вещи исправно, покупать новые не имело смысла. Родные дарили ей на праздники и дни рождения постельное белье, халаты, полотенца, даже новую сковородку. Со сковородкой этой вышел казус. Денис хоть и объяснил, что посудина с каким-то антипригарным покрытием и ножом или вилкой на ней ничего шевелить нельзя, зато можно жарить без масла, что очень полезно для здоровья, Серафима Павловна, когда стала сковородку мыть, железной корчёткой* соскребла, как ей показалось, черный нагар до самого блестящего алюминиевого дна. И осталась очень довольна, что отмыла-таки его. Смеялись над ней долго. И больше ничего подобного, модного и современного, не дарили.

У сына в квартире она промаялась три дня и запросилась обратно. Душа была не на месте, тревога, беспокойство не отпускали Серафиму Павловну, спала она плохо, ела через силу и так доняла Дениса звонками и просьбой поскорее забрать ее, что он приехал и отвез бабушку домой.

Ох, как вовремя он отвез ее домой! Уже подходя к калитке, она почуяла неладное — весь аккуратный, засаженный цветами ее дворик был заставлен, завален мебелью, вещами, мешками. Денис радостно показывал старухе новые белевские окна, железную входную дверь, звал побыстрее зайти внутрь и порадоваться переменам, но силы оставили Серафиму Павловну,

* *Корчётка* — жесткая, чаще металлическая мочалка для чистки посуды (диал., Костромская обл.).



когда она поняла, что вся ее жизнь, все, что было дорого, памятно, связано со счастливыми моментами из прошлого, — выброшено вон, вот-вот отправится на свалку. А ведь она просила не трогать хотя бы ее комнатку...

Серафима Павловна опустила на диван, стоящий прямо на клумбе. Все цветы были помяты, поломаны, цветной пластмассовый заборчик выдернут из земли и брошен в стороне. Она хотела выругаться, накричать на внука, высказать обиду, но Денис ушел в дом. А ей туда теперь заходить не хотелось совсем.

Она притянула к себе близко стоящий картофельный мешок, развязала тесемку и со страхом заглянула внутрь. И заплакала. И стала вынимать и бережно раскладывать на диване рядом с собой выброшенные вещи.

Поверх прочего в мешке лежали рубахи покойного мужа, дедушки Дениса. Мягкие фланелевые и тоненькие ситцевые, ношенные и совсем новенькие, с неоторванными бирками. Помнила Серафима Павловна времена дефицита, запасала, берегла. Но со временем даже на новых рубахах проступили необъяснимые желтые пятна. Откуда? Мураши, что ли, поселились... Вот эту фланелечку муж особенно любил. В последние месяцы мерз сильно от болезни, вот ее и не снимал. Локоточки-то протерлись. Пуговка оторвана. Недоглядела...

Под рубахами нашлись детские войлочные ботиночки. Денискины! Зелененькие, с кожаным цветочком на боку. Серафиму Павловну аж окатило изнутри горячим. Она до сих пор помнила, как и где их купила. Рос внук в тяжелые девяностые годы. Ни вещей нормальных в магазинах, ни денег у людей не было. Она поехала навестить мать, живущую в деревне, и вот в сельском-то магазине по случаю купила эти ботиночки. Так радовалась! И Дениске они понравились, он в них по дому щеголял и ждал весны — зима стояла лютая, морозная. А в такой обувочке хорошо по мартовскому насту ходить! Но к весне нога у парня выросла, ботиночки обмалели. Так и не поносил...

В мешок равнодушно была засунута и безжалостно смятая шкатулка, сшитая из советских еще открыток. Серафима Павловна помнила, как коллега по работе учила ее шить эти бесхитростные поделки. Толстой шерстяной нитью, особым стежком. Такие шкатулки от бедности дарили родным и друзьям на праздники. В них хранили нитки, пуговицы, разную мелочевку. Серафима Павловна расправила оторванную от бока шкатулки открытку с красными гвоздиками и крупной цифрой «1» и прочитала на ее обратной стороне: «Дорогие Петя и Сима! Горячо поздравляем вас с праздником первого мая! Желаем здоровья, счастья, благополучия! У нас все хорошо! Получили квартиру!!! Ира и Гена Семеновы». Друзья поздравляли. Ни его, ни ее уже нет на свете...

На дне мешка нашлись Денискины школьные тетрадки, дневники, рваный кожаный портфель, поломанные игрушечные машинки. Вырос парень. У него теперь другие игрушки...

Она просидела до темноты во дворе. Ее звали, тормошили, ходили мимо, приносили поесть, посмеивались, крутили у виска, злились, даже обещали вызвать скорую. Серафиме Павловне было все равно.

Когда подъехал грузовик, который специально дожидался ночи, чтобы вывезти бабкино добро на запрещенную свалку, она поднялась с дивана, покачиваясь, подошла к кузову машины, подозвала шофера и попросила помочь взобраться.

— Ба-аб! — бросился к ней внук. — Ну не дури! Ну посмотри, ведь это все прогнило давно! Вон стол жучок доедает. Диван гвоздями сколочен. Тумбочки плесенью пропахли. Холодильник... а ты знаешь, что старые холодильники очень вредны? Они фенол в воздух выделяют... А платья эти твои в горошек? Господи, да я тебя тридцать лет назад в них помню! Они же просто лежат. И рубахи дедушкины. Его куртки, фуфайки. Валенки эти подшитые! Ну никто же не будет это носить никогда!

Серафима Павловна невидяще взглянула на внука и сама полезла в кузов. Шофер пожал плечами, хохотнул и посадил сумасшедшую старуху под зад.

— Везите и меня на свалку. Я тоже хлам. Старый, прогнивший, никому не нужный.

— Господи! Бабушка! Ну пре-кра-ти! — метался вокруг грузовика отчаявшийся Денис. — Ну это же не так! Зайди в дом, посмотри хотя бы! Мы тебе тахту красивую, удобную купили, комодик современный, зеркало повесили. Окно новое, занавески! Ну перестань, ну вылезай. Мы же старались. Мы же как лучше хотели.

И вдруг он психанул и заорал:

— Блин! Ты же всю жизнь на комкастых матрасах спала! И я вместе с тобой! У меня от тех комков до сих пор бока болят! Чашки эти твои, тарелки с отбитыми краями! Ложки алюминиевые, как в тюрьме! Бли-ин! Как мне все это надоело!

— Вот и вы мне все надоели, — спокойно проговорила старуха и обратилась вновь к шоферу: — Поддай-ка мне, милок, вон ту табуреточку. Да... вот эту. Она хоть и расшаталась немного, а в последний раз мне послужит.

Шофер снова хохотнул — нечасто ему такие развлечения на работе устраивают — и табуретку подал.

Серафима Павловна села на нее, аккуратно расправила на коленях полы халата, положила сверху руки, словно прилежная первоклассница.

— Ну, чего стоим? Грузите!

Шофер подхватил с земли мешок и закинул в кузов. Что-то звякнуло и посыпалось внутри.

— Вот так и знала, что этим закончится, — процедила сквозь зубы Анжела и закурила тоненькую сигаретку.

— Так не начинала бы! — впервые огрызнулся на жену Денис и ушел в дом, громко хлопнув новой железной дверью.

— А вы грузите, грузите, — спокойно проговорила Анжела шоферу. — Сейчас я ребятам позвоню, подойдут, помогут.

И она действительно достала из кармана курточки мобильник и стала набирать чей-то номер. Упрямая бабка у мужа, но ее, Анжелу, еще никто в этой жизни не переупрямил. Учить надо этих стариков, чтобы уважали



молодежь. Нам жить! А вам... вам, может, и вправду на свалку пора. Раз мешаете новой жизни расти и шириться.

Уже когда пришли приятели и принялись поднимать в кузов полированный шкаф, Денис вышел из дома. Он отправил всех перекурить, забрался в грузовик, сел рядом с бабушкой и долго-долго очень тихо с ней разговаривал, гладил и целовал её руки, обнимал. Серафима Павловна плакала, уткнувшись в его плечо, что-то вспоминала, выговаривала. Потом из кузова послышался смех.

Анжела, которой давно надоел устроенный бабушкой спектакль, сидела в доме у раскрытого окна и глядела в телефон. Заслышав этот искренний смех двух близких людей, она скривилась, поджала губы, покачала головой и быстро застучала пальчиками по экрану. Писала подружке в ватсап, какая тупая бабка у Дениса.

Внук бережно помог бабушке спуститься, проводил в дом, завел в комнатку.

Серафима Павловна придирчиво оглядела обновленное жилище, присела на новую тахту, упруго покачалась на ней, погладила рукой гладкую коричневую стенку комода. Поднялась, подошла к окну. Денис показал ей, как его открывать и закрывать, как сделать проветривание.

— Хоть гераньку мою не выкинули, и то спасибо, — уже милостиво проворчала Серафима Павловна.

— Ну бабуль...

— Ладно. Нравится мне... Иди, поцелую.

Внук шагнул к ней, высокий, полный, мягкий, любимый.

Бабушка дотянулась до него, наклонила голову, поцеловала в макушку, как в детстве.

— Обои только темноваты. Я повеселее люблю. Зелененькие.

— Дак переклеим через год, бабуль! Это же не навечно!

Денис засиял и понес радостное известие о примирении своей супруге. Они пошушукались, подавили смешок, а затем раздался голос Анжелы:

— Серфим Пална, идите чай пить. Я ваши любимые конфеты купила.

— Сейчас! — отозвалась бабушка, выдержала паузу, причесалась перед новым зеркалом и вышла из комнаты к молодым.

На блестящей первозданной чистотой газовой плите засвистел красный чайник. Анжела, стоя у стола в коротеньком халатике, из-под которого торчали острые коленки, нарезала на досочке сыр. В кухне было светло и просторно. И все незнакомо.

Денис выдвинул для бабушки стул с высокой металлической спинкой. Она села, чувствуя себя не дома, а в гостях.

За окном, во дворе, едва освещенном тусклым фонарем, стоял грузовик и темнела гора старой мебели. Шофер ушел к приятелю на соседнюю улицу пить пиво.

Завтра утром, пораньше, потя с похмелья, они всё погрузят и увезут.

Максим ВАСЮНОВ

ПУХ В ОКТЯБРЕ

Р а с с к а з

- Мы там друг друга чуть не поубивали.
— И реально не стали стрелять из-за бабутьки с мальчишкой?
— Да эта история уже легендой стала. В узких кругах, правда, сам понимаешь...
— Рассказывай тогда. Я же делаю книгу о девяностых. Легенды мне в самый раз.
— Да чё рассказывать, приехали на стрелку...

Странности начались накануне вечером. Я наблюдал за поединком луны и дыма из окна нашей квартиры. Напротив, километрах в двух, за крышами пятиэтажек царапала небо заводская труба. Днем из нее струился белый дымок, но вечером, когда на заводе приступали к ночной смене, белый дым менялся на черный и уже не поднимался хлипкой нитью в космос, а валил со всей дури — густой и мощный.

Я догадывался, зачем на самом деле так старался дым. Я понял это еще лет в пять, это было одно из первых моих детских открытий. Дым пытался закрасить на небосклоне луну. Или даже втолкнуть ее куда-нибудь поглубже, в космос, откуда бы она уже никогда не выкатилась.

В тот вечер дым одолел луну. Это было 30 сентября 1997 года. А на следующий день город засыпало тополиным пухом.

Пух первого октября не удивил горожан. Это я тоже хорошо помню. В том году погода с природой не раз шутили друг над другом: то черешня расцвела, когда еще не стаял снег; то этот самый снег пошел посреди июня, сугробы были мне по пояс; то весь июль, когда обычно в наших краях изнемогают от жары, дули ледовитые ветра.

Горожане ворчали на новый сбой вселенной: «Ну никак нынче не успокоится — видно, к беде с ума сходит». Так же сказала и моя бабушка, закрывая утром форточку — потому что настырный пух за какие-то пару часов успел засыпать фиалки и даже столетники.

Пуху обрадовались только мои сверстники. У отцов с балконов сразу пропали спички. И в другой раз я бы тоже помчался с друзьями палить белые ковры, но в тот день у меня были дела поважнее.



Каждый год мы с бабушкой первого октября, то есть накануне моего дня рождения, ходили на овощную базу. Причина, которая нас туда вела, и сама дорога будили во мне тот трепет, с которым и взрослым я отправляюсь в путешествия.

— Что решали на стрелке?

— Чья база будет. Наши хотели отжать ее у одних серьезных челов.

— Зачем вам база-то овощная?

— Да она на хрен никому не усралась. Что там толку от базы — челнокам с рынка склады только сдавать. Но у базы же был свой железнодорожный путь. А в километре он пересекался с заводским. А это уже железо. Можно на базе было перегружать, фасовать, прятать. Вот за нее и рубились тогда.

— Так, понял. И вот вы поехали на базу...

— Ну да, забились где-то под вечер. А я ж говорю, почему запомнил-то еще, пух тогда пошел. В октябре. В тот год все с ног на голову было. То снег летом, то пух в октябре. У нас мужики суеверные, даже хотели в отказ пойти, мол, давайте на другой день перезабьемся, но папа сказал — едем.

— А как вообще стрелки проходили тогда? Можете рассказать на примере хоть с той же овощебазой?

Мы вышли из подъезда своей серой пятиэтажки где-то около трех часов дня. Путь наш шел по хорошо знакомому мне тротуару — по этому потрескавшемуся асфальту я каждый день ходил в школу. Слева стеной стояли тополя. Наши с бабушкой ноги вязли в белой кашнице, пух летел в глаза, в рот и постоянно забивал носы, бабушка часто чихала и говорила: «Вот же саранча, вот напасть-то».

Тротуар обрывался у ларька. В девяностые годы этих ларьков поставили на каждом шагу, в каждом дворе. Небольшая застекленная коробка, из которой торговали жвачками, рулетами, конфетами, газировкой, водкой в баночках, бренди в красивых бутылках, пивом, орешками... Помню, наш ларек постоянно взрывали и сжигали — обычное дело для того времени, но вместо старой коробки всегда вырастала новая. И вот я уже снова бежал за малиновым «Юпи» или жвачкой «Турбо».

Сейчас же мы проходили мимо и я на витрину даже не оглядывался, потому что впереди меня ждало то, что заменяло и порошок, и картинку с машинкой, да и весь этот ларек со всем его содержимым.

За ларьком вырастали двухэтажные бараки, в одном был наркодиспансер. Хилые домишки скрывались за самыми старыми в районе тополями, их знали все мальчишки. В сезон пуха именно сюда сбегались толпы хулиганов. Спичка влетала в море пуха, а мы — на те же тополя, ведь волны огня мгновенно заполняли всю улицу, окружали деревянные бараки, расползались в глубь дворов!

Сотрудники и пациенты диспансера каждый раз орали на нас благим матом, но мы, едва пуховый покров таял под нашими ногами, сразу же давали деру к своим пятиэтажкам. А если пламя уж сильно пугало нас, то бежали к ближайшей колонке — она была через дорогу — и все вместе наваливались на рычаг, надеясь, что вода потушит округу.

К счастью, у пуха, как и у разлитой водки, есть хорошее свойство: после того как их подожгли, они быстро исчезают и практически не оставляют следов — та корка желтых ядрышек, в которые превращается пух, не в счет.

Сегодня же возле наркодиспансера не было никого: зачем сюда бежать, если нынче везде навалило так, что жги — не хочу. Не скрою, в моем правом кармане зачесалось, там лежал коробок спичек. Какой нормальный мальчишка удержится, чтобы не подпалить всю эту осеннюю перхоть! Но я знал, куда мы идем и зачем идем, также я хорошо знал строгий нрав своей бабушки, которая мою шалость могла не оценить, и мы бы тут же вернулись домой, тем более что идти наперекор пуху бабушке становилось все тяжелее.

По-пацански стыдно признавать, но пришлось смиренно пройти мимо старых тополей. В окне первого этажа я увидел седого сторожа диспансера, деда Ерему, так его звали все вокруг, который гонял нас обычно пуце остальных, но в этот раз он явно не понимал, где все шалопаи, почему они не приходят, что же случилось? Я, наверное, был его последней надеждой на то, что мир не изменился, но я подвел старика.

У колонки, которую мы часто летом использовали как пожарный брендспойт, мы с бабушкой свернули в частный сектор. В один из его переулков. Впереди было метров пятьсот до леса, а за ним — овощебаза.

Этот переулок был сейчас чуть ли не единственным местом, над которым не кружились тополиные блохи. В огородах за гнилыми заборами росли другие деревья — яблони и груши, на многих еще были видны красные и желтые, практически все с червоточинами, плоды.

В переулке бабушка вздохнула спокойно. Даже на пару минут остановилась, чтобы перевести дух.

Я же, помню, воспользовался моментом, чтобы заговорить с ней — мне почему-то очень хотелось говорить всю дорогу, — разговор, как мне казалось тогда, укорачивает время. С чего начать, я тоже знал.

— Да-а, теперь не то, что раньше, — вздохнул я тяжело, хотя, как было «раньше», я не помнил, но к своим девяти годам уже точно знал, как лучше всего вызвать взрослого на диалог: начать говорить его же словами.

— Да что ты! — попалась в мою ловушку бабуля. — Тут и сравнивать нельзя! Какой был колхоз, один из лучших в Союзе, все развалили, настроили этих лачужек, ветер дунь — и развалится.

Я оглянулся на всякий случай, вдруг и вправду увижу, как падает дом, но дома стояли, яблоки висели, в конце переулка вертелись белые вихри.

Дальше бабушка говорила то, что я и сейчас перескажу за нее наизусть.

— Я с двенадцати лет работать пошла — война же была. Четыре утра, а я уже на работу иду. Носила почту. Пешком через весь город.





Никогда у меня часов не было. Всегда сама вставала. И никогда не опаздывала, можешь себе представить. Да что там говорить, тяжело было, очень бедно жили, нищими были. Даже хуже, чем теперь, хотя и сейчас... А, что там говорить. — Как всегда на этих словах, бабушка взмахивала рукой, хмурила свои черные брови, поправляла шпильку, держащую пучок ее седеющих темных волос.

В тот день волосы бабушки были осыпаны снежинками пуха, я иногда поглядывал на них — когда же растают? — но они все висели как-то смиренно и виновато, не дрожали, прилипли к седине как мертвые.

Ну а дальше бабушка рассказывала про то, как после войны, закончив к тому времени всего четыре класса, смогла устроиться в трест, попала на овощебазу, где жили все дружно и весело.

Что такое «весело», я тоже знал и, чтобы разговор наш не прерывался, попросил бабушку в сотый раз рассказать, как она однажды подшутила над своей подругой, прилепив к ее платью соединенные нитью картофельные очистки. Когда я представлял себе это, я каждый раз буквально покатывался от смеха.

Сейчас мне, тридцатилетнему, уже не смешно. Но я этому факту не сильно рад.

После истории про картофельные очистки бабушка непременно начинала рассказывать, как гоняла пьяных грузчиков, которые никогда трезвыми на работу не приходили. А нужно было каждое утро развезти по всем школам, ресторанам, столовым района продукты.

«Плунешь на этих дармоедов, и на себя мешок да ящик. Грыжу вон заработала — еще и сорока не было». На грыжу бабушка жаловалась часто и показывала куда-то в район живота, я лет до двенадцати думал, что грыжа — это пояс, который привязывается к человеку за какие-то заслуги.

«Но работали все-таки дружно, ничего не скажешь. Как одна семья. И свадьбы общие, и юбилей, и похороны. Когда вместе-то, тогда все же переживное». Слово «переживное» бабушка любила, но я тогда не понимал, что оно значит.

Помню, именно после «переживного» я решил поговорить с бабушкой про луну, которую заволокло дымом.

— Бабушка, я видел, вчера дым съел луну, а сегодня пух, и ты думаешь, что это не конец света?

Тут бабушка почему-то рассмеялась! Она так смеялась, что даже остановилась. Редко когда я видел ее такой. На ее висках проступили три длинные морщинки, другие морщинки, потоньше и покороче, побежали от глаз — в разные стороны, как лучи на детских рисунках. Она смеялась долго и потом обняла меня, прижала к своему плащу — как сейчас помню — голубому болоньевому.

— Ну пойдем быстрее, — сказала она.

И мы пошли быстрее.

— Нет, ну как, стрелки были. Раз на раз не приходилось. Но вот, смотри, папы забилась. Им надо порешать,

договориться. С базой мы тоже хотели договориться. Культурно послать партнеров. (Смеется.) У нас была самая мощная бригада. Мы могли себе позволить культурно разговаривать. (Смеется.)

Ну, приехали, значит, на базу. Решили так: если папа наш с их папой не договорится, то дает знак, я уж сейчас не помню какой... А, вспомнил. Короче, если все ок, то он жмет руку их главному, если нет, то по бурке, по плечу, ему стучит. Тот в бурке всю дорогу ходил, даже летом.

— И что вы должны были сделать, если по бурке?

— Так чё, у нас у всех калаши в багажниках лежали.

— Так просто?

— Ну да.

Пауза.

— Нет, ну обычно хватало двоих-троих уложить, остальные сразу руки вверх, мол, давайте еще поговорим.

— Но они же тоже не с кастетами приехали, наверное?

— Так у всех калаши были. Ну, тут либо мы кого-то из их положили бы, либо они кого-то из наших. Тут нервы все решали.

— А те двое, папы которые?

— По папам не стреляли. Это запахло. Не по понятиям.

— Какая-то показательная войнушка.

— Ага, Бородино. (Смеется.) Но пап хреначили как раз показательно. В центре города. Или в кабаке. Чтoб шумно было. А на стрелках так, только мясо.

— И много тогда парней гибло?

— Да каждый день, считай.

— На стрелках?

— Не, ну чё сразу на стрелках. В кабаках тех же. Да мало ли где, у девок там...

— Ну и вот вы приехали на базу, условились о сигнале, дальше что было?

— А чё было, приехали, те уже на месте, не помню сколько их было, но нас явно больше. Мы так поприжали их мягко, чтоб, если чё, не рыпнулись. Ну и стоим, пух глотаем. Папы ушли разговаривать. Долго стояли. Но потом оставили по человеку с машины на улице, а сами внутрь. Пух, собака, хуже дождя в тот день хреначил, откуда только взялся, падла.

— Ну а в какой момент-то бабушка с ребенком заявились?

Частный сектор уже оставался за нами. Впереди снова начинались тополиные заросли. Чем ближе мы подходили к ним, тем все больше нас забрасывало пухом, и это были не те прозрачные легкие пушинки, что



кружились в городе, а серо-желтые спрессованные ошметки; они и не кружились вовсе, а летели по наклонной, будто кто установил в тополиных кронах гигантский вентилятор и направил его на прохожих.

Кто-то явно не хотел, чтобы мы продолжали свой путь.

Когда мы зашли в рошу, то это уже была метель. Кутига. Я хотел разглядеть слева за кустарником шиповника зеленый прудик, куда мы бежали с друзьями ловить банкой мальков, но все пространство было занесено толстым белым слоем. Едва угадывались лишь очертания давно заброшенной ржавой узкоколейки, которая когда-то соединяла овощебазу с заводской столовой. Узкоколейку давно начали разбирать. От нее осталось от силы метров сорок. Еще осталась чугунная дрезина — бог весть почему ее не вывезли. Мы всегда пытались сдвинуть ее с места. Она тяжело скрипела и хоть неохотно, но поддавалась. Вся поляна, окруженная лесом и деревянными заборами, оглашалась стонами железа: оставьте меня уже в покое, я ничего не хочу. Но разве могли мы, мальчишки, понять тогда эту песню?

Дрезина сейчас тоже была под белой шубкой, лохмотья пуха падали на чугун, что-то он принимал, но многое сметалось ветром — поэтому слой становился то тоньше, то толще, — и все это происходило так быстро, что издали казалось, будто дрезина дышала.

Но вот уже и роша заканчивалась, сквозь метель проглядывал бетонный забор огнеупорного завода, это прямо и слева. А справа уже шел забор овощебазы — из металлической сетки, местами дырявой. В те времена все заборы были такими.

До проходной оставались считанные шаги. Уже показались ворота, будка с охраной. Всегда, когда мы подходили к базе, бабушка брала меня за руку, крепко сжимала. И ускоряла шаг.

И всегда навстречу нам с лаем выбегали собаки. Сегодня они тоже выскочили — но было видно, как им тяжело передвигать лапы, даже лапали они через раз. И то больше на пух, что лез им в нос, в глаза и смешно свисал с ушей.

— Цыц, разорались! — прикрикнула на них бабуля. Собаки остановились, уставились на нас, вяло закачали хвостами, переглянулись и побежали обратно, так же через раз подавая голос — но уже дружелюбно, как бы предупреждая охрану: свои.

Я помню, что собак с базы я никогда не боялся, хотя обычно другие приводили меня в ужас и оцепенение. Видимо, все дело в том предвкушении, которое завладевало мной — ведь через какие-то несколько минут мы купим то, без чего я уже не представлял свой день рождения. И обратно пойдем хоть и с грузом, но с чудом! А потом наступит завтра, и все это мы будем аккуратно кушать! Но это завтра, а сейчас мы зайдем на один из складов, я сам выберу себе свой подарок, постучу по нему с умным видом, аккуратно подниму и отнесу на весы... И никакие собаки не испортят радости от этой встречи!

Так было всегда до того дня. И после. Но в том году — все же странный год, говорю вам — случилось нечто непредвиденное.

Первое, что заметил даже я, — распахнутые на улицу ворота. Такого не было никогда. Они обычно закрывались.

— Кто-то загружается, что ли? Так днем не должны вроде, — сказала бабушка. Я почувствовал в ее голосе обеспокоенность.

Второй тревожный звончок — охранник, которого в прошлые разы было не добудиться, нынче сам ковылял навстречу.

— Васильевна, ты? — Бабулю многие знали в лицо.

— Я, я, Гриш. Идем вот, с внуком.

Охранник немного замялся, в эту секунду он был похож на псов, что встретили нас на пару минут раньше.

— Васильевна, там это. Ты бы пришла позже. Чего в такую рань-то?

— Какую рань, ты чего, просппись иди! Под вечер уже. Куда раньше? А что, у вас пожар, что ли?

— Да нет. — Охранник опять замялся, зачем-то слазил в передний нагрудный карман, но ничего не достал. — Там эти, стрелка у них. Никого не пускать сказали.

— Да срать мне, кто там! — Бабушка иногда умела сказать резко и аргументированно. — Я с внуком раз в год хожу, что, не имею права? Если бы не внук, дорогу бы давно забыла. Глаза бы мои все это не видели. Такое предприятие загубили!

— Васильевна! — уже прикрикнул охранник, в надежде, видимо, остановить нас.

— Чё Васильевна? Чем я там помешаю? Зайду куплю и выйду. Подождут, кому надо. — Бабушка становилась все убедительнее, и охранник не смог ничего сделать.

Когда я стал старше, я часто вспоминал тот момент и все думал: почему бабушка пошла? Может, она не знала, что такое стрелка? Вряд ли. А впрочем, она всегда была бесстрашной — ребенок войны.

Мы прошли в открытые ворота. И тут бабушка встала как вкопанная. Вся площадь базы была усеяна машинами, то были разноцветные «шестерки», «семерки», «девятки». Многие без номеров — я почему-то сразу обратил на это внимание.

— Так никто не понял, откуда они взялись и в какой момент. Охранник, лопух, пропустил как-то. Надо было своего поставить человека. Но кто ж знал, что кто-то к нам рыпнется. А тут, смотрю, идет, халат, что ли, на ней был какой, не помню. Или плащ. Мальчугана за руку держит. Ну, все давай шутить, что это глава мафиози приехала, всем кранты сейчас, что надо проверить — не прячет ли калаш за спиной. Что ребенка взяла, типа, для отвода глаз. Кто-то давай глумиться, что бабушка на кладбище шла, да перепутала, сквозь пух не разглядела. Ну, в общем, всякую дурость собирали. Но я смотрю, наши бригадиры занервничали. У нас на каждые человек десять был свой главный. И вот они на измену подсели — если чё начнется, чё делать-то



с гостями этими? Кто-то, помню, попытался что-то бабушке сказать, да ей пофиг было, непуганая какая-то — чешет себе на склад, как домой.

Вихри пуха падали на белые, вишневые, черные крыши. У некоторых машин стояли мужики, курили.

— Устроили тут, дармоеды, — выругалась бабушка и, по-прежнему крепко держа меня за руку, двинулась в «толпу» машин.

— Не смотри по сторонам! — прикрикнула она на меня.

Но как было не смотреть! К тому же бабушка с маленьким мальчиком тоже вызвали любопытство у «дармоедов». Из машин вывалилось на улицу еще больше мужиков, некоторые зачем-то открыли багажники.

Кто-то ухмылялся, кто-то ржал, кто-то даже присвистнул.

— А ты куда, бабуль? — спросил в спину гнусавый голос.

Я чуть было не обернулся.

— Смотри под ноги, — сказала мне бабушка. И, не отвечая гнусавому, пошла дальше.

— А у тебя там чё под плащом, автомат? — не унимался все тот же голос.

Но бабушка все молчала.

Из очередной машины вышел амбал. Его перекачанное тело обтягивала синяя олимпийка. Он встал на нашем пути.

— Вы куда? Тут пенсии не выдают.

Вокруг загоготали.

— Заткнись. А то я тебе сама выдам! — с ходу ответила бабуля и, оттолкнув амбала рукой, чего тот явно не ожидал, добавила: — Отцепись, я до склада.

Амбал молча отошел. Я не выдержал и, подняв голову, заглянул в его глаза. Абсолютно безобидные. В них не было злости, не было грусти. В них не было ничего. Но мне почему-то стало страшно. Я тогда не понимал, что происходит, лишь детская интуиция подсказывала: лучше от этих парней держаться подальше.

Бабушка часто говорила мне, когда без настроения глядела в окно или прислушивалась к крикам забудыг и наркоманов в нашем подъезде: «Тревожно мне». Чего тревожно, не понимал я, мы же в квартире, за дверьми и стенами, в нашей крепости.

И только тогда, на овощбазе, я понял, что такое «тревожно мне». Воздух был пропитан этой самой тревогой, напряженностью, даже пух здесь был тяжелее и навязчивее, и казалось, что он не просто скользит по шее, щекам и губам, а царапает их.

— Она не понимала, что происходит? Или ей реально было по барабану на вас?

— Да потом, как выяснилось, у нее конкретное было дело. Ей надо было купить внуку подарок. Это уже потом одна баба рассказала, которая там работала. Также



*дура — накинулась на меня вдруг, давай дубасить, пересра-
лась, видимо.*

— Какая баба?

— Да говорю — с базы. Работала там.

— А чё набросилась-то?

*— Да спроси ее, дуру пьяную. Может, испугалась, что
мы сейчас завалим всех.*

— А вы могли?

— А чего нет-то?

— И бабушку с внуком?

Пауза.

— Тут-то и вышла засада.

Десятки пар глаз смотрели за каждым нашим шагом, амбалы дышали в наши спины, словно подгоня голубой бабушкин плащ — как парус. Запах курица становился все невыносимее, кружил голову. И этот проклятый тяжелый пух...

Если бы не завтрашний день рождения, я бы первым увел отсюда бабулю.

Но она шла к складу, не подавая виду, что боится. И только по ее влажным ладошкам я понял, что ей тоже страшно.

Склад — железный ангар, как назло, оказался запертым. Но рядом с ним на деревянном поддоне лежало то, ради чего мы пришли.

За поддонами стояло кирпичное здание, большим окном оно смотрело на ангар. Бабушка обошла ящики и забарабанила по стеклу.

— Девочки, девочки, есть кто? — кричала она. — Выйдите на минуточку.

Десятки глаз по-прежнему настороженно следили за нами.

Меня это так напрягало, что я даже не глядел на любимое лакомство.

Бабуля продолжала стучать по стеклу:

— Девочки, да выйдите кто-нибудь, это Васильевна.

В окне появилось женское лицо в кудрявом парике. И лицо, и парик были мне знакомы. Это тетя Галя. Она всегда встречала нас. Тетя Галя махнула нам рукой и вскоре вышла.

— Как вы дошли-то, у нас вон чё. — И тетя Галя кивнула в сторону площади. Она была пьяна, это даже я заметил.

— Чего им? — спросила бабушка.

— Да ясно чего, вон сидят за душевыми, — тетя Галя мотнула своими кудрями в сторону деревянных сараев, — решают. Суки. Ой, прости, малой.

— Никому житья нет. — И бабуля тяжело вздохнула.

— Тебе какой? — перебила этот вздох тетя Галя.

— Хорошие? Астраханские?

— Васильевна, ну ты чё, все для тебя, — и тетя Галя нагнулась над поддоном, начала счищать с зеленых корок пух, — во насыпало нынче! — Она провозилась с минутой, прежде чем опомнилась. — А, вот, нашла.





Смотри! — Тут тетя Галя потянула за маленькую сухую веточку и отделила ровно половину гигантской ягоды.

Яркая красная мякоть полоснула по глазам, запах — этот пьянящий запах дня рождения! — ударил в нос. Вот оно! Ради этого момента мы шли пешком на овощебазу, пробираясь через тучи пуха и толпу бандюганов.

И те и другие от нас не отставали и сейчас. Мужики сверлили нас взглядом, а пух — как бешеный — полетел на красную мякоть. Первые пушинки падали на влажное нутро ягоды и таяли, как первый снег, но довольно быстро пух взял верх.

Точно так же сегодня ночью дым заволакивал луну.

— Ну чё, берешь? — Тетя Галя наконец подняла на бабулю глаза.

— Давай вон тот, он кило на пять, нам хватит. — Бабушка указала на ягоду, лежащую рядом с разрезанной, бока у избранницы отличались желтизной.

— Сейчас взвешу, — обрадовалась чему-то тетя Галя и снова нависла над поддоном.

И тут площадь за нашими спинами взорвалась. Загудели машины, захлопали двери, кто-то начал орать благим матом, врубилась на всю катушку музыка.

Бабушка выпустила мою руку. Но тут же прижала меня головой к плащу. Я онемел. Мне хотелось плакать, но я забыл, как это.

Шум становился сильнее. Все стучало, скрипело, вопило. И будто что-то лопнуло над овощебазой — нечто гигантское, возможно само небо.

Я почувствовал, как что-то лопнуло и у тети Гали. Или, правильнее сказать, екнуло. Я больше нигде и никогда не слышал этого звука, так что и описать не могу. Но это именно екнуло.

И тут тетя Галя побежала к толпе, а впереди нее бежал ее мат, дикий, истошный, грозный.

— Суки бесстыжие, отморозки! Дайте хоть люди выйдут! Свиньи!

Я не утерпел и оторвался от бабушкиного плаща. Мне вдруг захотелось побежать за тетей Галей и тоже орать и материться. И рыдать. Но бабушка успела схватить меня за руку.

Тетя Галя добежала до первого бугая и давай колотить того руками по лицу и груди. Он отшвырнул ее на землю.

Все вдруг стихло.

И только пушинки скрипели, сталкиваясь друг с другом. Мужики растерянно смотрели на тетю Галю, на нас, на душевые. Возле них хмуро топтались на месте два мужика, я не успел разглядеть их, но запомнил, что на плечах одного висела черная бурка.

— Ну значит, бабка с мелким — к складу. Стоят там, выбирают. Тут папы выходят. Ну, и наш того по плечу, по бурке по его, стучит. Все ясно. Мужики — из машин. В багажники. Калаши — в руки. Те тоже повыскакивали. Видно, у них тоже свой сигнал был. Все орут, очко у всех играет,

все и пиф-паф хотят, но и ссыкотно в то же время, в тебя же тоже могут пиф-паф. В общем, молодняк шумит, понт нагоняет. А бригадиры наши, смотрю, машут что-то папам, и руками так — в сторону склада, мол, глядите. И тут наш папа руку — вверх. Это значило — стоп, успокаиваемся, парни. Но я не видел, это мне потом рассказывали. Я-то с шальной этой душой разбирался, не то Зинка, не то Галка, не помню уж, но потом мы с ней часто виделись, когда на базе уже остались, у нас же там и спортзал потом был, и такая база, в общем. Не только овощи хранили с фруктами, как ты понимаешь.

Ну вот накинута на меня, харю царапает, я ее — на землю. В этот-то момент все и успокоилось.

— То есть получается, если бы не бабка с пацаном, то кого-нибудь бы в тот день положили?

— Так мы и думали, что еще положим. Паузу только взяли же. Я лично уверен был: эти — за ворота, мы — за калаши.

— И почему не продолжили?

— Ты человек вообще?

Тетя Галя вся в слезах побежала назад. Она крикнула нам: «Уходите скорее!» — и скрылась где-то за ангаром.

И мы пошли скорее.

Снова сквозь толпу... Мимо тяжелых взглядов. Мимо прокуренных салонов и ревущих магнитол. Мимо скрежета зубов.

Сквозь взбесившийся не по сезону пух.

— Ну как, мы стоим, смотрим за бабкой с мальчишкой. Вот они обратно заковыляли. Тащат что-то тяжелое в сумке. Мальчишка тащил. Бабке не дал. А сумка больше его. А мальчишка такой хороший, знаешь, вот дети бывают, как в рекламе показывают. Не злой, любопытный, все по сторонам зыркает, все интересно, но без жестокости, не волчонок, а как вот объяснить... Ну, в общем, светлый такой человечек. А одет — господи, как сейчас помню. В обносках каких-то. У нас бомжи на станции лучше одевались. Все шито-перешито, штопанно-перештопанно. На ногах обувь «прощай, молодость», суконные такие полуботинки, неудобные — капец, ты, наверное, таких и не помнишь, а наше поколение помнит.

— Да помню как раз, помню.

— Да и сама бабуля тоже смешная такая, забавная. Видно, что страшно, но глазом не повела. Смотрит львицей, за мальчугана готова броситься на любого. А одета тоже кое-как. Ну и, в общем, что-то тут переключило папу



нашего, а он сам же с бабкой воспитывался, потом и детдом успел пройти. Ну и все, чё, я его лично понимаю. Какая тут стрелка уже. Накатило, вспомнилось. Смотрим, бабка с мальчишкой вышли, все давай суетиться сразу, но не так чтоб рыпнулись. Без резких движений. Мужики потом говорили, что у многих ком в горле встал. Смотрим на нашего — а он уже этому блатарю руку пожимает. Все понятно. Отбой.

Мы прошли железные ворота и дальше — мимо стыдливо улыбающегося охранника, мимо собак...

Сквозь аллею, на которой, я был тогда в этом уверен, родилось все это полчище пуха, тяжелого, наглого. Октябрьского.

Мы шли молча. И было слышно, как стучит бабушкино сердце.

И рука ее стала заметно меньше, маленькая сухая ручка.

Я держал ее очень крепко.

Не отпускал, даже когда пух набился за мой воротник. Щекотал и царапал шею.

И только дома я спросил:

— Это были бандиты?

— Да кто их знает, ушли целыми, и слава богу! — ответила бабушка. — Иди руки мой.

— А чё не догнали-то эту бабулю с внуком?

— Да чё-то закрутились. Потом эта баба-то шальная с базы рассказала, что это, оказывается, уважаемая была старушка, кладовщицом работала, заведующей. Одна внука воспитывала.

История прогремела. У всех, чё, язык-то как помело. Разнесли. Но народ нормально воспринял. С пониманием. На авторитете папы никак не сказалося.

К тому же базу мы же все-таки отжали. Потом. Да и мальчишка тот, я смотрю, тоже не подкачал, в люди вышел. Бабушка бы им гордилась. (Улыбается.)

...В ту ночь я долго не мог уснуть, так было всегда накануне дня рождения. Представлял, как завтра открою холодильник, а там мое чудо, красное, астраханское. Когда наелся предвкушениями, заглянул в окно, но за ним было скучно — дым в этот раз не воевал с луной.

Часам к двум пошел сильный дождь. Под него я быстро отключился.

Утром пуха на улице почти не осталось.

Артем ПОПОВ

ПРОВОДНИК

Р а с с к а з

Держать в руках топор Якова с малолетства научил батя.

— Попомни, Яша, мое слово: с этим инструментом не пропадешь! — наставлял Севастьян сынишку, который еще толком и говорить-то не умел, но уже с радостью тюкал по березовой чурке миниатюрным топориком.

Подрастал мальчик — появлялся увеличенный в размерах новый инструмент. Став парнем, научился вырубать из ствола мягкой липы фигурки медведей и зайцев и по доброте душевной раздаривал друзьям.

Яша вырос крепким, кряжистым, ладонь что лопата. Севастьян стал брать сына в лес, на заготовку бревен. Бывало, приходилось работать по пояс в снегу. Они промерзали до костей, их волосы превращались в ледышки, потом вместе оттаивали в бане, хлещась чуть не до крови березовым веником.

Из тех бревен рубили избы, бани, амбары, дворы. Севастьян с Яшей были нарасхват во всех окрестных деревнях. Дома они рубили «в лапу»: получался прямой угол, а это увеличивало полезную площадь избы и уменьшало расход бревна. Чтобы углы зимой не промерзали и не продувались ветрами, их обшивали накладными досками, которые отец с сыном сами нарезали продольной пилой. Инструмент у них всегда был остро наточен, металл блестел на солнце. В общем, жили не бедно, даже зажиточно, пока не пришла война.

По старости Севастьяна на фронт не взяли, а Якову вручили повестку в первую же неделю. Перед уходом они с отцом посадили у своего дома молодую рябинку, принесенную от ручья.

— Батя, не приживется, поди: лето уже, — засомневался тогда Яков.

— Не беспокойся, сынок, буду поливать — возьмется. Придешь домой, а ягоды тебя ждут-пождут! — уверенно сказал Севастьян.

Тогда ведь думали, что пары месяцев хватит, чтобы фрица разбить.

Каждый день старик поливал рябину — и она прижилась, дала в сентябре темно-красные, как капли крови, ягоды.

Осенью Яков домой не вернулся и писать перестал. Война продолжалась, похоронки все чаще приходили в деревню, а новостей от Якова по-прежнему не было.

В последнюю зиму войны Севастьян надорвался в лесу и умер от грижи.

Мать Ирinya, сухая, жилистая, выдержала четыре года неизвестности, начинала и заканчивала день молитвой святому апостолу Иакову: «...теплый наш заступниче и ходатай, предстоящий Престолу Пресвятыя Троицы. Не отрини нас от твоего заступления...»

И Яков вернулся. Только сына мать не узнала. Уходил парень с легким пухом на щеках — вернулся седой старик, худой, кашляющий, на груди шрамы, будто рвал его неведомый зверь. Все всё поняли: он попал в лагерь.

Яков никогда и никому ничего не рассказывал: тогда криво смотрели на пленных. Сдался немцам — значит, трус. Первый год Яков чуть ли не каждую ночь кричал и трясся, словно в лихорадке, и, пока мать не клала свою сухую руку сыну на грудь, не успокаивался.

Работы в колхозе для мужика было через край. Однажды председатель обратился к Якову с просьбой сделать гроб для бабки Машухи из соседней деревни, у которой всех родных убило в войну. Надо — значит, надо. Потом еще один старик помер... Так и получилось, что со временем к Якову за этим скорбным делом потянулись со всей округи, и он не мог отказать людям, у которых горе.

После войны свободных девушек было много, а мужчин мало, и вскоре Яков познакомился с доброй белокурой Тamarой, работавшей на пекарне. Раз помог принести воды с колодца, другой — так и подружились-полюбились. Свадьбу сыграли негромкую: только недавно отгремела война, люди жили еще тяжело — зачем смущать их своим счастьем? Через год родилась дочка Люба с ярко-голубыми, словно у куклы, глазами.

Все у Якова с Тamarой наладилось в жизни, только вот эта работа — она, словно заноза, напоминала о боли, пусть и чужой. А Яков, хоть и казался на первый взгляд нелюдимым да черствым, был на самом деле человеком чутким и добрым. Но делился своими переживаниями он только с женой: трудности и лишения научили не особо с людьми откровенничать.

— Вон, Ивана Белова поставили хозяйничать в избе-читальне. Не мужицкое это дело. Дочку Избачихой дразнят. Вчера слышу: кто-то за черемушником у ручья навзрыд плачет. Спустился под горку, подошел, а она слезы по щекам размазывает, всхлипывает, никак остановиться не может. Нарвал с куста черной смороды полную пригоршню — пахучая такая, сладкая — да принес ей. Мало-помалу унялась, рассказала, что ребята на улице смеются: «Избачиха идет, Избачиха идет!» Тошнехонько жалко девуку, — рассказывал Яков Тамаре. Она гладила его по спине, когда он кашлял: так после плена и не мог поправиться.

Однажды Яков нашел в капкане зайца и принес домой на радость дочке. Поврежденную лапку ушастому перевязывали, а кормили лучше, чем кошку. Так и жил хромоножка на правах домашнего животного.

Яков никогда не блудил в лесу, знал все места и, кажется, мог с закрытыми глазами вернуться в деревню. К каждому дереву он относился с уважением, словно перед ним живой человек. Прежде чем срубить, он обнимал ствол, что-то шептал, будто просил прощения. Каждую зиму Яков заготавливал лес, потом распиливал с соседом на доски, сушил, строгал.

Когда приходили с просьбой сделать гроб, спрашивал лишь рост покойника, полный ли.

Яков никогда не называл свое изделие гробом — только домовиной. — От слова «дом». Последний дом для человека, значит, — объяснял Тамаре. — Манефа с мужем-пьяницей да неумехой всю-то жизнь в худой избе маялась, горюнья: и крыша-то текла, и печка дымила, и крыльцо от избы отстало. Пусть хоть в другой жизни домик у ней ладный будет. Как в маленькой зимовочке на теплой печи, будет лежать-полеживать да отдыхать.

Гробы у Якова получались словно аккуратные лодочки, которые перевозят людей в другую, вечную жизнь. К своей работе он относился как к священному ритуалу и называл себя проводником для умерших. Так он возвышал свой тяжелый, неблагодарный труд.

Яков старался всегда прийти на прощание с человеком, пусть даже незнакомым, для которого старался. Следил, чтобы могила была тоже выкопана, по неписанным традициям, не глубоко, но и не мелко и чтобы вначале бросили горсть кладбищенского золотого песка со словами: «Земля тебе пухом...»

Серым, бескровным становилось лицо Якова, когда приходилось делать детские гробики. После этого он молча, в одиночку выпивал в мастерской граненый стакан водки, занюхивая рукавом рубахи. Мутные капли из глаз падали и падали на стружку...

Как-то летом соседские детишки забрались в сарай к Якову и увидели там большой белый гроб. Вытаращили глазенки и оцепенели. Вдруг раздался подозрительный звук: то ли птица какая села на крышу, то ли мыши завозились в углу под половиной. И так помчались пацанята, сверкая пятками, через огороды, что не заметили жгучей крапивы. В тот же вечер всё рассказали родителям. Весть быстрее птицы разлетелась по деревне: «Яков кого-то хочет похоронить! Гроб делает впрок». Не знали они, что накануне к нему приезжали с просьбой из дальней деревни...

С той поры стали мужики недолюбливать и бояться Якова, а бабы — сторониться. А вдруг гробовщик знает больше, чем они? И совсем уж крепко приклеилось это нехорошее прозвище — гробовщик — после одного трагического случая.

В соседнем селе готовилась к свадьбе красивая молодая пара, и богатые родители жениха решили сделать подарок — заказали Якову новые сани для молодоженов. Яков сделал все честь по чести, жена Тамара украсила сани ароматными сосновыми ветками. И поехали в тот же день молодые расписываться на новой кошевке. Тройка провалилась под лед на широкой реке: возница во хмелю забыл, что из-за оттепели образовалась промоина, замаскированная утренним снежком. Молодые в свадебных нарядах, свидетели и пьяный возница утонули вместе с санями. С той трагедии пошла плохая молва про Якова. А ему впервые пришлось, не разгибаясь ни днем ни ночью, делать сразу пять гробов. Нет, он не обиделся на деревенских, не затаил злобу, но зарубка на сердце осталась.



А жизнь продолжалась, подрастала дочка, которую Яков любил всем своим существом. Вот у нее уже проявились округлости, краснели щечки, когда ребята непристойно шутили в сельском клубе.

В лесу уже начал проваливаться снег, на проталинах появился зеленый брусничник, напоминавший о скором лете, и Яков решил съездить в лес заготовить бревна.

— Зачем тебе? Посмотри на себя! Кость да жила! К фельдшернице всю зиму отправить не могла, только отмахивался, — заругалась Тамара, но в голосе ее звучал не гнев, а тревога: за последнее время муж стал сухой, как щепка, и эта худоба была не от тяжелой работы, а от нездоровья.

— Надо мне, значит, — нехотя ответил Яков и зашелся в кашле, будто его изнутри кто-то душил.

Яков долго кружил по сосновому бору, искал лиственницу. Он знал, что это дерево очень долго не поддается гнили, поэтому из нее делают даже сваи. Лиственницу с трудом нашел после полудня. Со стоном она ухнула на землю. Яков старательно обрубил сучья, вспотел, а потом замерз.

Начинало темнеть. Он так ослаб, что пришлось долго сидеть на пне, прежде чем двинуться в обратный путь. Встал — и зашелся в кашле, сердце выпрыгивало из груди, когда тянул бревно до дороги по рыхлому снегу. Лошадь большими карими глазами удивленно посмотрела и, наверное, подумала: как это смог сделать такой худой человек?

На следующий же день с утра Яков с соседом стали пилить лиственницу на доски.

— И куда тебе с досками? — удивилась Тамара, застав мужа за работой.

— Пусть будет... — только и сказал.

И тут она поняла: этот гроб муж делает для себя! Внутри все обмерло, похолодело. Она обняла его крепко-крепко за плечи, прижалась головой к груди, слушая глухие удары сердца.

— Яша, я тебя не отпущу... — прошептала.

Он закашлял, отстранился от жены, встал, чтобы выйти во двор. Тамара не знала, что Яков уже второй год харкает кровью: он тщательно скрывал свою смертельную болезнь, полученную еще в лагере.

В мастерской он часто отдыхал, мешала тяжелая одышка, как будто кто-то перекрыл для его легких кран с воздухом. О чем думал тогда? Можно ли подготовиться к собственной смерти? В лагере Яков, кажется, привык к гибели людей, смерть не вызывала ужаса. Каждый день видел, как из соседних бараков уходили на работу, но больше не возвращались. Заселяли новую партию... Про себя тогда думал: там, на небесах, душе должно быть легко, а иначе зачем все эти страдания? Тем и успокаивался. Страх притупился, он даже ждал неминуемого конца: поскорее бы... А потом случилось освобождение и наступила мирная жизнь. Жизнь! И почти все забылось.

Он стал снова соприкасаться со смертью, когда ему пришлось делать гробы. Яков старался, чтобы все было по-христиански у закончившего



свой путь: не в пепел превратится человек, а земля должна принять своего дитя в ладном домике-домовине.

Яков опять почувствовал дуновение смерти, когда напал на него изнурительный кашель с кровью. Не сразу, но пришло понимание, что и мирная жизнь конечна, и сделать ничего нельзя. «Ведь в природе за весной следует осень, а потом зима, травы-былинки живут и умирают», — думал про себя. Бесконечно жаль было не себя — жену, у которой запали глаза от этого знания. А ему хотелось посмотреть на внуков. Он даже представлял их глазки, лобики, губки, мечтал, как будет гукать с ними, а потом научит держать молоток, топорик. Они станут его продолжением.

...Яков долго смотрел на домовину, которую делал три дня, потом протер ее ветошью от опилок и, кажется, остался доволен собственной работой. Он хотел лечь в гроб, сложить руки, словно это репетиция, чтобы до конца умертвить свой страх, и застыдилась этой мысли: грех-то какой! Зашел в дом, прилег на теплую русскую печь.

В тот вечер он впервые рассказал Тамаре про плен: как сжигали людей в газовой печи, какими черными были дорожки в концлагере от человеческого пепла, о горах голых трупов — взрослых и детей, которых не хоронили, просто сваливали в кучу... Небо для мучеников стало свидетелем и последним домом.

Яков и Тамара пролежали, обнявшись, всю ночь. К утру дыхание у Якова как будто улучшилось и он спокойно уснул. Тамара тоже забылась. Якова не стало перед восходом солнца... Она не заметила этого мгновения.

Тело мужа обмывала Тамара сама, бабкам не доверила. В затуманенной горем голове мелькали спутанные мысли: «Ушел Яшенька, сугрева моя теплая... Оставил меня одну горе горевать, жизнь доживать... А невесомое тело-то какое у него стало — как мощи святого...»

Лиственничный гроб стоял в комнате, пахло хвойным лесом, янтарной смолой — жизнью. После прощания у дома вся деревня, от подростков до древних старух, прошла пять километров до кладбища, мужики несли гроб на руках, отказавшись от колхозной лошади. Пришли незнакомые люди из многих соседних деревень. Дочку Любу держал за руку чернобровый парень, с которым она уже не раз ходила на свидания, хотела познакомить с отцом, но не успела. Тамара, постаревшая за ночь, гладила Яшу по волосам, поправляла его седую челку. А когда надо было закрывать гроб, бабы еле оторвали ее от мужа. Заголосила...

Выдался удивительно теплый для марта день. Вдруг пошел крупный дождь, хотя с утра туч на небе не было.

Когда опускали гроб, заиграла широкая радуга. Чудо: радуга — в марте!

— Светлый был человек... — осознали вдруг деревенские, только поздно, как обычно и бывает.

Севастьян каждый год с нетерпением ждал отпуска, выпадавшего почти всегда на сентябрь. Ничего удивительного в этом, конечно, не было: все отпуска ждут. Просто Севастьян отдыхать ехал не на море или



в горы, а в отдаленную деревеньку, откуда родом была его мать, Любовь Яковлевна. Нет, по молодости, конечно, ездил с женой Аней и на море, и по модным курортам да санаториям. Но чем старше становился, тем сильнее тянуло из шумного мегаполиса, из которого воздух, казалось, выкачан каким-то гигантским насосом, на родину предков, где журчит под горкой говорливый ручей, где осенними ночами стоит такая тишина, что слышишь, стоя на крыльце, как падают с легким шорохом листья с рябин, растущих под окнами избы.

Самую старую рябину посадил в первые дни войны дед Севастьяна, Яков Севастьянович. Второе деревце — сам Севастьян перед отъездом на учебу в большой город. А третью рябинку, совсем еще маленькую, принес в прошлом году из-под угора, от ручья, его младшенький сын, Димка: «Пап, пусть и моя рябина рядом с вашими растет».

Но пуше всего тянуло Севастьяна в дедову мастерскую, в которой, как и полвека назад, по стенам были развешаны топоры, пилы, рубанки и золотилась на полу кудрявая стружка. Севастьян брал в руки старый инструмент с отполированной до блеска гладкой ручкой — и забывал обо всем. Рубанок легко скользил по поверхности, а на доске проступал причудливый рисунок древесины — каждый раз разный.

После работы, уже вечером, Севастьян долго сидел на прогретом ласковым солнцем бабьего лета порожке сарая, с наслаждением вдыхая терпкий запах полыни и крапивы и теплый, сладковатый запах свежего дерева. Потом неторопливой походкой с удовольствием поработавшего человека шел в избу, где его давно уже ждала с ужином жена Анна.

А от ручья поднимался туман, в небе загорались первые звезды, и свет из окон дома падал прямо на дедову рябину, склонившую к земле ветки, увешанные гроздьями спелых ягод.



Наталья МЕЛЁХИНА

ПУПСИК

Р а с с к а з

Рядом с железнодорожным вокзалом высился щит, на каких обычно дают рекламу. Под надписью «Слава Героям России!» с него улыбался прохожим паренек. «Митин Сергей Иванович», значилось ниже, и годы совсем короткой жизни. Под щитом стояла женщина, запрокинув голову вверх, словно пытаясь лучше рассмотреть Сергея Ивановича Митина. Выглядела она еще совсем молодо, и только какая-то приземленность фигуры да морщины на лице без косметики выдавали ее возраст. Женщине было уже около сорока лет. Под ее простым платьем из ивановского трикотажа округло вырисовывался живот. Она носила позднего ребенка. В поселке, где она жила, про таких детей говорили «поскребыши», но женщине — а звали ее Геля — было все равно. Сегодня УЗИ показало девочку, и она так обрадовалась, что зашла в церковь и поставила свечи в благодарность Богу.

Паренька со щита Геля знала. Это же Сережка Митин! Он родом из райцентра и призывался вместе с ее сыном Леньей. Три года назад такой же жаркой весной Сережка и Ленька рядом шагали в строю к этому самому вокзалу, чтоб вместе с другими новобранцами отправиться в областной город на призывной пункт. Служили Сережка и Ленька в одной части, и оба остались по контракту. Муж тогда радовался: «Гелька, вот и хорошо, что Ленька так устроился! Сыт, одет, обут! Потом выслужится, ипотеку военную возьмет! Да и на пенсию уйдет раньше». Но Геле не нравилось даже само слово «контракт» — будто ворон каркает: «Кар-кар-кар». И уже тогда недоброе чувствовало сердце.

«Сережка, милый, вот и ты на щите! Здравствуй, дорогой!» — поздоровалась Геля, не замечая, что говорит она не только про себя, но и тихим шепотом. Со стороны это выглядело так, будто она бормочет что-то себе под нос.

«Знаешь, Сережка, а мой-то не вернулся! И неизвестно где. Я в совет солдатских матерей ходила... И на УЗИ была... Вот как теперь всё — живем помаленьку, а где он, где?.. Если он там, с тобой, Сережа, то передай ему, что будет у него еще одна сестренка. Передай: пусть хоть приснится мне. Пусть хоть скажет: “Мама, я погиб!” Пусть я только знать буду, что с ним. Передай ему, Сереженька».

Гелю затрясло, как в лихорадке, но слез не осталось, да и нельзя — нельзя! — в положении стресс вреден. Она уже чувствовала на себе недоумевающие взгляды прохожих, как летнюю мошкарку, облепляющую спину знойным вечером, когда полешь после работы грядки на огороде. Она передернула плечами и побрела к вокзалу — примут еще за сумасшедшую...

Совет солдатских матерей теперь назывался иначе. Когда Гелин старший брат воевал в Чечне и на какое-то время пропал без вести, там работала хорошая женщина Нина Петровна. Геля тогда была еще школьницей, но помнила, как они с матерью ездили из села в райцентр, вместе ходили в этот совет, рассказывая все, что знали, об армейском пути брата. Брат, слава Богу, потом нашелся живым, но контуженым в госпитале... Теперь же Нина Петровна ушла на пенсию, а совет назвали комитетом помощи семьям военнослужащих, возглавляла его ныне Галина, бывшая помощница Нины Петровны. Но рассказывать нужно было по-прежнему все то же, как и тогда с братом: когда Ленька родился, где прописан, каким военкоматом призван, где служил срочную, когда подписал контракт, когда отправил на СВО, как потерялась с ним связь, что уже успели предпринять... Геля повторяла все заученно и медленно, чтоб Галина успевала записывать.

Она рассказала даже, что ей с мужем удалось дозвониться до Ленинского сослуживца, потому что именно с телефона этого парня Ленька звонил домой в последний раз. Поговорил он тогда с родителями коротко: «Мама, папа, все хорошо! Жив-здоров. Звонить подолгу нельзя. Все у меня хорошо». Владельца номера звали Ваня. Но ничего нового Ваня не рассказал: «Пошел в разведку и не вернулся». То же самое родителям и в военкомате сказали.

Об остальном, что узнала Геля от Вани, она Галине сообщать не стала. Например, не стала говорить, что, по словам Вани, в части Леньку прозвали Воробышком, потому что был он хрупкий, невысокий и шутил-болтал много — чирикал. «Любили у нас все вашего сына, хороший был парень, смелый! Боец! А больше мне сказать-то и нечего. Вы мне больше не звоните — нельзя!» И Ваня положил трубку. Геля сначала терпела и не звонила, а потом не выдержала, набирала его номер не раз, но никто не отвечал больше, и только механический женский голос безучастно повторял: «Вызываемый абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети». «Где ты, Леня? В какой ты сейчас сети?» — спрашивала Геля у этого механического голоса, иногда забываясь и произнося этот вопрос вслух.

— Сыночка нет у меня! У меня только пупсик-доченька. А я хочу для нее братика.

Детский голос раздался так звонко, что Геля вздрогнула. У ларька с промтоварами, где продавалась для пассажиров всякая всячина, от женских халатов до игрушек, она увидела девочку лет пяти-шести, тоненькую, со светлыми, как у ангелочка, кудрями и большими карими глазницами. Рядом с ней стояла тощая старая дама, сурово поджимающая губы, очевидно

бабушка. Строгая юбка, блузка со старомодным бантом, каких теперь не носят. Судя по одежде, педагог советской закалки. И женщина, примерно ровесница Гели, чем-то неуловимо похожая на девочку, скорее всего ее мать. Малышка, видимо, давно клянчила пупсика, но женщина не решалась купить игрушку и как-то несмело поглядывала на бабушку-педагога.

— У тебя полно дома пупсиков. — Мать пыталась отговорить девочку от покупки.

— Не полно. У меня куколки, а пупсик один, — возражал ребенок.

Геля усилием воли заставила себя отвлечься от этой сцены — чужая семья. Нехорошо вмешиваться.

Возле вокзала работало еще два ларька: один — с овощами-фруктами, второй — с пирожками, лимонадами, чаем и растворимым кофе на разлив. Во фруктовом Геля увидела первую в этом году турецкую черешню и купила килограмм для дочери. Сегодня с утра муж дал ей пять тысяч рублей со словами: «Гелюшка, что увидишь вкусного — купи, не думая, и на цену не гляди. И себе что хочешь покупай — тебе сейчас хорошее питание нужно, — и доче». Так он называл Улю, редко по имени, а почти всегда — доча. Уж как подруги Геле завидовали! Такой-де, Гелька, муж у тебя внимательный! Настоящий заступник. Муж выпивал редко, потому что неумен был во хмелю — дрался, но только с чужими, дома — никогда никаких скандалов!

Когда выяснилось, что Геля беременна третьим, поздним ребенком — обрадовался, руки целовал... Когда-то Геля верила подружкам, мужем гордилась, а теперь совсем отдалилась от него. Никак не могла простить мужу те слова: «Гелька, вот и хорошо, что Ленька так устроился! Сыт, обут, одет». Внушал сыну, что каждый мужик в армии должен отслужить? Внушал. Таскал Леньку с собой на охоту? Таскал. Учил стрелять? Учил. Так что ж плохо научил, плохо подготовил? Виноват, виноват!

Умом она, конечно, понимала, что если по справедливости, так ни в чем ее муж не виновен, но душой не могла ему простить самой принадлежности к мужскому роду с его охотами, войнами, оружием, драками, кровью, пьянками, насилием и грубостью чувств. «Хорошо, что Ленька так устроился!» А подумал — хорошо ли, что далеко от дома? А хорошо ли, что за три года контрактной службы мать с отцом навестил всего два раза? Нет, мужики — совсем другой народ. Их мир и их война — не для женщин. Из-за вечно воюющих между собой мужчин матери всех времен и народов теряли и теряют своих детей и Геля тоже лишилась сына. И она мстила мужу, пусть и по мелочам, пусть смешно, пусть инстинктивно, пусть и сурово оговаривая себя: «Да что ты, Гелька, и впрямь рехнулась?» Сегодня пяти тысячную взяла, но, будто мужу назло, на себя или на него ни копейки не потратила, никаких гостинцев из города — ничего не везла, совсем, купила только килограмм черешни и только для Ульки.

— Уля, я же сказала — нет!

И Геля, услышав родное имя — имя дочери, снова повернулась к промтоварному ларьку. Там девочка, которую по совпадению тоже звали Улей, продолжала уговаривать:



— Мама, ну, пожалуйста, посмотри — вот этого пупсика, который в ванночке!

— Купи, не то ныть будет до самой дачи, — величественно бросила дама.

И мать, словно совершая преступление, воровски достала банковскую карту.

— Мне пупсика-мальчика. С соской! — закричала Уля, встав на цыпочки и подтягиваясь к окошку ларька.

Бабушка резко дернула ее за руку, осадив:

— Веди себя нормально! Что ты кричишь?!

Геля вошла в здание вокзала, а следом пришли и женщины с девочкой. Перед электричкой свободных мест в зале ожидания почти не осталось, и они сели рядом с Гелей.

...Народу на крохотном вокзале собралось много. От райцентра до поселка, где Геля родилась, выросла и прожила всю жизнь, добраться можно было только на электричке. Всего два рейса — утренний и вечерний, но, в общем, удобно, если надо в райцентр по делам: в администрацию, налоговую, банк, к электрикам или в военкомат. Справился за день, поел в кафе-столовой «Тройка» — и езжай себе обратно. В поселке жило порядка семисот человек, и работы пока хватало: леспромхоз, фанерный комбинат, маленький колхозик, своя пекарня, столовая, железнодорожная станция, садик, школа, где в классах училось по десять-пятнадцать человек, но все же полная, одиннадцатилетняя. Ее даже в оптимизацию, когда все садики и школы в округе позакрывали, не тронули. Младшая Гелина дочка Ульяна оканчивала седьмой класс. Гелин муж работал на фанерном комбинате, а она сама — в колхозе, в бухгалтерии. До армии в колхозе трактористом успел поработать и Ленька.

Среди людей, ожидавших электричку, встретились и односельчане, они коротко кивали Геле, но не прочь были бы с ней и поболтать. Вот агроном Николай Иванович — ездил в город к доктору-неврологу, грыжа разыгралась. Начни с ним беседу, все выложит! Сколько часов в очереди простоял, что ему доктор сказал, еще и снимки позвоночника прямо под расписанием электричек покажет. Вот бабуля-соседка Лидия Сергеевна — ездила в электросети, потому что ей в прошлом месяце неправильно посчитали «за свет». Зацепись с ней языками — и заставит проверить цифры в квитанциях. Скажет: «Гелька, ну ты же бухгалтер!» А вот заведующая библиотекой Лиза — училась в райцентре на семинаре для сельских библиотекарей: только присядь рядом — узнаешь, кто и из каких деревень приехал, чему учили, какие пироги и конфеты привезли к общему чаю...

В селе ничего не утаишь. И про Гелю все знали, зачем она ездила в райцентр — на УЗИ и в совет солдатских матерей. Когда два месяца назад сообщили ей, что Ленька из разведки не вернулся, что не значится он ни среди живых, ни среди мертвых, она кидалась на стены в своей квартире и выла: «Господи, хоть бы девка! Не сына! Не дай бог — сына!» Каждому теперь было интересно: так девчонка у нее будет или парень? В поселке решили, что Геля слегка повредилась в уме. Она и правда

изменилась: прежде веселая — теперь не улыбалась, внимательная — до-пускала глупые ошибки в бухгалтерских расчетах, стройная — вдруг стала выглядеть по-старушечьи тощей, говорливая — старалась избегать бесед. Вот и сейчас Геля не хотела ни с кем и парой слов перебраться.

Женщины рядом продолжали разговаривать, Уля уже достала пупсика из упаковки и теперь играла им.

— Уля, вот что я тебе скажу: ты этого пупсика отдашь мне, — вдруг заявила бабушка. — Ко мне через неделю на дачу придет твоя сестренка Соня, и это будет ей подарок от тебя.

— Нет, — испуганно ответила девочка. — Не отдам.

Малышка нахмурилась и крепко прижала к себе пупса-мальчишку в коротких штанишках и распашонке.

— Что ты такая жадная? Мама сказала, у тебя дома уже есть пупсик, — продолжала дама.

— Это мой пупсик. Я его уже назвала Дениской, — не сдавалась Уля, но голосок ее уже дрожал, уже чуялись в нем близкие слезы.

— Я скажу Соне, что его Дениской зовут, — милостиво пообещала бабушка.

— Мама, ну зачем? Она же сейчас расплачется, — робко попыталась вмешаться Улина мать.

— Кого вы из них растите? Неженки! — фыркнула дама. — Надо учить делиться. Растите их по одному в семье, не рождаете, сами эгоисты и растите эгоистов. Вас у меня трое было, и всех людьми вырастила.

Она какое-то время помолчала, но вновь продолжила елеин-но-масляным тоном:

— Уля, если ты не научишься делиться, другие дети будут дразнить тебя «жадина-говядина».

— Ну и пусть, — упрямо ответила Уля и, подумав, добавила: — Не будут. Откуда они узнают?

— Уля, жадничать нехорошо. Подари пупсика Сонечке! — не отставала дама и протянула руку к куклке.

Девочка бойко слезла с кресла, отвернулась от женщин, а когда повернулась вновь к ним лицом, то под футболкой на ее животике надулся холмик, как у беременной: она спрятала пупса под одежкой.

— Всё! Нету Дениски! — Она развела руками. — Фокус-покус!

Мать девочки не смогла сдержать улыбки, улыбнулась и Геля, но бабушка рассвирепела:

— Жадина! Взрослых не слушаешься!

Дама протянула руку, возможно, чтоб схватить девочку и, наверное, силой достать пупса из-под ее футболки, но Геля вдруг с силой ударила старуху по рукам и закричала на весь вокзал:

— Дура! Дура старая! Убью, сука! Не смей трогать! Она — мать! Мать! Это ее Дениска! Не смей трогать!

В глазах у Гели потемнело, в горле пересохло, все тело била дрожь, она словно начала терять сознание. Кто-то из односельчан, кажется Николай Иванович, вмиг очутился рядом, подхватил ее, усадил в кресло.



— Успокойся, Геля, успокойся!

Лиза подбежала с бутылочкой воды, дала Геле пару глотков.

Дама сначала онемела от случившегося, а затем начала что-то лепетать про оскорбления, полицию, про то, что лезут сумасшедшие не в свое дело, чужих детей воспитывают, что эта психическая еще у ларька возле ребенка ошивалась и сама с собой разговаривала, что она опасная, но народ, свой, из села, шикал на старуху и на все голоса ей повторял:

— Она — мать! Мать! Поймите вы: сын у нее! Ленька без вести пропал... Не в себе она. И видите ведь — беременная! Кто же с беременными спорит! Примета худая. Беременным не перечат — ребенок поперек пойдет! Мать она! Мать!..

И тут объявили электричку. Лиза и Лидия Сергеевна поспешно подхватили Гелю под руки и повели к выходу на перрон — скорее прочь от скандала! Уговаривали: «Пойдем, милая, пойдем! На воздухе полегчает, отпустит». Николай Иванович взял ее сумку и пакет с черешней и понес следом. Геля обернулась: Уля по-прежнему стояла на своем месте с пупсиком под футболкой. Казалось, она ничуть не испугалась случившегося и приняла все произошедшее за какую-то непонятную ей взрослую игру. Уля улыбнулась, достала пупса из-под футболки, высоко подняла над головой — смотри, мол, наша взяла, со мной остался Дениска! — и помахала им вслед странной тетеньке.



ВЕСНА В НАБЕГЕ ПОЛОВЕЦКОМ...

Серия «Библиотека сибирской литературы», издаваемая при поддержке министерства культуры Новосибирской области, пополнилась новой хорошей книгой — сборником стихотворений «Гнездо поэтов». Это отчасти переиздание текстов легендарной книжечки с одноименным названием, вышедшей в 1989 году, ставшей библиографической редкостью, отчасти — попытка по-новому взглянуть на разнообразную, неформальную (или, может, неформатную) поэтическую жизнь Новосибирска последней четверти XX века, на то литературное братство, что сформировалось вокруг ЛИТО Ильи Олеговича Фоянкова, а также попытка восполнить лакуны, случившиеся в первом издании «Гнезда».

Лакуны, по версии самих «гнездовцев», и правда были. Об этом и о том, как трудно (хоть и бурно, весело) создавалось аутентичное «Гнездо поэтов», вспоминает Александр Иванович Денисенко. Текст его читайте ниже. Для начала же — стихи всех поэтов нового сборника.

Александр ДЕНИСЕНКО

* * *

Чей
 чей
 чей
 это конь
 это конь
 этот конь
Оторва Оторвался от железного кольца
И летит — грива льется, как гармонь
Молодого, убитого Германией отца.

Я рвану
 этот ситец
 этот ситец
 от плеча —
На которрром цветут русские цветы —
И пойдет он по кругу сгоряча,
Как невест обходя яблонь белые кусты.



Вот уж бабы завыли
 завыли
 уж сердцу невмочь,
 Пляшет с бабами конь вороной вороной —
 Все быстрее и быстрее — уж ничем нельзя
 помочь,
 Как тогда, перед самую войной.

Плачь, гармонь,
 да плачь, хорошая,
 во все цветы
 навзрыд —
 В саду Сталина осыпался на гриву весь ранет.
 Сам товарищ Сталин на учет сейчас закрыт,
 А откроют, когда будет мясоед.

Все пройдет...
 солдатка
 слезы
 черной гривой
 оботрет
 И прибьет к столбу свое железное венчалное
 кольцо,
 Чтобы конь, хрипя, не рвался из распахнутых
 ворот
 По дорожке,
 занесенной
 лепестками,
 за отцом.

Евгений ЛАЗАРЧУК

* * *

Ветер вырвет газету из рук
 Задремавшего пенсионера,
 И снежинки посыплются вдруг
 На газоны весеннего сквера.

Сразу станет светлее в аллее,
 Убеленной прощальным снежком,
 Что растает гораздо быстрее,
 Чем таблетка под языком...

Николай ШИПИЛОВ

Цветы

Вот так моя мама
Цветы рисовала
Химическим грифелем
«Копиручет»:
Сначала вела
Два некрупных овала,
А дальше она карандаш целовала,
Вела лепестки,
Чуть играя плечом.
Потом отстранялась
От близкой бумаги,
С прищуром магическим
Терла виски.
Отличные маки!
А если не маки?
Ну если не маки,
Тогда васильки.
Когда на печи
Пригорало все брашно,
Испуганно мама
Летела к плите.
И мне было тоже воистину страшно,
Я детской тенью за нею летел...
В окне вечерело,
И стекла замшели,
И волки блуждали у наших ворот.
Был счастьем вечерним
Таинственный шелест
Бумаги и мамин химический рот...
Вот так моя мама
Цветы рисовала...
А я и не знал,
Что она доживала.

Весна в набеге половецком...



Анатолий СОКОЛОВ

* * *

Круша цветочные розетки,
Играет ливень в бильярд
И вздохи парочки в беседке
Оценивает в миллиард.



Наверно, местный парикмахер
С буфетчицей забрел сюда...
Кусты похожи на монахинь,
Зажмурившихся от стыда.

И в паузах, приставив ухо
К решетке, вымытой до швов,
Дождь слушает, но слышит... эхо
Уже разыгранных шаров.

Иван ОВЧИННИКОВ

В отпуске

Сегодня что? Десятый день.
Давай подумаем... Сентябрь.
На славу в нашей слободе
повяло, вывесило стяги.

Куда девались эти дни?
Когда ползелени пропало?
Узнать бы как-то у родни,
которая не выпивала.

* * *

Слеплю я снежную бабу
и поставлю ее под луной,
у товарищей — по три, по четыре бабы,
а у меня ни одной.

Анатолий МАКОВСКИЙ

* * *

Жизнь моя слагается из работы
И противоречат мне все поэты
А потом я иду по городу
По Выгрезвительной, по параллельной

Или под прямым углом
Сворачиваешь к телеграфу
Где ресторан может приглубить
Не зал, конечно, а зельц, телятина

Или читальное существование
Где рядом с девушкой самой упругой
В однопартийном молчании
Шуршишь страницей столетнего друга

А за окном может быть троллейбус
Идет по единственной в городе улице
Пойдем покурим за фикус с Лениным
Герберт Уэллс считал его умным

Герберт Уэллс — и во мгле Россия
Флейта, снега, я в снегах затерян
Что ж ты качаешься по Амундсену
Синий пингвин, у обкома-терема?

Валерий МАЛЫШЕВ

* * *

...будто миг — неужели рассвет?
Ночь истлела в оконном проеме.
Мы одни, никого больше нет
В этом комнатном, малом объеме.

Невменяем и неизгладим,
Этот миг переполнен участием...
Припадаю к коленям твоим,
Погибаю от приступа счастья!

Жанна ЗЫРЯНОВА

* * *

Добреду, как собака усталая,
На дымочек людского жилья.
Это будет деревня старая.
Это буду в ней старая я.

Будет там не обидно. Обыденно:
Печка, лавка, капустный кочан.
И навстречу береза выйдет
И пожарная каланча.





И кирпичная водокачка,
И плетеная городьба.
Будет радиопередача
Из районного городка.

Будет воздух такой целебный!
Будет скука — что сам измор.
...И еще до скончания лета
Принесет почтальон письмо

В палисад, где черна малина.
(Почтальон будет тоже стар.)
«Каравелла Санта-Мария» —
Будет старая марка там.

Зарябит на ранетке ветер.
Скрипнет тоненько желтая дверь...
Положу на траву конвертик.
А зачем мне письмо теперь?

Владимир ЯРЦЕВ

* * *

Мне родиться бы сызнова где-нибудь в Сызрани,
Даже если пытались бы мне рассоветовать, —
Изнемочь в безнадежной борьбе с англицизмами
И ни разу на свой неуспех не посоветовать.

Мне родиться бы сызнова где-нибудь в Сызрани,
В крайнем случае в ржавой слободке под Ельнею,
Чтоб сестрица губами припухло-капризными
Спела песню вполголоса мне колыбельную.

Чтоб себя ощутить неделимой частицею
Утра зябкого, после дождя, глухومانного.
Лишь тогда в мировую поверю юстицию,
Если где-нибудь в Сызрани, сызнова, заново.

Михаил СТЕПАНЕНКО

Весна

Весна в набеге половецком:
Кто полонен, а кто погиб.
Ручьи несутся с переплеском
Под сапоги.

В подлес, многоязык, предтечей
Уходит снег.
А с предстоящей нашей встречей —
Все как на грех.

И все. И прояснений прочих
Не требуй ты.
Как ссылки на первоисточник —
Цветы.

Юниль БУЛАТОВ

Мадонна с наколкой

В тридцать лет совсем старуха.
Голос сдавленно сипит.
От вина лицо распухло,
И пустая грудь висит.

Сын, зачатый на пирушке,
С букварем в портфель кладет
Складничок — свою игрушку.
Сын растет, и нож растет.

Нина ГРЕХОВА

Не плачь

Не плачь без меня обо мне.
Я знаю, непросто остаться.
Единственной верю струне,
Готовой вот-вот оборваться.

Сквозь все мои ночи и дни,
Сквозь утренний свет и вечерний
Звени же, звени же, звени,
Любви колокольчик ничейный.



К стихам, к облакам, к пустякам
Звени же, душа моя, в теле!
Прощальный наполнен стакан,
И стенки его запотели.

Уеду, забуду, усну.
Зачем она рваться не хочет,
Струна, неподвластная злу?
Скажи мне, мой друг колокольчик.

На самом последнем ветру
Над тенью твоей неземною...
Не плачьте, когда я умру.
А плачьте сегодня со мною.

Александр ПЛИТЧЕНКО

Вышивание

Мама за неделю уставала
И к субботе старая была.
Мама в воскресенье вышивала,
Нитки разноцветные брала.

Радостные голуби взлетали,
Расцветали алые цветки,
Реченьки студеные плескали,
Падали кленовые мостки.

Сам я накормлю скотину вволю,
Прополю, полью весь огород,
Только пусть над чистым-чистым полем
Вышитое солнышко взойдет.

Мама вышивала, вышивала,
Молодая, добрая была.
И соседкам вышивки давала,
А сама соседских не брала.



Александр ДЕНИСЕНКО

ВОСПОМИНАНИЙ ГОРЬКИЙ МЕД...

*История создания «Гнезда поэтов»**

«Была не была», как говорил Гамлет, хотя, по словам принца Ивана Овчинникова, «Гамлет был глубоко нерусский человек...»

...И вот по весне, когда вскрылась Обь, ко мне на работу в типографию «Советской Сибири» пришел познакомиться черноглазый Владимир Берязев в белом кашне. Его энергичная мягкость и в общем-то необременительная просьба «помочь найти адреса и восстановить речевые и почтовые связи с друзьями-товарищами по ЛИТО» расположили меня к нему, особенно когда он произнес имя Александра Плитченко, который задумал собрать и издать сборник поэтов нашей юности. Конкретно: списаться-созвониться с Евгением Лазарчуком, Владимиром Ярцевым, Николаем Шпиловым, Ниной Садур, Иваном Овчинниковым, Жанной Зыряновой, Анатолием Соколовым, Михаилом Степаненко, Валерием Малышевым, озарить их идеей и собрать с них оброк по 300 строк (по пол-листа). Срок — от Благовещенья до Троицы. Благослови, Господь! Я пояснил: Нина и Николай штурмуют Москву, Евгений оседло живет в нашем Куйбышеве, Валера Малышев в Джезказгане на стройке, должен вот-вот быть... Звоню вечером Ивану, тот: «Стихи у ребят хорошие, что ж не продать...»

Написал всем по письму, с кем мог — созвонился. Женя Лазарчук поначалу решительно отверг, отрезал, Коля тоже замылся, пояснил: «Я все же по преимуществу прозаик, но, коль надо для артели, на один лист набираю, с Ниной поговорю-перетолкую, а Лазарчуку напишу военно-товарищеское письмо для подкрепления». Впоследствии оказалось, что принципиальное согласие и товарищеский авторитет Николая немало поспособствовали делу. Понятно, что реальная жизнь оказалась ближе к прозе, но Ярцев, Овчинников, Булатов, Степаненко, Денисенко, Соколов внесли свои паи. Каким-то чутьем или провидением о сем узнала Жанна Зырянова, находившаяся временно вне города по командировке солидного учреждения: «А как же я?!» Ситуацию спас вернувшийся с заработков Валера Малышев: «Скажи ей, что место для нее будет. У меня предполагается издание своей книги у Жигалкина**. Только не говори ей, что я уступаю ей место. Не говори! Дай слово! А с Плитченко я поговорю сам, объясню».

* Из архива Александра Денисенко.

** В. А. Жигалкин — директор Западно-Сибирского книжного издательства.

Ну, в общем, дело начало слаживаться, да и соскучились друг по другу. Никто не задавался вопросом «Разве такое возможно?», веря Александру Плитченко, как верят старшему брату. К тому же он сам был выходец из фонаковского литгнезда. Все вдруг вспомнили, что «жизнь — яко липовый цвет», который пьянит и кружит голову, но быстро осыпается... Подспудно, интуитивно мы смутно догадывались, что гармонизировать этот массив разнохарактерных текстов будет не просто, что подтвердилось: пошли возражения против Мишиной резкости, цветаевщины Жанны, со стороны появились «пришельцы», как называл их Соколов. Хотя за бортом остались те, кто все же был нам ближе по духу: Петр Кошель, Валерий Ржанников, Виктор Сайдаков, Володя Громов, Володя Романов...

Я могу только догадываться, какой для издателей это был тяжкий выбор...

...Был момент по жизни, когда Александр Иванович пригласил меня вслед за Володей Ярцевым на работу в молодое издательство, в Сибирское отделение «Детской литературы», и в один из первых дней, спеша на службу, я купил у лоточницы на привокзальной площади цветную (!) полиграфическую карту своего родного Мошковского района, а Александр Иванович, приехав на электричке из Сеятеля (Сиэтла, как шутил он), где жил, набрел на ту же лоточницу и выкупил не только свой Каргатский район, а еще и всю карту НСО. В редакции он приладил ее рядом с небольшой иконкой Владимирской Божией Матери, велел мне закрыть глаза и тыкать пальцем в карту на предмет: где живут у нас поэты? Я ткнул: Почта! «Почта — это Толя Сорокин. Тыкай дальше». Барышево — Нина Грехова, Ефремовка — Женя Лазарчук. Сузун? Сузун — это братья Заволокины и Михаил Щукин — наш сибирский прозаик. «Тыкай дальше». Ояш — вотчина Геннадия Карпунина, автора «Синильги», переводов «Слова о полку...», — единственного из наших поэтов, занесенного в Большую российскую энциклопедию. «Какой хороший человек приехал к нам. Какой хороший...» — пробасил Плитченко. Так мы пропальпировали всю карту, и Александр Иванович, огладив ее ласковым круговым движением, как милую женщину, подытожил: «Куда ни ткни, Саша, везде у нас произрастают хорошие поэты... потому что земля у нас богатая...»

И уже много позже я осознал, что стоял у карты рядом с удивительным человеком, который умел видеть глубоко-пронзительно, мгновенно обобщать и выражать суть в предельно концентрированной форме, поражающей своей ясностью, доступностью и поэтичностью, человеком, буквально открывшим за минуту целый поэтический атлас НСО, человеком, написавшим за пределами светлые и глубоко сокровенные поэтические новеллы «Надежник», «Планета Кольвань», «Небесная Сибирь», «В городе моем светло» — светло и у тех на душе, кто имел счастье знать этого горячего, гордого и сердечного человека и дружить с ним. Сколько же он для нас, птиц, сделал хорошего, доброго, долговечного, как свитое им любимое его детище «Гнездо поэтов».

Время течет все время...

...В последнее время он *торопился*; большой, грузный, как Жан Габен, погруженный, ушедший в себя, он, вероятно, уже чувствовал, что загнал вороных своей судьбы, и потому работал без отдыха, на износ. И если кто-то пытался шуткой отвлечь его: «Все, Иваныч, шабаш, полдень, адмиральский час: пора вермут пить...» — он только грустно улыбался и опять склонялся над компьютером, грудой рукописей и писем в «Горницу», статей в газеты и лишь изредка отшучивался: мол, мы, мужики, — двигатели внутреннего сгорания...

И все чаще и чаще в его стихах явственно стала проступать мысль о том, что хочется идти обдуманно, не с праздными руками и рассеянным взором, а выбирая каждый раз осторожными стопами эту свою последнюю дорожку на малую родину. Конечно, он тяжело страдал: дорвавшиеся до власти холуи устроили в своей «демпresse» настоящую травлю А. Плитченко — поэта, гражданина и патриота, так много сделавшего для своего города! За это и травили...

...За несколько месяцев до своего успения, осенью 1997 года Александр Иванович написал: «У меня есть родина. Не сознание родины, а чувство. Как чувство блаженства, как чувство тепла, света, как зрение. И как безмерно счастлив тот, чья родина не истаяла, чье родное село стоит себе, и можно пройти по улице, зайти в дом, где родился и жил... Иначе живешь, ощущая над прекрасной осенней землей, над родной почвой — пресветлую Небесную Сибирь, свет и сила которой держит нас в жизни, показывает путь, чтобы не погрязли мы в суете и мелочах, но старались приблизиться к вечной родине — к Небесной Сибири. Чтобы порадоваться еще одной возможности послужить родной земле, отдать ей хотя бы частичку того, чем она безмерно одарила нас, благословив родиться и вырасти под вечным светом Небесной Сибири. Мы счастливы. У нас есть родина».

...А за десять лет до этого, сдавая свои рукописи в «Гнездо», мы... из новой юности возвращались в юность.

Нина Садур, психологически чувствуя драматизм ситуации, убедила Шпилова, что стихи у нее «детские, наивные: о счастье, цветах, о детях Гольфстрима... и вообще на объем не собрать...» Но, к чести ее и благородству, во всех своих насыщенных реактивных интервью она с гордой нежностью отзывалась о друзьях юности: «Все мы, как только теперь я поняла, отличались какой-то особой повадкой, и повадка эта была безошибочно красивая...» С Николаем установилась интенсивная переписка; до сих пор в памяти, в отделе «радость», сохранился его адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, 11, общежитие ВЛК, к. 713, Шпилову Н. А. Позднее там жил и Владимир Берязев — в пору своего обучения в Литинституте. А после сколько я ему кричал, уговаривал: хватит таскаться в Москву, давай создадим в Новосибирске Сибирский институт ПОЭЗИИ, к нам вся Сибирь, вся молодая страна хлынет, ты — ректором будешь! «Угу. Но сначала — сборник!»

Решили: пишем дуплетом с Николаем по два-три «письма чести» его превосходительству Евгению Александровичу Лазарчуку, и — чудо: наши вопли, зазывания, укоризны, давление на честь и совесть возымели свое действие... Лазарчук ответил: «Если все будут вместе, тогда и я с вами!» Он сдержал товарищеское слово. И это было принципиально важно: недаром «Гнездо» начинается с его локомотивной подборки. Но впереди предстояли затяжные маневры, и главный из них — отставание подборки Михаила Степаненко «Остановимся».

Между тем события (и нешуточные) шли своим чередом: А. Плитченко с М. Щукиным, В. Малышевым бьются за собор Александра Невского, Карпунин через меня просит у Шпилова «много рассказов» для «Сибогней». Плитченко утверждают главным редактором только что созданного Сибирского отделения «Детской литературы», Берязев у него в команде, и он же — главред молодежного альманаха «Мангазея». Жанна хлопочет о своей чести. И остается с ней... Она в неволе выпускает стенгазету, ее все любят, но при выходе из учреждения руководительница его, страстно влюбленная в Жаннины стихи, ревностно



отбирает все написанное, и бедная Жанна довольствуется лишь тем, что смогла сохранить и вынести на волю в своей волшебной голове. На улице мы с Иваном Овчинниковым столкнулись с Маковским и тот, отвернувшись всей спиной, сравнил нас с сельскохозяйственными животными и товарищескими предателями (это, видимо, была реакция на неловкое положение Миши Степаненко). В этот же день и час звонит Жанна Зырянова и объявляет, что Плитченко вставляет ее в книгу. Звоню Берязеву, он подтверждает и добавляет, что Степаненко не будет, поскольку «он потянет качество всей книги вниз». Полный бред. Плохо было то, что мы с Иваном накануне ходили как крепостные в издательство. Александр Иванович был отчего-то печален, задумчив; вернул нам его подборку (400 строк) и велел резать до 300, с привлечением составителя Владимира Берязева. На том и порешили и успокоились, и вдруг опять — полный отказ, но хуже всего еще и разногласия, так как Соколов сказал, что от Мишиных стихов ему «ни холодно, ни жарко», плюс к этому — явный нейтралитет В. Ярцева. А между тем Михаил был человеком большой глубины, сложности, тонкости, деликатности. Он, выросший в суровых условиях Ельцовки, ельцовского Гарлема, через самообразование выработался в прекрасного самобытного поэта, беспрекословного авторитета в товариществе, надежнейшего и верного скоропомощника в жизненных испытаниях. Отслуживший четыре года в Западной группе войск в Германии, присылавший нам на Родину светлые письма со стихами, он, полный упований и надежд, вдруг столкнулся с полным непониманием и отрицанием. Он был из всех нас единственным, кто мог двумя-тремя ошеломляющими отцовскими седативными словами останавливать кровопролитные споры Маковского и Овчинникова. Жанна плакала и ломала руки в пользу Миши, но оказалось, что дело не в ней и не в противопоставлении, так как при восьми листах, которые были отпущены на всех птиц, хватало места и ей, и Михаилу (в реальности оказалось даже больше — девять). Из чего же все это выросло? Берязев говорит, что сам Плитченко оценивает уровень сборника как «супервысокий». И что присланная подборка Н. Шипилова еще больше его приподняла.

У всех своя правда и свое право, но мы с Иваном и Николаем просто не могли понять и поверить в то, что можно не заметить особую Мишину взрывную энергию в его текстах и глубокие толчки внутри стихов, от которых просто щемит сердце. Иван дюже разозлился:

— Мы же сибиряки, считай, люди северные. А как же без удали-то?!

— Ты прав, Иван, когда Пушкину было 18 лет, Вяземский написал Н. Тургеневу: «Пушкин погубит нас и наших отцов. Его надобно посадить в желтый дом...»

И дело тут даже не в принципе, а в том, что я только недавно, старый дурак, понял через муку в его глазах: что он, при его гордости и ранимости, узнав, что его стихи стоят под боем, стиснув зубы, терпел эту муку единственно из высокого товарищества, чтобы поддержать нашу юность, — то есть он не бросил братство, не вышел из игры, не хлопнул дверью, а ведь Михаил среди нас один, кто мог из-за стихов принципиально застрелиться. Однако в нашей ситуации об истине нечего заботиться — пуля сыщет виноватого. Михаил был большой человек и большой поэт, настоящий! Но не зря говорят: большое дерево притягивает молнию...

То же самое и Малышев: разве ж ему, атаману, предводителю, старосте ЛИТО, из которого вышел и Миша, и все мы, не хотелось побывать с нами в общей книге, в сборнике? Бывало, после заседаний он вел нас в какую-нибудь



ресторацию, куда нам, гольтьбе, и ходу-то не было, но, достав билет бригад-мильца и вдобавок волшебный документ (СССР. Корреспондентское удостоверение № 36 выдано Мальшеву Валерию Викторовичу, корреспонденту газеты «Кадры стройки». Печать. Продлено до 1989 года), Мальшев гордо проводил всю кавалькаду мимо оцепеневшего швейцара...

К слову сказать, во все времена, на каких должностях бы он ни работал, узнав, что кто-то из нас бедствует, он мгновенно приходил на помощь: находил работу, трудоустраивал, подкармливал, отрицая и пресекая всякий дух сомнения и колебания, в том числе и в отношении поэзии — работать по-монашески, без шумихи, но твердо, уверенно и результативно. А вообще в те годы «по литературе» многих из нас «тренировали» такие авторитетные и возвышенные учреждения, как ЖКО, ЖКХ, ЖЭУ, которые давали возможность «без отрыва от производства» не только постигать и осваивать по ночам в многочисленных бойлерных, сторожках, вагончиках, кочегарках, котельных «шедевры мировой классики», но и самим создавать свою вольнолюбивую, пусть и угловато-угольную, но искреннюю, суровую и наивную *сторожевую* поэзию, откуда вышли все лорды-истопники, пэры-кочегары, принцы-сантехники российской поэзии. Это была тайная литературная Академия, давшая немало славных имен, хотя сейчас об этом редко кто вспоминает, словно и не было этого километра советской жизни и искусства. Нашего непростого наследия.

В Новосибирске в то время существовало более десятка литобъединений. И все же по всеобщему признанию в ЛИТО-ФИО, как мы в шутку именовали наше пристанище (по фамилии, имени, отчеству основателя — Фоянкова Ильи Олеговича), жил какой-то особый творческий дух... особый пьянящий весенний кислород, чему способствовал сам ФИО.

Невысокого (среднего) роста, короткие мягкие волосы зачесаны назад, высокий лоб, аккуратная, тоже мягкая, бородка, жизнерадостная, располагающая улыбка. Одежда тоже мягких тонов. Но иногда и простая клетчатая ковбойка. Учитель, училищник, мудерис, ачарья, махатма, сенсей, гуру (как мы его дружелюбно и почтительно именовали) был совершенно искренне убежден, что научиться можно всему — даже писать стихи. С этим, конечно, можно поспорить, а поспорить на ЛИТО — милое дело: общеизвестны поэтические амбиции и потаенная ревность друг к другу служителей Аполлона, достаточно вспомнить блоковские строки из стихотворения «Поэты»:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого с надменной улыбкой...

И это тоже бывало: молодая бурса, не склонная к пуританизму, иногда во время перекуров от души изливала свое вольнодумство через чтение якобы «крамольных» текстов собственного изготовления, а когда в жарких баталиях не хватало слов — в споры вмешивался авторитетнейший портвейн, вермут или рубин: «Когда напивались, то в дружбе клялись...»

«Вещий Олегович» имел особенный внутренний такт: он не обходил вниманием практически ни одного семинариста — особо отмечал и поощрял ранние опыты Олега Садура, благоволил к расцветающему на глазах огромному дарованию Евгения Лазарчука, благожелательно отнесся к стихам, наполненным

самой жизнью, Владимира Землянова. Николая Шипилова и Александра Денисенко хотел снабдить своими весомыми рекомендациями для поступления в Томский университет, а Нине Садур настойчиво предлагал уехать на стройку БАМа, «окупиться в кипящую жизнь», хотя юная Нина сопротивлялась и категорически не хотела окунаться, а если бы дерзнула, то неизвестно, чем бы закончилась эта стройка века... Чуть позже в подобной ситуации, когда Дима, супруг Жанны Зыряновой, собирался забрать ее, чтобы вместе уехать на ПМЖ в Германию, а нам, конечно, не хотелось терять в ее лице единственную среди нас авторессу и товарищеского друга, Овчинников и Мальшев, хорошо зная врожденную Жаннину нелюбовь к дисциплине, мудро решили: вот и хорошо, пусть едет — наконец-то мы отомстим немцам по полной!!!

...А жизнь между тем продолжалась... Выходили и до «Гнезда» оригинальные сборники. «Первые строки» (лирика молодых): 41 автор (!), где рядышком, казалось бы, антиподы — патриот Мальшев и нынешний американский подданный Мелодьев. И совсем юная Юлия Леонидовна Пивоварова. Через два года, в 1983-м, прозвучал «Зеленый взрыв» — совместный сборник новосибирцев и томичей. Это была «эпоха поэзии», время самородков.

И это была как бы некая сухая поэтическая амнистия, обещавшая выпустить на волю щемящую волну стихов, вызванную правдой и горечью русского мироощущения, тут же попавшая под сильный западный ветер, который, как известно, быстро сушит мозги и литературные слезы: мало кто устоял перед искушением отпечатать свои морщины на заграничной бумаге, мало кто не ушел в затвор или распыловку. А не печаль! В России (по словам Берязева) поэты заводятся из ничего, как мыши.

Патриархальная часть молодой поэзии, искушаемая тишиной алкоголя, вновь вернулась в русло подпольной поэзии шестидесятых годов с ее перевернутыми буквами, с угнетением синтаксиса — и вновь ударились в удалую экстремальную лирику, обильно снабженную дадаистскими приемами, но добрую и разноцветную по своей сути. И вот на старой «литовской» дороге, по которой когда-то щемящей ватагой босиком прошли шестидесятники, вновь поднимается нежная русофильская пыль от отечественных пяток в обуви фирмы «Адидас». Пыль все та же, но следы не совпадают...

А не печаль! Тот, кто с самого начала писал натуральными неперевернутыми буквами, кто не плакал в стихах напоказ, тот имеет сегодня счастье оставаться самим собой. Немногие остались верны той «литовской» дороге, но им есть чем гордиться, ибо ни один из них не издал книгу в свином переплете, на запах которой сбегаются все литературные крысы.

У Музы тяжкая рука, но никогда она не вдарит
Поэта бедного, пока он на груди ея рыдает...

Валерий Мальшев, к слову сказать, еще тогда предлагал кормить за счет государства в простых обычных закусовых и столовках тех поэтов, кому недопустна, как луна, гонорарная система оплаты литературного труда, а по выходным поощрять рюмкой водки, поскольку работать поэтом хотя бы 20 минут в день на сухую — это не каждому дано. И совсем не случайно Александр Плитченко, наделенный сверхвысокой социальной чувствительностью и один из немногих ощущавший еще тогда подземные тектонические толчки, которые вскоре

разрушат государство, занялся с товарищами по духу укрепительными работами, в том числе подтянул и нас, устроил «смотр боевых поэтических сил». Несомненно, он спас тем самым с добрый десяток поэтических судеб, ведь к этому времени мы, бывшие «литовцы», все уже шли вразнобой и вслепую. Конечно, он рисковал по-крупному, включая в редакционный план сборник никому не известных авторов, кроме двух — Мартина Мелодьева и Евгения Миниярова, уже печатавшихся до этого в коллективных сборниках, а в ситуации с Михаилом ему надо было понять, сохранились ли в «команде» былая честь, порядочность и готовность постоять «за други своя». И это был серьезный экзамен... В конце концов, мы же не слепые и тоже в стихах кое-что кумекаем! Надо сказать, что и Владимир Берязев, как составитель, проникся духом книги, сумел найти верный тон, сочетавший уважительную деликатность и необходимую требовательность, где она была уместна. Примером тому их синхронная работа с Михаилом Степаненко над его подборкой. Отсутствие Маковского по звезде дружбы было чувствительным — с одной стороны, он хорошо бы уравнивал одушевленный классицизм Володи Ярцева и держал силовое напряжение в постоянном титаническом противостоянии с алтайской энергетикой Ивана, а вот на фоне суровой метафоричности Соколова и Юнилевых городских баллад, всегда с завораживающей узнаваемой картинкой, и высокохудожественного проникающего текста Лазарчука импульсивный стиль Маковского уже не кажется таким убедительным, — пусть на это ответит нынешний обновленный вариант «Гнезда» с Маковским и Малышевым.

...Вскоре состоялось решительное собрание на ул. Свердлова, 13 (над картинной галереей), в голубой квартире Соколова. Приехал Женя Лазарчук, да мы с Иваном, Толя вышел из больницы после шунтирования, да Ярцев. Мишу решили не посвящать, не рвать сердце, зато призвали Берязева и спросили: как и что? Он честно сказал, что редакция желала бы добавить к нам двух-трех человек: Мелодьева, Миниярова и... и... и... а кого-то из наших попросить вон. Тут встал Соколов и на правах хозяина сматерился... Все по очереди горячо заговорили, и я сказал, что слова заочно просил Николай Шипилов, и включил на плеере песню «Это наша территория». У Лазарчука повлажнили глаза, он громыхнул кулаком по столу: «Я сам переговорю с Плитченко, Коля прав — это наша территория! Почему мы в своем “Гнезде” должны жить на птичьих правах?»

Берязев сказал: коли так, то я вам буду помогать. Я добавил, что нужно строить сборник на старой товарищеской основе, чтобы был цельный организм, пусть даже со старыми шрамами юности, но не увечить его... Что касается ЛИТО — то это наш потерянный рай.

А не печаль! Иван кивнул: «Я утресь встретил знакомого по школе, по “десятке”. Чужой стал пречужой, даже не поздоровался... Похож на меня, и одного роста, а кажется выше на полголовы — мерзавец! Жаль, что у меня нет слуги, он бы его отдубасил».

...Хорошая новость: Лазарчук, как и обещал, звонил Плитченко. Тот поблагодарил нас за «сотрясение мозгов» и дал свое принципиальное согласие — теперь мы снова все вместе! Зазря радовались: опять отодвигают Жанну (из-за всего в комплексе), Мишу — из-за «мрачности». Однако шипиловская и лазарчукская подмога уже работают. Лазарчуку, конечно, несладко быть земским коммунистом, мы это понимаем: и зубы рвать и свои успевай подбирать...





Слава богу, Евгений с нами, у него в «Гнезде» — особый цвет и сила, а что мы вообще потеряли бы в его лице — я и думать себе запрещаю. То был бы, верно, национальный поэт: в 16 лет уже свободно разговаривал в стихах своим голосом: естественно, серьезно, глубоко, с размахом!

По городу прошел слух, что Плитченко дал много эпитетов подборке Анатолия Соколова, и тот ходит по издательству под пушкинским № 1. Надо сказать, что деятельное участие Николая и Евгения сильно подняло проценты, а попросту склеило, воодушевило всех, и всяк вспоминает их добрым словом. Мальшева жалко: ему в «Новом мире» отрезали все органы, то есть стихи изрядно обкромсали, но он крепкой породы, улыбается золотым зубом: органы *новые* вырастут... Еще говорят, что контора грозит в начале февраля выдать на каждого фуражного поэта по 200—300 р. аванса. Жаль, не хватило нам времени на более тщательную «доработку» подборок — это было бы «явление на Руси!» Но мы тогда и думать не думали, что наше выстраданное «Гнездо поэтов» исторически окажется последним советским коллективным поэтическим сборником в славном граде Новосибирске. Хотя эта профессиональная художественная связка А. Плитченко — В. Берязев выдала еще и «Мангазею», и «Слуховое окно», и «Старую мельницу» и, с подачи Михаила Щукина (гл. редактор), прекрасную «Горницу»...

У Владимира Алексеевича Берязева-Мангазейского была природная склонность к книгоиздательскому делу: «Слон» Петра Степанова, «Ведьмины слезки» Нины Садур, в 90-м вышли «Июлия» Станислава Михайлова, «Волчья грива» Александра Плитченко, «Стихотворения» Эрты Падериной, потом залпом: «Заблуждения» Маковского, «Незванное» Жанны Зыряновой-Осмоловской, «Спартаковский мост» Анатолия Соколова, «Грустная память» Володи Ярцева, потом Панфилов, Булатов, Степаненко, но первое, в 89-м, было все же «Гнездо».

Наше! Советское! Коллективное! Шампанское! Как было хорошо! Плачь, сердце, плачь... Жили, прямо скажем, небогато, зачастую не имея «ни мяса опосума, ни картошки, ни портвейна». И тем не менее каждый от души вкладывал в общее дело по 100 грамм стихов, а не просто желал инвестировать свои мозги в литературу. Но воздух с каждым днем заметно густел, чувствовалось, что страна дышит тяжело, задыхается. А мы, грешники, продолжали суеверно вить свое артельное «Гнездо»... Боюсь, что мы поступали как матросы, которые так же суеверно крестят водяные столбы надвигающихся смерчей, стреляют в них ядрами из пушек, и те либо останавливаются, либо сворачивают, либо разбиваются... И наконец, о самом приятном, о женщинах: «Любая, но не каждая!» — девиз далекой юности...

...Николай Шипилов с оказией прислал из Москвы драгоценную пленку: написал несколько песен на стихи «гнездовцев», да еще новосибирские записи в свой приезд, у Ивана на фольклорном крыльце, — там и Валера Мальшев ему изрядно подпевал на есенинский манер, и Жанна, единственная авторесса «Гнезда», сильно тянула грубовато-грудным голосом. Хорошо бы к этому добавить Мишин неистовый баян, плюс соколовскую и иорданскую гитары, плюс кларнет Маковского, который наконец-то понял подоплеку непростой обороны за Михаила. Оказалось, что «Гнездо» выдержало все эти ветры-испытания, окрепло, прижилось.

И еще.

...Дело было так: Соколова Толю положили под Академгородком в клинику — предстояло шунтирование. Мы с Володей Ярцевым поехали навестить.

Весна. «Икарус» ревет, по обочине стайкой бегут местные задвинутые джоггеры: бег трусцой под выхлопными газами. Шофер, поравнявшись, иронически выхлопнул им свежую порцию...

Из окна второго этажа больнички Толя показал нам свое седалище, густо испещренное уколами, и выпустил бумажный самолетик со стихами на борту:

В оттопыренном кармане у Дениса —
Трехсемерочный портвейн,
То же самое содержит
Вовы Ярцева портфель.

В вестибюле обнялись, обменялись новостями. Толя, прихрамывая, вышел проводить нас до больничного скверика и выдал пластмассовый стаканчик: весна...

На обратном пути (с другой стороны дороги) была панорама: качающееся на продувном весеннем ветру в осиннике огромное потемневшее гнездо, птицы, сосредоточенно танцующие вокруг него, их ликующие, тревожно-озабоченные крики, — я толкаю Володю в плечо: «Гнездо... поэтов...» Он добавляет: «Так будет называться наш сборник!»



Мария КУЗЬМИНА

ЛИК В ПУСТОМ ИКОНОСТАСЕ

И сказал Господь: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих».

Евангелие от Луки, 31:32

I.

Две стихии XX века не отпускают меня: Великая Отечественная война и гонения на Церковь.

Первая тема — источник национальной гордости. Победа в войне делает страдания миллионов людей как бы искупленными, ненапрасными. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Евангелие от Иоанна, 15:13). Это нравственное правило во все времена спасало нашу страну от внутренних разделений и внешних супостатов. «Никто не забыт, ничто не забыто»: храня память, мы снова и снова воскрешаем погибших, останавливая «силу забвения — силу всепожирающего времени» [10]. Победа в Великой Отечественной войне укоренена в сознании русского человека именно как основание народного единства, а патриотизм — как национальная идея. В контексте государственного строительства обращение к теме победы в войне закономерно: общество должно быть едино, чтобы противостоять внешним вызовам.

Вторая тема — гонения на верующих — тема неудобная. Это прах поражения, стыдливо заметенный под половицы истории. И все же хотелось бы услышать и тех, невинно убиенных, неизвестных, безгласных, чтобы подвиги наших соотечественников покинули гетто исторического небытия и получили законную прописку на страницах, повествующих о людях духа, которыми страна может гордиться.

Название очерка отсылает к одному личному переживанию. Дело было в 2018 году, когда мы с семьей путешествовали по Золотому кольцу и оказались в Ростове Великом. Меня ошеломила внутренняя «мерзость запустения» святого места — Успенского собора Ростовского кремля. Мало того что внутри собора царил пробирающий до костей холод (неотапливаемый храм вымораживался зимой, а весной и летом «отдавал» холод), — на громадном иконостасе с облупленной краской зияли мрачные отверстия с обрывками тряпок вместо икон. Как в заброшенном доме, где давно никто не живет. Дыры в иконостасе стали метафорой призраков прошлого. Многолетнего периода поруганных святынь.

Я обратилась к изучению исторических свидетельств, из которых самыми мощными и в плане воздействия, и в плане смысловом оказались жития пострадавших за веру — новомучеников и исповедников XX века.

Их содержание повергает в трепет и ужас: основанные на протоколах допросов жития замученных за веру в XX веке без лишних эмоций и свойственных агиографическому жанру преувеличений и преданий повествуют о неумолимых фактах. Узнавая о них, невольно задаешься вопросом: «Как можно было все это описать?» А еще «Как вообще такое могло произойти?» Постепенно уму читающего открывается истина: такое может произойти в любое время. Даже сегодня или завтра, потому что природа человека и бесконечная глубина его падения не меняются никогда.

В наше время индивидууму, который мучается в попытках осмыслить жизнь, предлагают обратиться к психологу. Специалист по изучению психики расскажет о необходимости преодоления «травмы» (какая уж тут травма — «ты не ранен, ты просто убит»), выстраивания границ (своевременный совет оказавшемуся в эпицентре землетрясения) и любви к себе. В душе каждого современника имеется портативный алтарь для этого алчного божества. Экологичный, безотходный и толерантный.

Невозможно спасти человека и даже целый народ, который не нашел свой *сверхмысл*. Об акте прорыва «воли к смыслу» как об основе человеческого бытия писал основатель Третьей венской школы психотерапии доктор Виктор Франкл, чудом выживший узник четырех концлагерей. Если следовать интерпретации доктора Франкла, подвиг новомучеников — проявление стержня жизни, которая торжествует «смертию смерть поправ». Франкл считал, что существование человека не аутентично (не удовлетворяет определению человечности), если не проживается как самотрансценденция. Имеется в виду постоянное преодоление самого себя, выход за пределы самости. Речь идет о самопожертвовании — идее, которая в «бездушной» науке о душе заменена целым ворохом запретных моделей поведения. Определяющим императивом в поступке страдания за веру вплоть до смерти является то, что это *личный выбор* в пользу воплощения евангельского идеала. Принимая это положение, мы выводим обсуждение темы мученичества за веру за политические скобки, заостряя внимание на смысловой нагрузке подвига — готовности до конца отстаивать самое дорогое сердцу. Для новомучеников самое дорогое и неотъемлемое — свобода исповедовать веру. Для сражающихся за свою землю — свобода от врага — нацизма, как в XX, так и в XXI веке.

В личностном, *сверхмысловом* подходе мне видится возможность преодоления последствий русской смуты и трагедии XX века. Можно ли примирить красных и белых? Едва ли. Попытка рассудочно осмыслить противоборствующие позиции терпит фиаско. История преподносит все новые факты, которые та или иная сторона бросает в костер ненависти. Чтобы остаться целым, рассудку необходимо выбирать что-то одно. В этом случае вновь рвутся связи, рушатся отношения, множатся споры, в которых истина не рождается. Восстановлением связей занимается религия (лат. *religare* — «связывать снова») и... литература. И в религии, и в литературе сохраняется возможность сосуществования противоположностей, и это единственный *modus vivendi* религии и литературы: истина антиномична и способна устоять лишь в режиме парадоксальности. В отношении религии антиномичность присутствует в книгах Ветхого Завета, Евангелие уже насквозь парадоксально: «Книга, прозрачная как хрусталь, есть в то же время Книга за семью печатями» [10]. Гений, как известно, всегда «парадоксов друг». Пусть невозможно «розу белую с черной жабой... на земле повенчать», но поэт будет стремиться к этому. На то он и поэт.



II.

Размышления над событиями времен Гражданской войны — без преувеличения самых противоречивых лет российской истории — убеждают в необходимости обратиться к провожатым, ценящим свободу личности и видящим ее красоту.

Достоевский и Бродский. И писатель, и поэт считают эстетическое категорией, не подлежащей осмыслению и открывающейся в чувстве. Парадоксальной красоте русского народа удивлялся Достоевский: «Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоты его. Но он сохранил красоту своего образа» [5]. Словно эхом «железному» XIX веку отвечает безумный от жестокости, но не потерявший веру в свой народ век XX:

Мой народ, возвышающий лучших сынов,
Осуждающий сам проходимцев своих и лунов,
Хоронящий в себе свои муки — и твердый в бою,
Говорящий бесстрашно великую правду свою.

Это лишь одно четверостишие из стихотворения Иосифа Бродского «Народ» (1964), но там прекрасна каждая строчка. Анна Ахматова, которой Бродский первой прочитал его сразу по возвращении из ссылки, назвала эти стихи «гимном народу» и записала: «...в смысле пути нравственного это то, о чем говорил Достоевский в “Мертвом доме” : ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович...» [1]

Кроме того, двух гениев объединяет отрицание рационалистического подхода к личности. «...Писатель предполагал, что человек... является существом духовным, — писал Бродский о Достоевском. — Он повествует об этой борьбе — о перетягивании каната — между верой и утилитарным подходом к существованию; о маятниковом движении человеческого духа между двумя безднами: добра и зла» [2]. Глубоко понимающие историю, оба автора пренебрегают историческими обстоятельствами в пользу личностного плана, реализуемого в акте подвига, когда речь идет о пожертвовании ради предмета любви. Целью творчества оба литератора считают духовное возрождение и возвеличивание человека — подобно тому, как Церковь считает целью жизни человека стяжание Духа Святого, обожение. Достоевский и Бродский, к творческому подходу которых я обращаюсь для осмысления пути мучеников за веру, обеспечивают верную методологию работы с материалом, используя принцип соответствия объекта и метода.

Бродский объясняет принцип историчности, который в этом очерке стал оправданным моментом в обращении к прошлому: «Мы, чтобы понять, что произошло, должны отождествить себя с жертвой, а не с уцелевшим и не с наблюдателем. Однако на деле история — искусство наблюдателей, поскольку главная черта жертв — их молчание, ибо убийство делает их безгласными» [3].

Прежде чем перейти непосредственно к теме очерка, приведу отрывок из «Дневника писателя», где Достоевский описывает один случай, основные черты которого пророчески повторяются спустя несколько десятилетий в страданиях верующих России в XX веке. В 1875 году в безвестности и униженности был замучен за веру в турецком плену русский унтер-офицер Фома Данилов. Ему предлагали выбор между отречением и мучительной смертью.

«...Но несмотря на все, что его ожидает, этот неприметный русский человек принимает жесточайшие муки и умирает, удивив истязателей. Знаете что, господа,



ведь из нас никто бы этого не сделал. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но ведь тут дело произошло в совершенной безвестности, в глухом углу; никто-то не смотрел на него; да и сам Фома не мог думать и, наверно, не предполагал, что его подвиг огласится по всей земле Русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первых веков христианских, отчасти были утешены и облегчены, принимая свои муки, тем убеждением, что смерть их послужит примером для робких и колеблющихся и еще больших привлечет к Христу. Для Фомы даже и этого великого утешения быть не могло: кто узнает, он был один среди мучителей...» [6] Именно полное одиночество и безвестность — новый ореол русской святости. Нет иных мотивов, кроме одного — не предать то, что составляет сущность человечности.

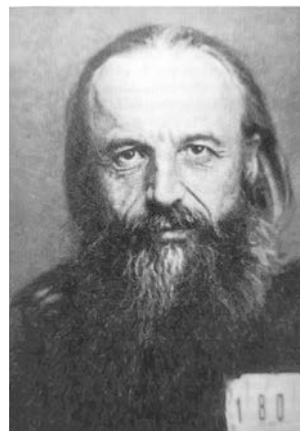
Пришло время обратиться к главному герою очерка — молчаливому лику среди шумной толпы кумиров современности. Мы посмотрим друг на друга, а потом лик заговорит.

III.

Со страниц житий новомучеников на нас смотрит черно-белая фотография: лицо с умными и слегка насмешливыми глазами, губы тронуты едва заметной улыбкой, обозначая зримый след сокровенного знания. Это священномученик Василий (Зеленцов), человек неумолимой воли, крепкого духа и глубокой эрудиции. Снимок сделан в... тюрьме, когда ему сообщили о вынесенном приговоре — расстрел. Этот человек улыбается, зная, что совсем скоро его ждет казнь в полной безвестности. Как может радоваться узник перед расстрелом? Как можно быть умным, образованным человеком, тонко воспринимающим жизнь, знающим всю ее несправедливость, и так глядеть на мучителей перед смертью? Возможно, именно бесстрашие перед лицом смерти и послужило спусковым крючком для размышлений и выводов, которые сплелись венцом, ореолом вокруг фактологии жития новомученика Василия, взятой из книги доктора исторических наук игумена Дамаскина (Орловского) «Жития новомучеников и исповедников российских XX века. Январь» (это первая книга многотомного издания).

Основой «Житий...» игумена Дамаскина стали исключительно документы и подтвержденные архивами факты. Читаешь текст, и действующие лица ожидают: по докладным, заметкам, текстам допросов и приговоров, письмам людей видишь, как выживали, учились и учили люди того времени. Особенно распаивается во всем своем величии и упадке духовная жизнь. Одни превращаются в предателей, а другие делают свое дело на своем месте. Кто-то с трудом и страхом, но держится, кто-то бесстрашно и безрассудно, не прогибаясь и не сгибаясь, шагает по жуткой жизни...

Василий Иванович Зеленцов родился 8 марта 1876 года в семье священника и получил хорошее образование: в 1900 году он окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Он служил помощником инспектора в Красноярской духовной семинарии, затем был назначен учителем русского языка в Мариупольское духовное училище. Исторически и географически — как крупный портовый город — Мариуполь был пестрым по конфессиональным



предпочтениям населения. В свободное от преподавания время Василий Иванович вел обличительную борьбу с мариупольскими сектантами. Именно этот род деятельности был ему ближе всего. Он хорошо знал церковную догматику, Священное Писание и историю конфессиональных конфликтов на западных землях Российской империи.

В 1912 году Василий остался единственным кормильцем своей большой семьи. Его отец, прослуживший в сельской церкви тридцать восемь лет, вышел за штат, а на иждивении у него находились дочь, учившаяся на высших женских курсах в Москве, и жена покойного сына с шестью маленькими детьми. Василий просил начальство перевести его поближе к семье, в Рязанскую епархию, чтобы он мог помогать родным, но его ходатайство не было удовлетворено. Несмотря на то, что в нем отчаянно нуждалась семья, не менее сильна была нужда в горящем верой и образованном слуге в епархии на территории беспокойных западных российских земель. В 1914 году Василий Зеленцов был назначен мариупольским окружным миссионером Екатеринославской епархии, много проповедовал на богослужениях и крестных ходах.

В 1917 году открылось заседание Поместного собора Русской православной церкви. В Москве, куда отец Василий прибыл для участия в соборе, было неспокойно. Третья сессия собора проходила в июле — сентябре 1918 года в Московском епархиальном доме в Лиховом переулке. Поскольку на улицах Москвы, ставшей с марта 1918 года столицей Российской республики, происходили вооруженные столкновения, участникам собора приходилось добираться до места с крайней осторожностью и риском для жизни.

На этом историческом соборе впервые со времен Петра I был избран патриарх. Им стал архиепископ Тихон (Белавин). Восстановление патриаршества после двухсотлетнего синодального периода, да еще в условиях разрушающихся государственных устоев, было необходимо для выживания Русской православной церкви. Решением собора Церковь «была добыта независимость» [9], которую отец Василий готов был отстаивать любой ценой. Участники собора не могли предполагать, к каким изменениям во всем укладе жизни приведут происходящие в стране события и с каким государством им придется иметь дело, поэтому высказывались разные мнения. Василий Иванович выступил на соборе: «Мы должны ожидать целого ряда законов, которые будут вредны для Церкви... Церковь есть Царство Христово, “Царство не от мира сего”. Пусть государство — тоже богоустановленное учреждение. Они могут быть в союзе, но Церковь никак не должна быть подчинена государству, как было с Петра Великого, когда на Церковь смотрели как на ведомство православного исповедания и Церковь была признана культурно-просветительским учреждением, находящимся в подчинении у государства. Церковь по своей природе и происхождению самостоятельна» [7].

Когда на Поместном соборе стало известно, что в Киеве созывается собор украинских епископов и назревает церковный раскол, Василий Иванович Зеленцов выступил с резкой критикой самой идеи Украинского собора и автокефалии Украинской церкви. Отец Василий утверждал, что Украина не смогла сохранить православие и дошла до унии (объединения с католиками). При Петре I влияние малороссийских архиереев на императорский двор способствовало упразднению патриаршества. В 1918 году Василия Зеленцова назначают миссионером в Полтаву, где в 1919 году он стал священником в Троицкой церкви. В 1917—1919 годах Полтава переходила из рук в руки. Приход

каждой новой власти сопровождался беспорядками, разгромами, убийствами. После отхода войск Деникина город покинула бóльшая часть духовенства, но отец Василий остался. Он продолжил заботиться о бедных прихожанах и миссионерствовать: пешком обходил окраины города для проповеди в среде сектантов, баптистов, католиков и евреев. Кроме помощи бедным, он содержал четырех сирот — детей умершего брата.

IV.

Приближалось время, когда такой желанный отцом Василием путь миссионера сжимался до «узких врат», которыми начиналась тернистая тропа на гору страданий.

В 1922 году начинается изъятие церковных ценностей под предлогом помощи голодающим. Отец Василий обращается к прихожанам с призывом жертвовать хлеб для голодающих, а властям говорит: «Мы дадим вам вдвое и втрое больше, но не трогайте наших храмов» [7]. Он выступал противником передачи властям богослужебных предметов, будучи уверен, что до голодающих они не дойдут. 30 мая 1922 года отец Василий был арестован и заключен в тюрьму в Полтаве. Первое время он находился в общей камере и все продукты, которые ему передавали, раздавал заключенным. Нравственное влияние священника на остальных узников было столь велико, что отца Василия перевели в одиночку.

Затем над отцом Василием устроили публичный показательный судебный процесс. Государственным обвинителем был сын священника с Западной Украины Бендеровский, а в качестве свидетеля выступил начальник Полтавского ГПУ латыш Линде. В последнем слове отец Василий говорил: «Я уже заявлял вам и еще раз заявляю, что я лоялен к советской власти как таковой, ибо она, как и все, послана нам свыше... Но где дело касается веры Христовой, касается храмов Божиих и человеческих душ, там я боролся, борюсь и буду бороться до последнего моего вздоха с представителями этой власти; позорно, грешно было бы мне, воину Христову, носящему этот святой крест на груди, защищать лично себя, в то время как враги ополчились и объявили войну Самому Христу. Я понимаю, что вы делаете мне идейный вызов, и я его принимаю...» [7]

Отца Василия обвинили в числе прочего в содействии деникинцам и в призывах вступать в белую армию. 12 августа 1922 года был оглашен приговор: «гражданина Зеленцова Василия Ивановича — расстрелять». Однако по кассационной жалобе адвоката в Верховный трибунал смертный приговор был заменен на пять лет тюремного заключения. «Услышав, что приговор изменен, отец Василий огорчился», — отмечает агиограф [7].

Срок отец Василий отбывал в общей камере и пользовался среди заключенных, включая уголовников, огромным уважением и любовью. Они его звали «наш отец», «наш батюшка», «наш Василий» и защищали от произвола тюремного начальства. Отец Василий был досрочно освобожден в 1925 году. Возвращаясь в Полтаву, он забрал с собой ребенка скончавшейся нищей женщины, которая до этого сидела под окнами тюрьмы, и воспитывал его вместе с другими четырьмя детьми.

С 1920-х годов усиливается направленная против канонической Церкви активность мирян, смецлавших неугодных церковных деятелей. Светские политические разногласия переносятся на жизнь церковную и разделяют единство Церкви, утягивая верующих в раскол [8]. Отец Василий приглашал в Троицкий храм





тех священников, которые были сторонниками движения к украинской автокефалии, чтобы прихожане послушали их и убедились в слабости их раскольнической позиции. Так и произошло: выслушав раскольников и отца Василия, прихожане уже не имели сомнений в том, что в этом новом малороссийском религиозном движении нет правды. Проповеди отца Василия имели сильное влияние, так как он сам имел тот дух, к которому призывал своих прихожан: «никаких поблажек им, никаких компромиссов с ними, бороться и бороться с врагами Христа, не бояться пыток и смерти, ибо страдания за Него — высшее счастье, высшая радость» [7]. В 1925 году отец Василий был пострижен в мантию — стал монахом. В том же году тайно прибывший в Полтаву епископ Дамаскин (Цедрик) произвел хиротонию отца Василия. Теперь он стал епископом Прилукским, викарием* Полтавской епархии. Бесстрашная позиция миссионера не давала покоя властям, целью которых было запугать и сломить сопротивление верующих, вследствие чего отца Василия неоднократно вызывали на допросы в ОГПУ.

Записи допросов новомучеников и исповедников веры свидетельствуют об этих заключенных как об образованных, думающих людях. Они хорошо разбирались в законах нового советского государства, понимали положение Церкви в государстве, место и обязанности новой власти по отношению к Церкви, официально декларируемые и прописанные в законе, но не исполнявшиеся. Подтверждением тому служит переписка священнослужителей, находившихся в тюрьмах и лагерях, с представителями советской власти. Однако тем силам, которые боролись с Церковью, законные основания были нужны как прикрытие, а также для того, чтобы лишить мучеников за веру их мученической славы. Их официально ссылали и расстреливали не за веру, а за шпионаж в пользу иностранных государств, контрреволюцию и по другим политическим статьям.

Против владыки Василия, сторонника патриарха Тихона, выступал сначала один из ключевых агентов влияния ГПУ в конфессиональной среде украинский националист С. Карин-Даниленко [4]. После заключения епископа Василия в Бутырскую тюрьму его делом занялся начальник Секретно-политического отдела ОГПУ Е. А. Тучков. Легендарный в своем роде Тучков, получивший звание заслуженного чекиста за деятельность по уничтожению православия на русской земле, сыграл ведущую роль в отделении украинской православной церкви от патриаршей. С кончиной патриарха Тихона цель создания управляемой структуры, в которую бы вошли епископы-раскольники, стала еще ближе. В 1925 году, после ареста патриаршего местоблюстителя митрополита Петра, был создан Временный высший церковный совет, который был задуман как подчиненный советской власти епископский совет без патриарха. Епископ Василий встречался и беседовал с епископами — членами совета. Для него было очевидно, что, согласившись на условия Тучкова, Церковь встанет на неканонический путь.

Епископа Василия, как «тихоновца», арестовали в 1926 году. Из Бутырской тюрьмы его направили на три года в концентрационный лагерь на Соловки. В октябре 1928 года епископ Василий был досрочно освобожден и переправлен в ссылку в Сибирь, в Иркутскую область, а в конце 1929 года последовало новое постановление о его аресте. Его опять отправили в Москву, где с ним в переговоры вступил Тучков... Епископ Василий, не изменивший бескомпромиссной позиции в отношении защиты православия, был приговорен коллегией ОГПУ к расстрелу; приговор был приведен в исполнение 7 февраля 1930 года.

* Викарий — помощник правящего епископа.

V.

...Две темы XX века не отпускают меня: тема Великой Отечественной войны и тема гонений на Церковь. Какими бы жаркими ни были споры о самой возможности сравнения, сопоставления жертв Великой войны и Великих страданий за веру, есть единственное место, где эти споры утихают, поскольку лишаются смысла. Это кладбище.

На Ваганьковском кладбище похоронен мой дед, старший лейтенант артиллерийской разведки, прошедший всю Великую Отечественную войну, от Волховского фронта до Кенигсберга. Он отдал Родине лучшие годы жизни, один глаз, три пальца и чуть не лишился ноги, испещренной осколками. «До следующей встречи» — написано на могиле у дедушки на Ваганьковском кладбище. Епископ Василий нашел свой последний земной приют гораздо раньше. Он похоронен в неизвестной могиле. Хочется, чтобы могила замученного священнослужителя, человека Духа не была больше неизвестной, чтобы история его борьбы влилась в могучий поток бессмертного полка наших предков — защитников истины.

Родные люди, соотечественники, отдавшие жизни за землю и за веру, — они становятся единым целым, одной землей, из которой все мы взяты и куда мы все возвращаемся (Бытие, 3:19), обращаясь в тот самый «ни в чем не замешанный прах», как писала Анна Ахматова.

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

Литература.

1. Бондаренко В. Величие замысла // Литературная газета, 2015. — № 21 (6510).
2. Бродский И. Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому // Континент, 1986. — № 50. — С. 229–234.
3. Бродский И. Профиль Клио / И. Бродский. О скорби и разуме: Эссе. — СПб.: Издательская группа «Лениздат», «Книжная лаборатория». — 2017. — С. 126–153.
4. Веденеев Д. В. Инспиратор церковных расколов 1920-х — начала 1930-х гг. на Украине (страницы биографии чекиста Сергея Карина-Даниленко) // Петербургский исторический журнал, 2015. — №2 (6). — С. 208–220.
5. Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 1876, февраль, I гл. // Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 томах. — Л.: Наука, 1981. — Т. 22. — С. 39–50.
6. Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 1877, январь, I гл. // Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений: в 30 томах. — Л.: Наука, 1983. — Т. 25. — С. 5–17.
7. Жития новомучеников и исповедников российских XX века. Январь / сост. Игуменом Дамаскиным (Орловским). — Тверь: Изд-во «Булат», 2005. — С. 317–337.
8. Заев В. История церковных расколов в Украине в XX веке [Электронный ресурс] / Документы различных областей. — Режим доступа: <https://refdb.ru/look/2808070-pall.html>, свободный. — Загл. с экрана.
9. Зёрнов М. В. Вселенская Церковь и русское православие [Электронный ресурс] / Православный портал «Азбука веры». — Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Zernov/vselenskaja-tserkov-i-russkoe-pravoslavie, свободный. — Загл. с экрана.
10. Флоренский П. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двадцати письмах. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2017.

Прямая речь

Владимир Алексеев: «ВСЕ МЫ НЕМНОЖКО СТАРООБРЯДЦЫ!..»

ЕЩЕ ОДНО ОТКРЫТИЕ СИБИРИ

— Итак, в отечественной археографии появилась уникальная «сибирская методика», которую академик Лихачев назвал «открытием Сибири»! Что потом?

— Первая экспедиция состоялась в 1965 году. В дальнейшем археографы отправлялись в путь по Сибири раз, иногда два раза в год. В результате археография оказалась одним из ведущих гуманитарных направлений в Сибирском отделении Академии наук СССР.

Такой статус она приобрела исключительно благодаря энтузиазму, настоящему подвижничеству Елены Ивановны Дергачевой-Скоп, стоявшей у истоков сибирской археографии. Защитив в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) кандидатскую диссертацию, оппонентами которой выступили академик Д. С. Лихачев и будущий академик А. М. Панченко, Елена Ивановна получила от одного из основателей гуманитарного факультета, профессора К. А. Тимофеева, приглашение на работу в недавно созданный Новосибирский университет. Как специалист в области древнерусской литературы, она читала на гуманитарном факультете множество разнообразных курсов, вела семинары, практические занятия со студентами, проводила студенческую фольклорную и археографическую практику. Для многих студентов она стала не только наставником и учителем, но и другом.

Началу археографической работы в Сибири активно способствовал секретарь Отделения исторических наук, председатель Археографической комиссии АН СССР М. Н. Тихомиров. Перед смертью Михаил Николаевич завещал свое уникальное собрание древнерусских книг, исторических документов и икон Сибирскому отделению Академии наук СССР. Количество предметов собрания значительно превышало тысячу экземпляров. Самые ранние были датированы



Участники одной из первых археографических экспедиций в Забайкалье. 1968 г.

Владимир Алексеев: «Все мы немножко старообрядцы!..»

XIII—XIV веками. Характерно, что произошло это после публикации отчета о первой нашей сибирской экспедиции в 1965 году в «Археографическом ежегоднике» в Москве.

— **Как вы познакомились с академиком Лихачевым?**

— Впервые я встретился с Дмитрием Сергеевичем в Ленинграде, во время защиты диссертации Елены Ивановны Дергачевой-Скоп. Когда он в 1969 году приезжал в Новосибирск, я служил в армии. После четырех экспедиционных сезонов наша команда стала достаточно широко известна. Мы опубликовали научные результаты своих археографических поездок. Советская пресса отнеслась к подобным изысканиям с большим интересом... Группа молодых советских ученых ездит по глухим закоулкам Сибири и разыскивает древние книги! Материал почти сенсационный! Люди, о которых рассказывали всесоюзные газеты, приобретали всеобщую известность. Ведь интернета еще не было!

Дмитрий Сергеевич уже тогда был одним из крупнейших академиков-гуманитариев, признанным в научных кругах СССР и всего мира. Поэтому его приезд в Новосибирск стал для научной общественности города большим событием. Когда он посетил библиотеку, ему показали наш отдел редких книг и рукописей и рассказали о работе подразделения, единственным штатным сотрудником которого и до службы в армии, и после нее был я... (Смеется.)

Через некоторое время после демобилизации мне и Елене Ивановне предложили поехать на трехмесячную стажировку. В те времена стажировка для молодых сотрудников Академии наук предполагалась либо в Москве, либо в Северной столице. Мы оба мечтали поработать в Пушкинском Доме и питерских библиотеках. От перспективы окунуться в питерскую научную жизнь

и в богатейшие хранилища памятников древнерусской книжности отказаться было невозможно! Вскоре мы оказались на стажировке в Отделе древнерусской литературы Пушкинского Дома, возглавляемом Д. С. Лихачевым.

Лихачев проявил интерес к нашей работой и вместе с А. М. Панченко написал статью об «археографическом открытии Сибири». В ней были подробно описаны сибирские находки и оценено их значение с точки зрения истории литературы. После этого мы начали смотреть на свою работу как на вклад не только в историю литературы, но и в культуру нашей страны. Мы осознали, что старые книги есть отражение духовной жизни человека. Это значительно расширило горизонты научного поиска. Если смотреть с более широких общекультурных позиций, археографические находки в Сибири открывали новые возможности для постижения собственной истории.

Судите сами: начиная с середины XVII века, уходя от религиозного преследования в глухую Сибирь, старообрядцы забирали с собой из России самое для себя ценное. Получается, книги составляли неотъемлемую часть духовной жизни простых людей того времени!

Однажды нам попала в руки толстенная — в две ладони толщиной — рукописная книга с нотами, писанными крюками. Так записывали музыку в России вплоть до конца XVII века. На этом фолианте сохранился фрагмент записи о том, что сию книгу кто-то продает в 1642 году в Якутском остроге на великой реке Лене... Из этого можно сделать выводы, что некий русский человек полтысячелетия назад пешком или на перекладных тащил тяжеленную книгу с собой «на великую реку Лену»! Если считать от Москвы, он проделала путь почти в девять тысяч километров! Это полгода пути, в течение которого вышеупомянутый том приходилось нести на себе!

Вместо того чтобы положить в переметную суму лишний куль сухарей или пшена, пороха, свинцовых пуль или хотя бы запасной топор, человек берет с собой нотную книгу. Почему? Кто он такой? Ведь знать крюковую нотную грамоту мог только весьма искушенный в этом вопросе человек!

Раз мы пришли к выводу, что эта книга была крайне важна для обладателя, сам факт ее продажи говорит о крайней нужде. И на задворках Российской империи находится человек, готовый заплатить деньги, чтобы, как и прежний хозяин, обладать этой духовной ценностью!

— **Крайне интересно!**

— Мне тоже! Я носил эту книгу в милицейскую криминалистическую лабораторию с просьбой восстановить целиком надпись о продаже. Была надежда, что по документам, касающимся Якутского острога, мы сможем установить личность хозяина книги и проследить хотя бы часть его жизненного пути. К сожалению, криминалистика помочь не смогла...

Записи и пометки на полях книг — целый пласт для изучения. Есть вещи совершенно душещипательные! Вспомним надпись: «Доживу ли я до будущего года? Буду ли читать эту книгу?» Всего несколько слов, а как много они говорят! Всего несколько слов, а как много нам говорит эта запись о ее авторе! Ведь, по сути, этими двумя фразами он выражает суть человеческого существования, как он сам это понимает: дожить до будущего года — для чего, с какой целью? — чтобы читать книгу, «лекарство душевное»! Потрясающе просто! И пишут ведь простые люди...



Прогулка в дачном поселке Комарово под Ленинградом. Слева направо: Н. Ф. Дробленкова, Е. И. Дергачева-Скоп, А. Дробленков, Д. С. Лихачев, О. П. Лихачева, О. А. Адрианова. 1973 г.

— Эти нюансы выходят за рамки истории древнерусской литературы...

— Конечно! Дмитрий Сергеевич Лихачев был тонким знатоком всего, что имело отношение к русскому средневековью, и понимал подобные детали очень хорошо.

Помню, как мы с Еленой Ивановной в начале 1970-х навестили Дмитрия Сергеевича на даче в Комарово, дачном поселке Академии наук СССР. Он был бодр, полон сил и предложил перед обедом прогуляться по дачному поселку. И мы «гуляли» не менее трех часов! Беседа получилась крайне занимательной... На экраны Советского Союза как раз вышел фильм Тарковского «Андрей Рублёв». О нем мы и спорили!.. Дмитрий Сергеевич был категорическим противником этого фильма. Говоря об этой киноновинке, он просто негодовал!

— Что его так вывело из себя?

— То, что с точки зрения исторической достоверности изображенное в кино не имеет никакого отношения к русскому средневековью! Я же пытался доказать, что Тарковский не ставил перед собой задачу показать зрителю именно это. Пользуясь древнерусской тематикой как аллегорией, он пытался показать взаимоотношения художника и власти в современную ему эпоху.

Достаточно вспомнить один из самых, на мой взгляд, гениальных эпизодов, где Ролан Быков играет скомороха. Или сцена, когда дружинники князя догоняют художников, выполнивших работу по росписи храма, и ослепляют их всех.

По итогам спора каждый из нас остался при своем. Жаль, потому что фильм гениальный!

— В чем же была суть претензий уважаемого академика?

— Взять хотя бы парня, который ладит крылья... Эта легенда была развенчана еще в советские времена! С точки зрения историка эпизод с летящим



мужиком в «Андрее Рублёве» сомнителен. Но с точки зрения искусствоведа — это гениальный ход! В нашей стране всегда были, есть и будут люди, стремящиеся подняться над обыденностью! И совершенно не важно, был ли в истории России этот «воздухоплаватель».

Эпизод с ослеплением иконописцев тоже легенда, не имеющая исторических оснований. Зато она абсолютно органично ложится на главную, основную мысль киноленты: о вечном конфликте искусства и власти. Я бы даже уточнил: о вечном конфликте истинного художника, творца, и жестокой до безобразия власти!..

— Каков Лихачев был в работе?

— Его сотрудникам с ним было, безусловно, интересно работать. У него было чему поучиться. Внешне он казался человеком, лишенным каких-либо эмоций. Но теперь я понимаю, что в его душе всегда шло очень интенсивное движение...

В Пушкинский Дом и в Отдел древнерусской литературы вход был свободный. По средам в отделе проходили заседания. Выглядели они так: кто-то выступал с докладом, после чего начиналось обсуждение. Доклады предполагались самые разнообразные. Критерий был лишь один: тема должна быть интересной. Практически любой человек мог заявить тему и ему давали слово!

Помню, был доклад о древнейшем кондакарном нотном письме, которое иные исследователи называют исконно русским, а другие — византийским. Оно по сей день до конца не расшифровано. Тем не менее ученые из Ленинградской консерватории уже тогда сумели продемонстрировать с помощью приведенных на доклад исполнителей, как звучит пение по этим загадочным нотам...

Также ученые были заинтересованы в расшифровке музыки, записанной древнерусскими крюками. Первым расшифровывать крюки начал ленинградский ученый-музыковед Максим Викторович Бражников. В результате звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила большую двойную пластинку, на которой Русская хоровая капелла исполнила древнерусские песнопения!

Кстати, к Бражникову в аспирантуру Ленинградской консерватории вскоре поступили двое молодых людей из Новосибирска — Борис Александрович Шиндин и Альбина Никандровна Кручинина. Кручинина первой из музыковедов стала ездить с нами в экспедиции. Ее заинтересовало предложение не заниматься расшифровкой крюков в тиши питерских кабинетов, а записывать живое исполнение старинных песнопений нынешними старообрядцами.

— Неужели старообрядцы до сих пор читают крюки?

— Читают и поют по своим древним записям. Да еще как поют!.. Мы исходили из того, что, если появится не только запись на бумаге старинного музыкального текста, но и аудиозапись старообрядческого исполнения этой музыки, это намного облегчит работу исследователей. И оказались правы! Обработка результатов наших экспедиций идет по сей день.



Древнерусская крюковая нотная рукопись

В специализированной литературе периодически появляются описания нотных рукописей, которые нам удалось собрать.

КНИГИ ИМЕЮТ СУДЬБУ

— Многих людей наверняка заинтересует вопрос, сколько древних книг вам удалось собрать на территории Сибири за полвека?

— Количество измеряется тысячами экземпляров. Они дают очень богатую пищу для размышлений. Книга — единственное живое свидетельство, дающее достоверное представление о мыслях, духовных интересах и чувствах русских людей прошлых веков. Любая библиотека несет на себе функцию сосредоточения духовных и культурных интересов человека разных эпох. На самом деле эта функция главная, только мы этого часто не замечаем... Зайдите в любую районную библиотеку Новосибирской области. Поинтересуйтесь, какие книги из их фондов наиболее востребованы читателями. И вы получите достоверный срез духовных запросов и интересов читательской аудитории этого района.

Как-то раз я из Российской исторической библиотеки привез в Новосибирск два контейнера редких книг. Это были книги, вывезенные из Германии по окончании войны. Как дублетные экземпляры они были не востребованы и хранились в подвалах московской библиотеки. Мне было разрешено покопаться среди этого богатства, выбрать, что сочту нужным, и отправить в ГПНТБ.

Две недели сидел в их запасниках. Поскольку ГПНТБ — научная библиотека Сибирского отделения Академии наук, моей задачей было выбрать книги, отражающие развитие европейской науки. Набралось целых два контейнера!



Древние манускрипты — книжные сокровища Сибири





Там были прижизненные издания Исаака Ньютона, Иоганна Кеплера, Антуана Лавуазье и много другого... Это были не просто книги, а произведения искусства с роскошными гравюрами! Стоило прилюдно развернуть страницы с иллюстрациями, к ним мгновенно возникал всеобщий, а не только научный интерес!

...Когда контейнеры пришли в Новосибирск, мы устроили выставку о европейской науке в библиотеке недавно открывшегося Дома ученых Академгородка. Нужно было видеть, как академики приходили взглянуть на прижизненные издания своих предшественников! Гравюра «Новейшие опыты с магдебургскими полушариями» XVII века, где изображены две упряжки по восемь лошадей, пытающиеся разорвать полусферы, из которых выкачан воздух, глубоко восхитила директора Института ядерной физики академика И. Г. Будкера. «Это шедевр, — восклицал он. — Я не подозревал, какого качества и размера эта гравюра! Высокая наука здесь соединяется с высоким искусством!»

Выставка имела огромный успех. Посмотреть на эти уникальнейшие книги пришла значительная часть жителей Академгородка. Тогда в городке царил совсем иная атмосфера. Помню обычный день. Иду по улице, а навстречу — Юрий Иванович Кулаков, физик-теоретик. Идет в огромном рыжем мольеровском парике и декламирует наизусть стихи! Ныне такое и представить невозможно.

Очень нам помогал советский математик академик Михаил Алексеевич Лаврентьев. Поскольку лично до него добраться было затруднительно, мы часто действовали через его жену Веру Евгеньевну. Самого Лаврентьева за глаза величали Дедом, а ее — Бабой Верой... Она ходатайствовала перед Михаилом Алексеевичем по нашим книжным делам. Если возникали сложности с деньгами на поездки, Баба Вера всякий раз живо откликнулась и — глядишь! — по распоряжению Президиума Сибирского отделения деньги для нас чудесным образом находились!

В постсоветские годы Министерство культуры России под руководством министра Михаила Ефимовича Швыдкого принялось безвозмездно возвращать в Германию из спецхранов, музеев и библиотек большое количество так называемых «перемещенных культурных ценностей». Параллельно было приостановлено издание каталогов культурных ценностей, похищенных у нас или уничтоженных Германией во время Великой Отечественной войны.

Немцы пунктуально зарегистрировали, что, когда и кем было из Германии вывезено в 1945 году. Они не просто записали в гроссбухи свои потери и сложили в архив! На полки в книгохранилищах они поставили так называемые заместители, окрасив их в определенный цвет. На их обложках есть все: название, автор, год издания, типография, тираж... Нет только самой книги. По окраске этого заместителя все понимают: книга утрачена после Второй мировой войны. Постоянное, каждодневное напоминание. Ненавязчивое, но незабываемое!

Мы были не согласны с тем, что должны вернуть в Германию эти, как их называли, «хендехохнутые» книги. Во-первых, потому, что это могло положить начало нивелированию итогов Великой Отечественной войны. Во-вторых, эта акция напоминала унижительную процедуру возврата пойманым за руку ворихой украденной им вещи. Советские солдаты не были ни ворами, ни мародерами! Вывозя из Германии определенные культурные ценности, Советский Союз компенсировал ущерб, нанесенный немцами нашей стране за время их вторжения.

Коснулась эта история и меня. Немецкая сторона настаивала, чтобы трофейная литература, что была привезена мною еще в конце 1960-х годов из Русской исторической библиотеки в Новосибирск, была возвращена в Германию.

Этой экспансии было необходимо что-то противопоставить. Для начала я сделал доклад на международной конференции по перемещенным ценностям, которая проводилась в Москве. Смысл моего выступления заключался в том, что полвека, прошедшие с момента окончания войны, эти книги, по крайней мере, в Сибири, были в работе. В доказательство я ссылался на научные публикации, сделанные с использованием этих изданий. Я говорил, что их изъятие из оборота станет серьезным ударом по культуре и науке Сибири. Новосибирск является одним из ведущих центров сибирской, российской и мировой науки. Как можно оставить центр мировой науки без литературы по истории этой науки?!

Доклад опубликовали, и все утихло. Но лишь на время... Пошла вторая волна претензий. Поначалу на нас шли в атаку государственные библиотеки ФРГ. Потом на горизонте появились частные немецкие антиквары... На мой резонный вопрос: «Какое отношение вы, господа частники, имеете к перемещенным культурным ценностям и межгосударственным отношениям?» — они бормотали о разрешении, выданном некоей правительственной комиссией...

Выглядело это анекдотично. Но в те «веселые времена» для авантюристов на любом уровне не было ничего невозможного. Поэтому я предложил компромисс: поскольку эти книги стали важным элементом духовной жизни современной Сибири, но вы, господа, тоже желаете их получить, давайте сообща сделаем электронную версию интересующих вас книг, хранящихся в Новосибирске. За немецкие деньги! А после этого будем решать по каждому конкретному экземпляру: кому — оригинал, а кому — электронный носитель с копией. Впрямую я про деньги не говорил, но по тем безденежным для культуры России временам это было понятно само собой! После этого предложения все удивительным образом быстро затихло!

— Кроме немецких антикваров, у кого-то возникало желание завладеть книгами из вашего отдела?

— Была попытка украсть редкую книгу из читального зала. У нашего отдела еще не было своего читального зала, и мы были вынуждены выдавать литературу в залы общие. Книга оказалась уникальная — один из пяти известных экземпляров последнего издания типографии Николая Новикова XVIII века.

Этот тираж полностью не вышел в свет. По указу Екатерины II большая часть тиражей новиковских изданий была в 1788 году сожжена, а сам он арестован и отправлен в Шлиссельбургскую крепость... Я когда узнал об этом, просто обмер! Позже следователь донимал меня:

— Скажите, сколько эта книга стоит?

— Нисколько не стоит, — отвечал я. — Она библиотеке досталась по обмену, мы за нее ничего не платили!

Это была правда. По бухгалтерским документам книга была оценена в 0 рублей 00 копеек.

Но следователь не успокаивался. Ему нужно было указать стоимость похищенного в деле. В те времена закон предусматривал за кражу материальных



ценностей на сумму до 50 рублей более мягкую ответственность, нежели на сумму, этот порог превышающую. Пришлось объяснять почти на пальцах.

— Вот какая у вас, товарищ следователь, любимая картина русской живописи?

— «Бурлаки на Волге»!

— Ну и сколько рублей, по-вашему, она может стоить? Сможете оценить?

— Не смогу!

— Вот и у нас с этой книгой — та же самая ситуация!

С букинистами Москвы и Ленинграда я в те времена поддерживал постоянную связь. Они целыми бандеролями присылали мне списки литературы, которая могла заинтересовать Государственную публичную научную библиотеку Сибирского отделения Академии наук СССР. Иной раз с их помощью библиотека делала ценные приобретения. Не скажу, что убедить наших распорядителей финансами в целесообразности выделить деньги на приобретение того или иного редкого интересного экземпляра было легко. Но у меня получалось внятно объяснить руководству необходимость покупки. То были воистину благословенные времена, когда книга еще имела ценность в общественном мнении...

— У меня к вам личный вопрос... Вы всю жизнь имеете дело с редкими книгами. Не хотелось их коллекционировать?

— Я бы разделил коллекционирование на два вида. Первым видом я и занимаюсь всю жизнь, коллекционирую интересные книги для библиотеки, за деньги библиотеки, и принадлежат эти книги всем. По словам А. И. Герцена, они «брошены в общественное употребление» и будут доступны любому читателю сегодня и в будущем.

О коллекционировании для себя лично я никогда не помышлял. Во-первых, я в душе не собственник-коллекционер. «Весь день минуты ждал, когда сойду / В подвал мой тайный, к верным сундукам...» (А. С. Пушкин, «Скупой рыцарь») — это не мое.

Во-вторых, я всегда четко разделял служебный интерес и личный, частный... Однажды уже в постсоветские времена я обнаружил у букиниста два изящных, любовно переплетенных в прекрасные полукожаные переплеты томика. Раскрыл и ахнул! Французское издание конца XIX века двух произведений Льва Толстого — «Михаил» («Чем люди живы») и «Смерть Ивана Ильича». Первое прижизненное издание произведений русского писателя-классика на французском языке! В переводе сербского князя Божидара Карагеоргия, бабушке которого в 1820 году молодой Александр Пушкин посвятил стихотворение! Этому изданию место в библиотеке, где оно станет предметом восхищения и изучения многих людей! Бегу в библиотеку, убеждая всех, от кого это зависит, что нужно купить эти издания! Результат нулевой, денег нет. Каждый день справляюсь, не купил ли кто эти книжные жемчужины? Запускаю идею покупки на другой уровень. Результат тот же. Наконец, дожидаюсь дня выдачи зарплаты, прибавляю к ней свою пенсию, покупаю книгу и дарю ее библиотеке.

При этом я очень хорошо понимаю коллекционеров. Первым чувством, которое возникает при знакомстве с уникальной книгой, является восхищение. Вторым — желание обладать этим экземпляром. У меня всегда преобладала тяга к обладанию совместно с другими людьми, способными разделить мой восторг перед книгой...

Однажды в глухом краю мы нашли книгу, считающуюся первой напечатанной на Руси. Это был знаменитый «Апостол» типографии первопечатника Ивана Федорова, изданный в Москве в 1564 году. Ее владелец, не устоявшийся в своих убеждениях молодой парень из старообрядцев, не хотел нам отдавать книгу просто так, а за 130 советских рублей соглашался подумать!

Таких денег у нас не было. Тогда я связался с бухгалтерией ГПНТБ и попросил прислать переводом до востребования мои отпускные, которые уже были начислены, так как мой отпуск начинался сразу по возвращении в Новосибирск. Сумма отпускных как раз составляла 130 рублей. Деньги прислали, и мы купили эту книгу! В сельсовете была взята справка, заверенная председателем, что книга куплена у такого-то гражданина за 130 рублей. Потом в Новосибирске я долго обивал пороги, чтобы получить свои отпускные назад! Позже мне сказали, что я мог с полным основанием оставить эту редчайшую книгу себе. Но у меня даже мысли об этом не возникало... Если вы сегодня из любопытства возьмете в руки этот экземпляр «Апостола», то на задней крышке с внутренней стороны в качестве доказательства моих слов увидите фиолетовый штамп «130 рублей».

— Стоимость такой книги на свободном рынке доходит до миллиона долларов! А вот еще скажите по секрету... По моим непроверенным данным, вы являетесь членом некоего элитного британского сообщества, где числится всего 50 человек! Расскажите об этом?

— Расскажу, конечно!.. Вы, наверное, удивитесь, но в нашем деле поиска и изучения памятников древней русской книжности есть два известнейших человека по фамилии Лихачев!

О Дмитрие Сергеевиче мы с вами уже говорили. Но в нашей профессии был еще один непререкаемый авторитет — Николай Петрович Лихачев. Он не родственник Д. С. Лихачеву, но для всех славистов мира — крупнейший ученый.

Н. П. Лихачев — член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук с 1901 года, с 1925 года — академик Академии наук СССР, автор опубликованного в 1891 году четырехтомного фундаментального труда, ставшего классикой отечественной исторической науки под названием «Палеографическое значение бумажных водяных знаков». К этому историко-археографическому исследованию прилагались 116 таблиц-альбомов. Каждый производитель бумаги в Европе, а затем и в Московском государстве издревле ставил на выпущенную им продукцию в качестве своего, как сейчас говорят, логотипа собственный водяной знак.

Древние рукописные источники, попадающие в наши руки, иной раз не датированы. Это создает для исследователя серьезные трудности... Николай Петрович систематизировал рукописные документы, на которых были проставлены даты, сопоставив их датировку с водяными знаками бумаги, на которой эти источники написаны. И пришел к выводу, что у всякого производителя бумажной продукции водяной знак соответствовал определенной эпохе. Исходя из этих данных, Лихачев предложил условно датировать рукописные источники, на которых авторами не проставлены число и год написания...

Например, у исследователя находится документ, на котором имеется дата — текст написан в 1400 году. У того же исследователя есть документ, где дата не проставлена. При сопоставлении водяных знаков бумаги обоих документов



обнаруживается, что знаки идентичны. Исходя из этого совпадения, ученый делает вывод, что оба документа написаны примерно в одно время!

Это упрощенная схема того, как работал академик Николай Петрович Лихачев, приложив к своему исследовательскому очерку таблицы водяных знаков, соответствующих тому или иному времени. Сегодня с их помощью любой историк и археограф, столкнувшись с рукописным источником без датировки, может сверить водяной знак бумаги, на которой он написан, с таблицами Н. П. Лихачева и установить временной период, в который мог быть создан этот документ.

Работа Николая Петровича Лихачева так и не была переиздана в России. Поэтому его справочники стали величайшей редкостью! Но, скажу по секрету, в ГПНТБ есть два экземпляра этого издания. Один нам передал вместе со своей коллекцией академик Тихомиров, а второй мне посчастливилось достать в Ленинграде... (Смеется.)

Как-то английский славист Джон Габриэль Саймон Симмонс, большой друг нашей страны, поклонник и исследователь русских древностей, решил переиздать четырехтомник Николая Петровича Лихачева в редактируемой им «Монументальной библиотеке филиграней», издаваемой в Голландии. Он обратился ко мне с просьбой более подробно исследовать одну совершенно удивительную рукопись, которая хранится в нашем собрании.

Рукопись «Слова» Григория Богослова была подарена библиотеке академиком М. Н. Тихомировым и считалась самой древней датированной славянской рукописью на бумаге. С этого самого документа Н. П. Лихачев начинает отсчет славянской традиции палеографического исследования рукописей. Именно эта рукопись была в его собрании в XIX веке, а сейчас хранится в ГПНТБ СО РАН.

Джон Симмонс хотел прояснить дату рукописи. Н. П. Лихачев в своей работе указал, что датировка рукописи восстановлена по подчищенной в оригинале записи. Дата и в самом деле просматривалась нечетко: кто-то ее ранее подчищал. За век с того времени, как с документом работал Николай Петрович Лихачев, подчищенная буква, обозначающая год, еще сильнее выцвела и трактовать ее можно было с разлетом в десятилетия... Симмонс предположил, что с помощью современной техники ему удастся более точно определить год написания этого текста.

...Куда мне было идти с этой проблемой? Я вновь отправился в криминалистическую лабораторию МВД к Гарифу Гарифовичу Равилову. Как только мы не смотрели этот лист рукописи с подчищенной надписью! И в ультрафиолетовом, и в инфракрасном, и даже в лазерном излучении с разной длиной волны делали снимки. Но — увы! — увидеть первоначальный текст не удалось.

Симмонс занимал в Великобритании очень важную должность: он был библиотекарем Оксфордского университета. Библиотекарь у них — не совсем то, что у нас. Эта должность сродни должности хранителя библиотеки. Она даже выше должности директора.

Роль Симмонса для науки России трудно переоценить. Он — тот самый человек, который открыл миру первый русский печатный букварь — «Азбуку» Ивана Федорова, найдя ее в одном из немецких архивов в 1982 году. Букварь был в качестве русской диковины в свое время вывезен в Европу одним из немцев, побывавших в России. К тому моменту в мире был известен всего один

экземпляр «Азбуки» Ивана Федорова, который и поныне хранится в США в библиотеке Гарвардского университета...

Кроме того, Симмонс учредил Изысканное общество библиографов и библиофилов. Одной из основных установок этого общества было то, что членство в нем может быть предложено ведущему специалисту из любой страны, но число членов не должно превышать 50 человек. Симмонс придумал отличительный знак для участников организации — у всех пятидесяти был особый галстук... Заочными членами этого элитного сообщества профессионалов посчастливилось стать Елене Ивановне Дергачевой-Скоп и мне! В Лондон я попал лишь в 1991 году, откуда доехал до Оксфорда и имел удовольствие воочию познакомиться с Джоном Симмонсом. Через некоторое время он скончался на 91-м году жизни... В память о нем мы с Еленой Ивановной издали книгу с описанием одного крупного современного собрания древнерусских книг в Сибири.

— Кроме британского элитного клуба, вы являетесь членом другого удивительного и не менее изысканного сообщества — гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу!»...

— О клубе «Зажги свечу!» я услышал еще до того, как стал его членом. Я считаю себя достаточно мобильным человеком. Особенно был таковым в 1990-е годы... И откликался на все предложения, связанные с просветительскими проектами. Не помню, как так получилось, но в конце тех самых 1990-х я вместе с членами клуба «Зажги свечу!» ездил в Кольвань и имел удовольствие познакомиться с некоторыми из них...

В 1999 году к двухсотлетию Пушкина на региональном телевидении снимался цикл передач, посвященных Александру Сергеевичу. К участию в одной из них пригласили и меня. По сценарию участники должны были сидеть на крыше одного из новосибирских зданий и беседовать... о Пушкине! Моим собеседником оказался член клуба «Зажги свечу!» профессор Александр Арсеньевич Шапошников. Мы с ним довольно долго общались под прицелами телекамер. Он выглядел блестяще — в смокинге, с галстуком-бабочкой... А я пришел в виде более чем демократичном, трехкопеечном... Поскольку мы с Александром Арсеньевичем были ранее не знакомы, сначала разговор складывался непросто. Выручило то, что говорили мы об общем, русском и великом... Как мне показалось, беседа получилась интересной. Когда эфир завершился, Шапошников предложил всей съемочной группе и мне отметить шампанским пушкинский день рождения, а заодно — наше знакомство...

В процессе неформального общения Александр Арсеньевич и предложил мне вступить в клуб «Зажги свечу!». Через определенное время я стал членом клуба. И считаю, что это дало мне дополнительную возможность для продолжения того дела, которое я люблю и которым я занимаюсь всю жизнь.

В клубе я оказался среди людей, которые понимают суть моей работы и моих увлечений. С ними я могу говорить абсолютно обо всем. Они необычайно отзывчивые и доброжелательные, искренние и радеющие о просвещении в обществе... Быть среди них для меня великое счастье и честь!

Сейчас, когда я уже не работаю в ГПНТБ, но продолжаю любить книги и работать с ними, я могу эти свои знания и эмоции отдавать людям, приобщая их к прекрасному книжному, всегда новому миру! Уверен, что современное



общество очень сильно обделяет себя, забывая о книге. Ведь Книга является стержнем духовного мира человека.

— **Что бы вы хотели сказать в заключение?**

— Сегодня распространен стереотип, что книга в своем традиционном виде изживает себя, что на смену ей должна прийти книга более современная — например, электронная. Действительно, значительное количество информации современный человек получает не через книгу, а с помощью телевидения и сети интернет. И некоторые предпочитают эти каналы книге.

Однако существующая тысячелетия книга в форме кодекса — столбы писчего материала, скрепленной определенным образом, обеспечивающим твердый порядок следования текста, оказывается настолько простым, совершенным и неизменяемым веками творением, что у меня есть сильные сомнения в правоте оппонентов книги в традиционной ее форме.

Не стоит забывать того, что одно из первых широких практических применений компьютерных технологий реализуется именно в процессе подготовки книги в ее традиционном типографском виде. Сегодня создание ни одной книги не обходится без помощи компьютера.

Книга — это гениальное изобретение человека. Ее форма органично соответствует человеческому способу интеллектуальной работы и поэтому не скоро изживет себя. Для многих людей, включая меня, Книга оказывается той Прекрасной Дамой, которой хочется по-рыцарски служить всю жизнь...

Беседовал Андрей Челноков.



Представляем нашему читателю избранные главы из автобиографической книги «42-й до востребования» нашего постоянного автора, члена редколлегии журнала Михаила Тарковского. Публикацию сопровождает статья известного отечественного критика Вячеслава Лютого, раскрывающая писательский замысел, сложно соединяющий художественные и глубоко личные пласты повествования. Полностью книга выйдет в самое ближайшее время в рамках издательского проекта фонда «Возрождение Тобольска» (президент А. Г. Елфимов).

Вячеслав ЛЮТЫЙ

ПРАВЕДНИЦА

*Бабушка, я внял всему, что ты завещала.
Сберегу, не предам и не отдам на поругу ни
ракетного кустика земли родной. Передам за-
вещанное правнукам, яко же приях. Одного не
могу: не тужить по тебе и по детству.*

Михаил Тарковский. 42-й до востребования

Книга Михаила Тарковского «42-й до востребования» уводит читателя от прежде знакомой прозы автора, где многие детали, представляя собой замечательный сплав острого художественного зрения и выверенной повествовательной интонации, изображены ярко и весомо. Совсем по-иному организована авторская речь в нынешних воспоминаниях: детство здесь оказывается особым миром, а слово писателя обретает поразительную многоцветность, ни для чего иного не подходящую, как только для рассказа об этом почти не реальном Царстве детской памяти, в котором жестокие страдания оказываются отодвинуты на второй план почти ликующим чувством постижения юной душой окружающего пространства и людей («...в этом прорыве жизненного в сказочное был особый разряд правды»). Удивительным кажется способность рассказчика сохранить в сознании и достоверно передать малейшие приметы давно ушедших дней. Причем сделать это настолько индивидуально и отчетливо, что образы родных и просто знакомых становятся зримыми, обрета на бумаге черты характера и неповторимую человеческую повадку.

Главной фигурой этого развернутого мемуарного произведения становится бабушка автора — Мария Ивановна Вишнякова*. Ее облик освещает практически все страницы и локальные сюжеты книги. Исподволь и бессознательно она хранит в себе множество драгоценных черт как русского человека в целом, так и русской женщины, прошедшей через море тягот и лишений, однако сохранившей

* Мария Ивановна Тарковская-Вишнякова (1907—1979).

в душе чистоту и любовь, терпение и самоотверженность, заботу и непостижимую теплоту, которая позволяет нам сказать сегодня, что бабушка Маруся — вот настоящий, не уничтожимый движением дней, а растворенный в его течении Дом маленького героя: «У Маруси характер. <...> Мягкость в любви к людям, а железо в защите этой любви». У нее были свои привычки и особенности речи, она чутко воспринимала смыслы, ей нравилась игра слов. Но записи ее дневника хранят фразы короткие, сдержанные, говорящие о самых главных событиях и о самых важных чувствах.

Скудные довоенные годы, лихолетье войны, мирное время — здесь рядом с бабушкой ее сын, которого автор впоследствии называет Дядя Андрей* (всё — с прописной буквы), и ушедший из семьи муж Арсений — Асик**. Будто незная читатель понимает, что перед ним — режиссер Андрей Тарковский и его отец — поэт Арсений Тарковский. Немало места уделено их психологическим портретам, творческим пристрастиям, житейским привычкам, однако центральной фигурой и главным действующим лицом все равно оказывается бабушка — и маленький внук, который спустя годы оживит ее на страницах своей книги. И в сознание закрадывается крамольная и, наверное, слишком прямая мысль: соизмерение «подвига жизни» бабушки Маруси с творческим трудом отца и сына Тарковских, как ни странно, все же — в пользу бабушки... Именно в ней воплотились уникальные качества русского человека — служение и воля, что так потрясают в кадрах военной хроники из фильма Андрея Тарковского «Зеркало», когда измученные солдаты тянут тяжелые артиллерийские орудия по пояс в холодной воде.

«“Простые люди”... Какие они? Несложные? Не умеющие за собой наблюдать? Когда я слышу это словосочетание, вижу простой карандаш, дающий аскетичный и выразительный рисунок, рядом с которым цветное обилие кажется избыточным. Вот и бабушка была как простой карандаш, хоть и происходила из высшего сословия. Графит у этого карандаша был очинен нежно и трепетно и мог сломаться при грубом нажатии. Бывало, и ломался, и крошился, но, когда крошку сдувало — оставались картины».

Сам язык, которым автор живописует события и героев, постоянных и мимолетных, течение дней и подробности историй, происходящих со своими и чужими, природу, воплощенную в лесном массиве, огромную и непредсказуемую реку Волгу, — этот язык не перегружен плотностью изобразительных штрихов, в нем всегда есть пространство для дыхания читателя и рассказчика. Его вольность и обширность оказываются наибольшим удовольствием при чтении, превосходящим удовлетворение от познания многих биографических деталей, ранее мало кому известных. Детская «волшебность» восприятия реальности переплетается с конкретикой, придавая ей дополнительные свойства и смыслы, как бы расширяя окружающий мир. Жанр воспоминаний здесь обретает теплоту и свободу в выборе тем и ситуаций. Обаяние этого повествования — в его погруженности в «незримую тягу прошлого», что отодвигает текст от литературного дневника и приближает его к художественной прозе.

«В эту минуту деревянно-раскатно досыпался гром в огромный ларь за полем, и бабушка, придя в свое восхищенно-эпическое состояние и дрогнув

* Андрей Тарковский (1932—1986) — советский режиссер, сценарист («Андрей Рублёв», 1966; «Солярис», 1972; «Зеркало», 1974; «Сталкер», 1979). Народный артист РСФСР (1980).

** Арсений Тарковский (1907—1989) — русский советский поэт, переводчик.

голосом, сказала, что это Илья-Пророк на телеге прогромыхал по каменно-крепким облакам. И еще что-то такое старинное и уходящее в громовую даль веков, что и меня самого потянуло туда могуче и ясно, и я дрызглыми ремешками сандалек ощутил эту спасительную глубь, и показалось — чем крепче врасу стопами в отчую древность, тем легче мне будет выглянуть, свеситься в окошко нового дня. И не выпасть».

Социально-бытовые картинки эпохи не заслоняют фигуры бабушки и ее внука. У них — какая-то особенная история, протяженная семейная легенда. Поступки и вещи, ценные для них, кажутся всем иным незначительными и нарочитыми. И мальчик постепенно понимает: «мы с бабушкой совсем из другого мира». Хотя, по видимости, он не отличается от остальных сорванцов и понимает важное для мальчишки значение «вида бывалого, у которого главное выражение: набедокурил и еле вырвался». Но в детской душе постепенно складывается твердая система ценностей и смыслов, переходящая от старого к малому, сохраняющая золотую сердцевину православного и русского самопонимания.

Много внимания автор уделяет детству Дяди Андрея — оно присутствует в книге своего рода параллелью к детской летописи дней самого маленького Миши. Наглядно различие этих страниц — и смысловое, и стилистическое. Тяжкие дни войны, лишения и беды, скудость еды и тепла — Андрей Тарковский, как никто, показал в «Зеркале» впечатления ребенка военной поры. Примечательно, что в «42-м до востребования» рассказчик создает свой текст словно на фоне кадров этого поразительного по искренности фильма. Было бы неправильно представлять тяжкие времена совсем без света и человеческой надежды на лучшее. Поход бабушки, Андрея и его сестренки за ягодами в лес — из этого эмоционального ряда. Здесь — ясность детского сознания, ничем не разрушаемая радость бытия, простота обихода... Однако сдержанность авторского языка, кажется, приглушает краски реальности — тут не найти безграничной свободы и выразительности повествования, что так чаруют читателя в первой части книги («...сами события словно выросли, обретая биографическую трезвинку»). Именно так, с чувством внутренней сдержанности, Михаил Тарковский пишет о Дяде Андрее — художнике бесстрашном и трагичном. «Дядька говорил, что, когда хочет сказать близким хорошее, на него как столбняк нападает. Мне это знакомо с ранних лет, и связано оно с боязнью, что мама расплечется, растрогается и я этого не выдержу. Так и не смел, боялся тронуть сокровенное, от чего дрогнет голос матушки и подбородок возьмется мелкой ямкой — точь-точь как на персиковой косточке. <...> А дядька, выходит, только в жизни боялся ямок на подбородке. А в картинах — нет. И брал выше себя, и мать тащил туда, где образ сильнее времени и где сам только и был человеком». О фильмах Андрея Тарковского автор упоминает вскользь, речь идет более о душевном мире режиссера, о его творческих правилах, обиходе... Мягко и бескомпромиссно создается портрет, в основе которого — человек, а не свод идей и интеллектуальных устремлений. Чувство такта и родство позволяют рассказчику быть правдивым и точным, что так важно на фоне многочисленных свидетельств, в которых бывают лукаво смешаны выдумка и расчет, черствость замысла и стремление к скандалу. Движения сокрушенного сердца и печального ума странно соединились в реальном существовании и творческом пространстве Андрея Тарковского. «Обаяние у бабушкиного сына было нечеловеческое. Облик неповторимый.



Резок был и мягок одновременно. Крайне графичен на портретах, а в жизни поражал подвижностью черт. Улыбался глазами, собирая и распуская морщинки. Глаза — серые в зелень и необыкновенно живые, искристые, и вокруг них свое трепетное поле. На бабушку не похож. Очень широкие выдающиеся скулы, переходящие в торчащие углы челюстей. Кожа какая-то будто тонкая — такая должна плохо жизнь держать».

Еще один художник в родовом окружении бабушки Маруси — поэт Арсений Тарковский (по-домашнему Асик), фигура значительная в истории русской литературы второй половины минувшего века. Тайна его творчества до конца не разгадана, но роковой гипнотизм многих строк Арсения Александровича с течением лет не развеивается, а, кажется, обретает уже бытийное измерение, отвлеченное от частных событий действительности. Отец Андрея Тарковского и муж Марии Ивановны Вишняковой, на страницах книги он предстает житейским и божественным человеком, отважным фронтовиком — и усталым стареющим литератором. Однако в нем, наряду со многими легкомысленными артистическими поступками, живет строгий кодекс православного русского человека, для которого честь, мужество, чувство долга — более чем весомые слова.

Присутствие Асика в трудном житье-бытье бабушки Маруси было постоянным, но с годами — все более удаленным. Он напоминал о себе то приездом, то письмом, то воспоминанием и грустью. Быстротечность мгновений поймана Арсением Тарковским в стихотворении «Вот и лето прошло...», которое так любил Дядя Андрей — и всем существом своим ему соответствовал.

Книга Михаила Тарковского показывает читателю много неожиданного в облике двух художников, которых можно назвать его предшественниками в искусстве и литературе, и шире — в творчестве, в художественном вопрошании, во внимании к человеку и времени. Но все же в повествовании «42-й до востребования» Тарковские — и поэт, и режиссер, и сам писатель — в высоком смысле слова оказываются только Наблюдателями за мечущейся, страдающей и ликующей жизнью. А самой неотъемлемой и главной ее частью становится бабушка Маруся. Простая русская женщина — Праведница.



Михаил ТАРКОВСКИЙ

42-Й ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Главы из книги

Гонец

Валерий приехал уговорить и забрать бабушку сниматься в фильме ее сына, Дяди Андрея. День или полдня он пробыл с нами. Бодрый, обходительный-настойчивый. С породистыми купальными причиндалами, которые не поленился привезти — ходили с ним купаться, а он по дороге расспрашивал, читаю ли я и что. Я отвечал, что Толстого, Достоевского и Чехова.

Потом Валерий уехал, и мы засобирались на съемки в то самое наше Игнатьево, где бабушка серпом жала осоку, делая мне козлы, и где прыгали по лужайке спутанные коники.

Согласилась бабушка безропотно и лишь ради сына. И что-то странное, неурочное, неправильное виделось — и в этой безроптности, и в нашем бросании Скнятина, вырывании от коростелей, только привыкших, поверивших в меня...

Игнатьево оказалось поджавшимся, осовремененным, обензиненным, с новой буднично-сокращенной геометрией. И какой-то разбавленностью, словно кто-то решил снять халтурный фильм о моем детстве. Поселили нас в конце деревни, ближе к оврагу, когда-то казавшемуся за тридевять земель... Я писал Василию из Киржача (не Макарову, а Филиппову, школьному другу):

«Я уехал на съемки новой картины моего дядюшки. Это фильм о его детстве. Мое раннее детство тоже прошло там. Приехал я туда по Минскому шоссе, потом на “уазе” с передним мостом по размытой дороге. Дорога такая жуткая по глиняным горам. Так вот, приехал я туда, и все кажется таким маленьким — и дом, где я жил, и деревня, и всё вокруг. Я встретил там одного парня моего возраста, с которым я играл в три-четыре года, а он меня не узнал.

А на Хуторе, вернее там, где в 36-м году был хутор (где они жили), построили такой же дом (декорацию). В деревне у дядюшки дом, и там живет мой брательник (ему почти три года), то есть дядюшкин сын, с бабушкой (у него бабка клёвая) и со сводной сестрицей моих лет.

Все время лил и льет дождь. Съемки прекратились. (А снимать должны были мою бабушку (!) — только ты это никому не говори!)

...А Андрюха-братец мне понравился. Очень твердо заявляет в минуты гнева: “Покъятая (ый, ые), уходи!”, “Уходи на уйцуу и там живи!”, “Уходи в яму (болото)!”, “Хочу в йужу!” — “Зачем?” — “Пйосто так!”».



Несмотря на бодрый отчет об игнатьевском житье, чувствовал я себя здесь довольно никчемным. Глядеть, как бабушку снимают, меня не пускали. Какого-то осознанно-исторического интереса повидаться с дорогими местами у меня тогда не было. Вот и валялся на койке, читал, маялся, а за стеной или в сараюхе кто-то учился на шестиструнной гитаре. Монотонно боем — ля минор, ре минор, ми септ. И так до бесконечности. И всё не музыкой, а аккордами.

Дядька снимал избу по диагонали от нас. Заходим с бабушкой. Меня сразу кормят с очень серьезным и даже преувеличенным усердием — так мне кажется. И будто в уплату за то, что меня никуда не берут — хоть и знаю, что неправда. Дядька сидит в кресле, заложив одну ногу на другую: голень параллельна полу. Штаны особенные: бледно-зеленые, вельветовые, в очень крупную полоску, как гофрированные. Каждая вельветина широкая, двойная.

Такие же штаны, только в мелкую насечку, были у актрисы, которая играла в дядином фильме бабушку в молодости, — Маргариты Борисовны, приветливой, очень статной и стройной женщины, трепещущей своей красотой, как на вечном ветру. В упомянутых штанах она приходила изучать бабушку.

Сама бабушка сниматься приехала в моей куртке, коричневой, синтетической, из тех, что только входили в обиход. Новая она еще имела вид, а от стирок стала мягкой, потеряла шуршущее покрытие и сидела на бабушке бесформенно-плоско. И вроде минутная победа: надела бабушка что-то современное, но и тут же потеря: измена старинному. А еще и грустинка: от нужды надела, от безвыходности.

Конечно, в Игнатьеве я не только валялся на раскладушке: время от времени меня отправляли гулять с братцем Андрюшей. Вот идем вместе второй раз в жизни, а он как скажет: «Я тебя люблю». Такая же история случилась со мной спустя четыре огромных года: на экспедиционной подбазе в Бодайбо. Подбаза стояла рядом с «тубиком» (тубдиспансером) и тюрьмой. Мы ждали самолета на Иркутск, и я частенько прогуливался по соседнему проулку, где со мной и сдружился трехлетний карапузина. Он стоял на перекрестке (смесь гравия со шлаком) и диспетчерски оглядывал дороги. После второго разговора он взял меня за руку и заявил: «Я тебя люблю».

Гуляли мы по Игнатьеву и с Лялей (Олей), старшей сестрой Андрюши. Шли вдоль Москвы-реки по берегу, и я куб за кубом вываливал на Олю тайгу, горные системы и болота и даже умудрился спеть что-то про пихты и дожди. Больше ничего не помню из того Игнатьева.

Бабушка осталась ждать погоды для съемок, а в Скнятино закрыть лето мы съездили с мамой.

Погоды бабушка ждала долго, что подтверждает один стыднейший случай. Еще одна «стыдобушка».

Жрать давайте!

В ту пору я уже почитал себя несусветным лесовиком, настолько бывалым и матерым, что нес уже целое мировоззрение, которое ощущал единственно правильным и которое считал своим долгом навязывать встречным и поперечным. А так как именно бабушка наставила меня на полевой путь, то и любое его проявление я ставил себе в заслугу, расценивая как службу бабушкиному делу.

Родственников я умудрился охватить своими заботами, и они, охваченные, меня баловали. Отцов отчим дедушка Сережа Ерошенко меня очень любил. С бабушкой Мари-Макаровной (бабушкой Манюшкой) они жили между Большевым и Подлипками в военном городке. Дед Сережа работал на королёвском заводе, а я мечтал о металлической поняге: станковом рюкзаке, удобно лежащем на поясище и правильно распределяющем груз. Каркас имеет полку, на которую опирается мешок. Такую конструкцию я пытался делать то из раскладушки, то из толстенной алюминиевой трубы, дуга которой торчала на полметра над головой...

Зашел к нам Дядя Андрей, а я немедленно вытащил к нему свое страховодство, рассчитывая на восхищение и одобрение и одновременно понимая, что нет ничего глупее, чем впереться к дяде с этим станчиной. Дядя Андрей очень снисходительно и сдержанно наблюдал за мной, и улыбался — не то вынужденно, не то насмешливо.

Я знал, что каркасы варятся из титана в «атмосфере аргона», и попросил дедушку Сережу, чтобы он на военно-космическом своем заводе такую атмосферу нагнал и сварил станок. Он сказал, что сделает, но только не из титана, а из алюминия, потому что титан дело слишком военное и секретное. «Давай чертеж». Я дал, и он все сварил, но, что самое великолепное, вывозить изделие за заводские ворота пришлось в мусорной машине.

Жена Дяди Андрея — тетя Ира — в свой черед привезла с Донбасса и подарила мне шахтерский аккумуляторный фонарь. Такие фонари очень ценились среди спелеологического люда, с которым мы смежничали по походным делам и от которых я нахватался словечек, вроде «штрек» и «шкуродёр».

И вот с этим фонарем поехал я с товарищами в сентябре 1973 года в карстовые пещеры на берегу Москвы-реки. К пещере этой идти от станции «Санаторная», а это один перегон до Тучкова — нашего, игнатьевского.

Пришли к пещере в сумерках, развели костер, а потом долго лежали рядком в спальниках на высоком берегу по-над речкой... Тихо было. На той стороне, откуда мы пришли по подвесному мостику, горели огоньки, при виде которых во мне горчайше всколыхнулись строки из дедушкиного стихотворения про белое платье на том берегу, про «шатучий мост, и женщину в платке». К ним добавилось еще что-то уже мною напутанное и напридуманное, связанное с бабушкой, нашими игнатьевскими мостиками и купаниями, до которых отсюда было верст пять... То есть почти так же, как и до Хутора, где еще шли съемки фильма и где до сих пор находилась моя бабушка. Поэтому, отлазив пещеру, я предложил своему товарищу туда и сходить. Не то с годами картина осеребрилась, не то и вправду легчайший снежок упал к утру на притихшую округу, но так и остался в памяти облетельй лес с голым седым полом, темные ветви и общее, задумчивое и аскетически-строгое состояние природы.

Думал ли я о том, что ушло в осень мое последнее с бабушкой лето? Наверяд ли...

Зато метил именно к месту съемок, понимая их важность, даже исключительность, и желая щегольнуть перед товарищем своей к ним причастностью. Направление и местность я чувствовал прекрасно, и мы довольно быстро выбрели на Хутор. Среди леса на опушке стоял макет бабушкиного дома, вокруг которого стянулся, навис целый свод людей, проводов, ослепительных фонарей, туманно дымящих графитом. Зрелище абсолютно странное и фантастическое по





несметной концентрации сил, притяжению к сияющему эпицентру действия, отчего казалось: еще минута — и даже елки с соснами магнитно склонятся к запovedной этой избенке с бабушкиным прошлым.

Среди плотнейшего этого пространства бегал Дядя Андрей, крича резким голосом, растягивая слова и ругаясь. При всей своей будто тертости одет я был в брезентиновый защитного цвета костюмчик с клепами, а на поясе висел в чехольчике туристический топорик с резиновой ручкой. Так ходят только начинающие, и все это выглядело довольно позорно и совершенно не матеро, с точки зрения меня даже год спустя, но в тот момент казалось прекрасным. С этим чувством и вломился я в светящийся круг.

Дядя, словно подстраивая окуляр, с недоумением и удивлением взглянул на меня и протянул руку. И про бабушку сказал, что она в техникуме. Мы пошли в техникум. Где через Москву-реку был натянута тросовый мостик вместо нашего с бабушкой, деревянного.

Бабушка жила в общежитии техникума вместе с семьей Дяди Андрея, его женой и тещей. Все были на месте — угретье и по-домашнему расслабленные. А я чувствовал, что образ лесовика, провонявшего костром и проползшего сквозь «шкуродёр» полушкинской пещеры, прошелся по дяде и его свите слишком вскользлячку. А главное, настолько верил в свою роль первопроходца, изыскателя и помеси Арсеньева с Федосеевым, что, едва войдя в дом и поздоровавшись, уселся за стол и, обратясь к бабушке, бодро воскликнул:

— Жрать давайте!

Стыд и глупость картины в таких случаях я чувствовал сразу, но уже ничего не смог поделать. До сих пор вижу ошарашенные лица Ларисы Павловны и Анны Семеновны. Тарелку с прыным каким-то супом. И бабушкины глаза...

Зеркало

«Зеркало» я посмотрел впервые сразу по выходе картины, когда бабушка еще была жива. Запомнил кусками, скорее общим впечатлением чего-то пронзительного, странного и требующего привычки. Сильнее всего пробрал порыв ветра с потусторонней замедленностью мнущихся кустов. И как заклинание был его повтор, попытка растопить душу, довести до молитвенной почти плавкости. Поразило и начало, когда мальчишку лечат от заиканья. Как песня в «Калине красной», где документальность глядится вершиной, перевешивая все пути художества.

Второй просмотр случился после бабушкиного ухода. Я уже повзрослел и хватил Сибири, куда-то уже повмерзав и попилив зубной мост напильником. Едва я увидел бабушку в моей куртке... — с тревожным лицом она шла по полю с двумя ребятишками... — как меня поймал такой рев, что я еле дожил до занавеса.

Бабушкин сын

Я точно знаю: на свете два великих режиссера — Василий Макарович Шукшин и бабушкин сын. Картины последнего нередко подкупали и того зрителя, который мне глубоко чужд, но обсуждать здесь причины не буду. Дядю Андрея я боготворю и считаю великим и единственным в своем роде, так как стоит он на

фанатичном и бескомпромиссном служении духу. С Шукшиным они как две полусферы русского сознания, две защитные половинки. Внутри же мантия, нежный расплав — наша душа.

Никак не уйти от вопроса о дядиной православности. Почему он не считал себя вправе быть напрямую религиозным в фильмах? Почему считал, что одно дело — слово Божье, а другое — язык искусства, и намеренно их не смешивал. Хотя Достоевский, которого он боготворил, замеса этого не боялся. И что это было: вид гордыни, выражаемый словом «не посмею»? Или страх, что не получится? Или дух времени и невовлеченность в церковную жизнь?

В «Сталкере» комната желаний на первый взгляд — Бог. Но комната исполняет именно сокровенное желание, то есть желание, которое выражает твою суть, независимо от того, насколько она низка или высока. Дикобраз пришел просить вернуть жизнь брату, в смерти которого повинен, а Комната-Зона дает ему мешок денег, поступая жестоко, мстительно, отвергая покаяние и отнимая надежду на прощение и исправление. Значит, комната желаний — не храм Божий. В картине свой строй и логика, без которых не будет драматургии.

Дядя был на пути к вере, на подступах, на рубеже, как боевой заслон на подступах к монастырю, и для мира энергия этого рубежа, этого отчаянного стана, сильнее, чем энергия монаха, сидящего в келье. То же можно сказать и о бабушке, которая не носила креста, но у врат стояла.

Но откуда у дядьки такая смелость? Я бы никогда не посмел пустить мать по полю своего детства, да еще с ребятами. Да еще чтоб на заднем плане крест стоял из телеграфного столба... Это так же невозможно, нещадно для сердца, как у Шукшина, когда Егор ходит в черных очках по комнате, пока за перегородкой Мать (настоящая, не актриса, русская бабка!) рассказывает Любе об исчезнувшем сыне.

Это как писатель по молодости говорит о ему понятном, а когда спросят, «почему вы не напишете о том-то и том-то», замнется: «Ну, вы знаете, это сложный вопрос... неоднозначный...» *Не полезем туда*, обидим, не дай бог, кого или не справимся, а то и себя со слабой стороны покажем... А художник — тот, кто не боится копать, где больно и сложно. Кто лишь туда и роет. Смотрит, где потрудней взять. Где душа рвется.

Вот и заставил маму-бабушку вернуться в себя, брошенную мужем с двумя детьми, в предвоенный год, в место, которое ей всю жизнь потом снилось. Куда при мне ходила, как на пепелище. Раненная былым так, что места живого не найти. И вот эту раненую решил еще доковырять, дорезать, камерой дострелить... И она смертельный этот заряд приняла со всей простотой и доверием. Шла хоть в поле. Но с ним.

Как раз в то поле, где по ее сказке медведь крутил ручку кинокамеры...

А на съемках трудно ей было. И обстановка не своя. И люди. И сердце после барахлило.

Дядька говорил, что, когда хочет сказать близким хорошее, на него как столбняк нападает. Мне это знакомо с ранних лет, и связано оно с боязнью, что мама расплачется, растрогается и я этого не выдержу. Так и не смел, боялся тронуть сокровенное, от чего дрогнет голос матушки и подбородок возьмется мелкой ямкой — точь-точь как на персиковой косточке.





В студенческие годы был случай. Я к тому времени всюду молотил по гитаре и даже сочинял песенки, одну из которых спел девушке по телефону. У нас было два телефонных аппарата, и бабушка во время моих разговоров, бывало, поднимала вторую трубку.

Песня была разлетно-лирическая и, как водится, про осень да журавлей. По окончании я с эффектом грохотнул по струнам, а девушка прошептала: «Спасибо, мужик». Именно так... «Мужик», по-лесному, костровому... Через несколько минут вошла бабушка. Глаза ее странно сияли. Редким, особо дрогнувшим голосом, она сказала, что «хорошо» я сочинил... «про журавлей». Тут и меня столбняк прошиб.

А дядька, выходит, только в жизни боялся ямок на подбородке. А в картинах — нет. И брал выше себя, и мать тащил туда, где образ сильнее времени и где сам только и был человеком.

Снова зеркало

В 73-м же году случился аврал: дед Арсений, будучи в квартире один, сломал два ребра. Жил он в огромном доме на Садово-Триумфальной над знаменитой актрисой и, так и хочется добавить, — под прославленным генералом. Пусть так и будет.

Татьяна Алексеевна была в отъезде. Дед умудрился позвонить бабушке, а когда мы с ней приехали, дополз и открыл дверь.

Он лежал на полу — одноногий, в черных трусах. Бабушка велела тащить табуретку — я притащил. Подняли, усадили и замотали полотенцем вокруг груди. Сломанные ребра — пребольнейшая штука, и у деда в какой-то момент аж слеза сверкнула. Но не в боли дело было, а в переживании беспомощности, жалкости, а может, и еще чего-то более глубинного.

Он сидел на табуретке. Оковалком теста торчала из трусов белая кулечка. И бабушка, как-то особенно обострившись обликом, переговаривалась с ним коротко и негромко.

Я думал о бабушке и ее прошлом, казавшимся доисторически далеким. На молодых фотографиях меня поражала смоляная чернота дедушки, его молниеносные черты и бабушкина светлость, мягкость. Дедова кровь казалась сильнее. И я был, конечно же, за бабушку. Но и о деде думал: что при всем его внешнем благополучии была в нем невыносимая какая-то горечь, за которую близкие, казалось, и прощали ему его предательства.

А ребра сломал так. В гостиной над дедушкиным диваном висело большое горизонтальное зеркало в деревянной оправе. Резная тяжеленная рама роднила его с зеркалом дубасовского зеркального шкафа. Дед лежал на диване с книжкой. Оборвалась веревка, и зеркало на него обрушилось.

Дядюшкин сон

Любила бабушка дядьку безоговорочно. Детство мое с самых туманных дней прошло под ее рассказы «об Андрее». Шли по Щипку к Жукову проезду, где всегда наносило чем-то угольным, и бабушка говорила, что у Андрея был абсолютный слух и что он с первого раза запоминал мелодию. Шли к Люсиновской, говорила, как привела в консерваторию и он при первых звуках вытянулся

вперед да так и просидел до конца. Шли по Мытной — рассказывала, какой у него прекрасный был голос и как его учительша из музыкальной школы готовила к празднику, когда голос ломался, и он голос сорвал.

А когда я разбирал его краски — рассказывала, каким он был отличным художником и как рисовал этюды без рубахи, и ему «солнцем нажгло затемнение легкого» — поэтому она не любит, когда я без рубахи хожу.

И когда шли мимо клуба — бывшего храма на Ляпинке, и там стоял на костылях спившийся одноногий мужик с опухшим лицом, говорила о том, как много было у него друзей — «с ним интересно было». И показывала на одноногого — бывшего его друга и заводилу... — с мешками под глазами и белесыми глазами навывкате.

Бабушка как огня боялась компаний и, когда он бросил институт восточных языков, отправила дядьку на Енисей в экспедицию.

Без конца твердила она про Енисей, с которого «Андрей приехал вот с такой мордой», которую будто до размера хорошего глобуса «нажрала мошкá». И про «торс» (в косую сажень), который дядька наработал, долбя шурфы. Слово «мошкá» она произносила по-сибирски, с любовью к этому говору, и поясняя, что именно так говорят: «мошкá», а не «мо́шка». (Это как «компáс» и «Мурма́нск».)

Слова «Курейка» и «Игарка» произносила так же свойски, как «Жиздра». Почему Игарка? Ну вот кто-то кричал на берегу: «Его-о-о-рка! Как жив-здрав?» При этом ни я, ни бабушка понятия не имели о том, что, например, курейка — это закуреинка, маленькая курья, то есть заливчик на Енисее или при-токе.

Все-то на Енисее было удивительным. Берега отвесные и какие-то... бры-кучие. Волна, допустим, ударится в берег и настолько сильно откатится к противоположному, что при ударе пойдет обратно с еще большей силой. И так и бьет от берега к берегу, набирая ход и делая шторм. «Да, на Енисее шторм называется». И сладу с ним нет в таких берегах. И выходило, вечный двигатель придумала.

А дядька ходил по тайге с геологическим молотком и вроде бы даже и с кайлом, и однажды начальница отправила его на лошади в дальний маршрут. Я так и представлял, что едет он вверх по Курейке, по высокому и почему-то правому (как подниматься) берегу. Метров семьдесят от края, который невидными утесами нависает над Курейкой. Утесы черные. И кедровые черные, и вообще все грозно таежное... Уже вечереет, особенно быстро и угрюмо, потому что небо заволакивает тучей. Это разыгрывается буря. Хорошо, что на пути оказывается избушка. Слева от тропы. Дверью на запад — откуда приехал дядя. Дядя привязывает коня. И затопляет печку в зимовье. Печка слева у двери, нары одни — справа.

Гудит ветер, клонятся лохматые кедровые. Уютно потрескивает и гудит печка, пламя рыже выглядывает из поддувальца.

...Это я так представляю, поживаясь от удовольствия.

Но вообще не слышно печки, потому что дерет ураганный ветер. Кстати, запад, судя по внезапности, силе и кратковременности. В общем, лег Андрей спать. И уже было заснул после трудового маршрута, как вдруг могучий голос раздается: «Уходи отсюда». Бабушка повторяет это «уходи», и оно мне напоминает многократно усиленное «ведь столько огня будет!». «Уходи отсюда!»



Дядька переворачивается на другой бок, засыпает, и снова раздаётся голос: «Уходи отсюда!» Бабушка повторяет эти слова ещё грозней. А дядя переворачивается на обратный бок. Наконец голос врывается в дядюшкин сон в третий раз, и дядюшка выходит, а может, даже и бросается из зимовья наружу... И мгновение спустя на тот угол, где он спал, где была его голова, валится огромный кедр и ломает половину избушки. «Прямо на тот самый угол!» Огромный, извилисто ветвистый кедр. «В два обхвата. Знаешь, что такое обхват?» Так складывался образ Енисея — из бабушкиных рассказов и гравюр к книгам Астафьева — очень картинных и условных. В жизни Енисей оказался и строже, и как-то повальней, чем представлялось, покрытым необыкновенно свежей таежной зеленью.

Мальчишкой я не раз пересказывал эту историю товарищам, повторяя со страшной интонацией «Уходи отсюда!», но с годами все больше сомневался в правдивости сказа про кедр и понимал, что это не более чем таежная байка для стращанья или, наоборот, убажания горожан. Да и на полярном круге не может быть таких «огромных» кедров, что проламывают избушки... Ещё если б листвяк рухнул... Хотя можно допустить и исключительную хилость избушенции, что не вяжется с былинностью рассказа (конь, изба, кедрище). А главное, сама отправка коллектора и почти ещё десятиклассника в многодневный маршрут была сомнительна — в геологических партиях с середины 1950-х годов по технике безопасности в одиночку не пускали.

По своему духу этот случай напомнил историю, рассказанную мне моим будущим другом и наставником по промыслу Геннадием Соловьёвым. Ей он ответил на «сказ о кедре». Один охотник, допустим, Прокопий, пошел охотиться на участок, принадлежавший промысловнику, который погиб при странных обстоятельствах. И вот зима, ночь. Спит Прокопий в зимовье и вдруг... слышит скрип лыж и голос. Просыпается, пытается встать с нар, но будто свинцовая сила не дает ему подняться. А снаружи голос: «Уходи отсюда!» — и тоже троекратно, а потом скрип лыж удаляется. Когда Прокопий выходит, то следов нет, и самое поразительное — собаки так же сопят в будках и носом не ведут.

В среде охотников такие байки не рассказываются, это больше для поражения воображения приезжих любителей мистики.

Ещё бабушка рассказывала, что дядька нашел муху в окаменелой смоле. И что обратный путь в Красноярск был долгим и трудным. Ехали на барже, которую тащил буксиришко. Баржа, по рассказу бабушки, была настолько низкая, что, когда меж берегов завязывался саморазгоняющийся бабушкин шторм, вода перекачивалась через баржонку и как раз смыла рюкзак с окаменелой мухой. Это к тому, что и муха в янтаре напоминает легенду. Енисей не Рижское взморье. Хотя чего не бывает.

С янтарной мухи бабушка переходила на спальный мешок, и я представлял этот загадочный и желанный мешок, овальный, толстый и с собраным горлом — в точь, как у мешка для сменной обуви.

— Бабушка, а у меня будет спальный мешок?

— Будет обязательно!

После Курейки Дядя Андрей поступил во ВГИК, но ещё долго не отпускал его Батюшка-Енисей... Однажды на лекции произошла такая переписка с Шукшиным: «Вася, как по-сибирски залив? Я что-то забыл». — «За-тон?» — «Нет... По-другому как-то»... Несмотря на то, что в Алтайском крае

есть поселок Курья, сам этот термин (поморского, кстати, происхождения) на Алтае не распространен так повсеместно, как на Енисее, и в обиход Шукшина не входил. Поэтому Вася не ответил... А Андрей забыл. Эх...

Крылатый лев

Одно из первых воспоминаний о дяде — наш с бабушкой поход на квартиру, которую дядя будто снимал с женой. Мне не больше пяти лет, помню смутно, и тот день почему-то как сквозь темно-синее стекло видится. Будто комнатенка совсем темная и синими шторами завешена. А мы смотрим статую крылатого льва, которую дали дяде Андрею в Венеции за «Иваново детство».

Мы в притемненной комнатенке, и кто-то невидимый нам показывает этого льва. Это и есть Дядя Андрей, но он существует лишь в виде рук, открывающих футляр, стоящий на полке. Лев в сумерках тускло-золотистый и в мелкой рисочке. Он тяжеленный и с крыльями. Несмотря на сумрак ярко видятся эти острые крылья, их стремительный излом, срыв назад, как у оперенного ветром лоскута пламени. Нутро футляра из синего тоже бархата, и оно очень подробно и фигурно выполнено с бархатными же прорезями под крылья, ножнами под эти тяжелые, острые, горящие золотом крылья. Которыми страшно порезать синий подклад...

Про этого льва и про «Иваново детство» бабушка повторяла с неподкупной какой-то преданностью. Так же как после «Андрея Рублёва» повторяла: «Коля Бурляев», как будто он родственник.

У Дяди Андрея появилась квартира напротив Курского вокзала. Бабушка ходила туда к Сеньке и меня таскала — ей либо ключ давали, либо клали под коврик. А с Сенькой бывало и оставалась, когда родители уезжали на съемки.

В квартире пахло кофием и еще чем-то остро-прихотливым. Печатная машинка была, небольшая, плоская, тяжелая, с синеватым отливом. Я печатал на ней. Восхищал верный набор лапок и то, как послушно лапка поднимается, и что у каждой — свой угол изгиба. Казалось, такая сложность и красота заслуживает большего, чем серый рядок букв.

Попадали мы туда двумя путями. Один — через Садовую, а другой самый заповедный — через Покровский бульвар, на который добирались на трамвае. К Садовой выходили по улице Обуха. Там был музей восточных искусств с костяными изделиями, вроде резного шара, в котором внутри корабль, тоже мельчайше резной.

Долго считал, что этот музей — одновременно и институт восточных языков, где пытался учиться дядька до того, как пошел на режиссера.

Однажды мы пришли на Курский, и никого не было дома. Вдруг раздался звонок в дверь. Бабушка открыла: там стоял худощавый человек с открытым лбом. Он спросил, дома ли Андрей, и, узнав, что нет — ушел. Бабушка сказала, что это, наверное, Солоницын. Сказала негромко, словно разгадывая тайну и боясь спугнуть. Это и был Солоницын.

Имя «Андрей Рублёв» я тоже услышал от бабушки и тоже в ее манере: просто называть город, реку или имя, не объясняя. Я воспринял Рублёва в цепной связи с дядей — Дядя Андрей, князь Андрей, Андрей Рублёв. Бабушка пересказывала два наиболее поразивших ее места: как Рублёв не смог писать Страшный Суд и шаркнул глиной в чистую стену. И показывала — размашисто





и медленно. Скорее всего, шарахнул он не глину, а черную краску, да и вряд ли в старину художник-монах допустил бы такое шараханье, но бабушку это не волновало.

Второе бабушкино любимое место — как Дурочка в оскверненном татарами храме заплетает косу убитой девушке. Про колокол молчала, видимо, тоже не понимала, как так можно *такое* придумать...

«Ты колокола лить, я иконы писать...» И пусть вершины кино лишь едва касаются стоп литературы — знаю, Федору Михалычу тепло от этих слов...

Уже подросшим ездил на праздник в Юрьевец. Во Владимире вышли из автобуса, и Терехова показывала собор и место на угоре, где колокол отливали. Потом мы все куда-то пошли, а Терехова сказала: «Голова так болит» — и бросилась обратно, на место, где отливали колокол. Я вернулся за ней на высокий тот яр: она стояла, трепеща волосами на ветру — великолепная и опасная...

И еще было ощущение, что колокол и по сей день под нашими ногами — навсегда зарыт. Я был уверен, что лили его взаправду, и лишь недавно узнал, что из цемента.

Дядя приходит к нам

Не сказать, что дядя редко приходил к бабушке. Приходил. Как-то мы слушали пластинку «Бременские музыканты», а он пришел и с нами сидел, и странно было, как он после «Рублёва» *такое* слушает и не фыркает.

Он не фыркал, а потом взялся очень смешно рассказывать, как собирался на работу, а Сенька спрашивал: «Куда он?» — и ходил по комнате. И показывал, как ходит Сенька — длинно и размашисто, при растяжке ног проседая, как на шпагате: «Папа! Папа!» Чувствовалось, что ему нравится, что его зовут «папа», и он опробовал, обкатывал это слово. «Папа, не уходи!» — «Надо идти. На работу, денюжки зарабатывать...» Дядя Андрей весь сиял...

Про Цветаеву заговорили, и дядя — со своей растяжкой протянул, улыбаясь рисочками у глаз: «Претенциозная была дамочка...» Потом о Маяковском жестко. За наступание на горло песне и союз с властью... Ну да, мол, конечно, казнил себя за это... Но после...

Обаяние у бабушкиного сына было нечеловеческое. Облик неповторимый. Резок был и мягок одновременно. Крайне графичен на портретах, а в жизни поражал подвижностью черт. Улыбался глазами, собирая и распуская морщинки. Глаза — серые в зелень и необыкновенно живые, искристые, и вокруг них свое трепетное поле. На бабушку не похож. Очень широкие выдающиеся скулы, переходящие в торчащие углы челюстей. Кожа какая-то будто тонкая — такая должна плохо жизнь держать. Волосы объемно-плотные и как матовые, крылом лежащие. Весь быстрый, но при всей быстроте движений необыкновенно и даже вызывающе спокойный — словно двойной: рядом с живой, трепетной жилой — еще одна протяжка, почти надменная. Обожал сидеть ногу на колене и всегда одевался с щегольством, никак не вяжущимся с духовно высотой его картин.

Разные люди, разная притягательность. Есть поразительно обаятельные, совершенно ничего не создавшие и просто проживающие свою жизнь по высшему разряду. Бывают большие созидатели и художники, на вид совершенно заурядные и внешней статью недотягивающие до своих детищ. А Дядя Андрей сам был как произведение, и заслуга его пред культурой шла как добавка. Это было

и поразительно, и опасно: с детства казалось, что по-другому и быть не должно. И что остальные — сплошная недотяжка. Из художников такой сборной силой владел лишь Шукшин.

Дядя Андрей говорил странным, резким тембром, и мне страшно нравился этот голос. Несколько манерно и с прохладцей растягивал гласные, и на букве «л» оттягивая угол рта и им хлопая. «Очень сло-о-ожно...» «Су-о-о-ожно». С небольшим подвывом, изгибом на «о» — после хлопка углом рта. И сам в себе поддразнивал эту неисправность: «Лебедь уплыл в полумглу».

Рассказывал кому-то о задумке «Ностальгии» — несколько раз повторяя: «И вот этот конфли-и-икт!» Тоже с подвывом, снизу вверх. Я спросил маму, всегда ли он говорил с такой капризной растяжкой и таким подчеркнуто независимым менторским тоном? Она сказала, что когда стал знаменитым. «А до этого нормально говорил?» — «До этого — да».

Труднейший выпендрожник. Безапелляционная манера, если не высокомерная, то самоуверенная, как будто он все время на интервью у недоброжелателя-недоучки. А главное, все время осаживал твой пыл. У нас утонул товарищ. Говорю: «Большая беда. Очень хороший человек утонул, работал в экспедиции...» — «Как утонул?» — «Ну я там не был... Вроде выпил. И упал на берегу. Захлебнулся». Пожимая плечами и почти с возмущением: «Ну он же пья-я-яный был...»

Бесконечно возвращал собеседника на землю, и это являло поразительный, а может, и закономерный контраст с той высотой, с какой открывался в фильмах и на выступлениях. И казалось, право на высь завоевано именно земной этой остью.

Кобеля вязали?

В новую дядину семью бабушку приглашали, и она хаживала, но как-то крадучись. Прихватывала и меня раз или два.

Дом на Мосфильмовской. Пришли. В прихожей встретили Дядя Андрей, сын Андрюша и собака по кличке Дак, здоровый псина, про которого бабушка говорила — тоже с интонацией данности и без объяснений — «у них Дак». Сразу в прихожей зашла речь обо мне и моих планах-пристрастиях. С чего началось, не помню. То ли дядя из вежливости спросил, то ли бабушка решила мною хвастнуть, что, мол, после школы нацел на тайгу. И дядя негромко сказал Андрюше, словно в продолжение какого-то очень *ихнего* разговора, мол, видишь, человек уже знает, чем хочет заниматься.

Тут Дак ко мне подошел обнюхать и я, от смущения решив блеснуть бывалостью и открыться еще и собачником, спросил: «Кобеля-то вязали?» Ожгло ощущением глупости, пошлости, того, что дядя уже прорезал меня искристым своим взглядом вместе с моими мыслишками и резонишками. И все при том, что с Андрюшей у них чувствовалась теснейшая, вызревшая какая-то перевязь, и в его присутствии у дяди наверняка обострялся нюх на фальшинку. Андрюша вопросительно глянул на отца и негромко спросил, что значит «вязали»? Дядя что-то ему камерно ответил, а мне сказал, что нет, не было такого дела вязального. А потом для всех с улыбкой и растяжечкой продекламировал: «Он вообще спокойно относится к женщинам». И добавил совсем навывнос и с иронией над особо падкими: «Как всякий настоящий мужчина».





Как-то ходили с мамой на его день рождения. Снова прихожая с большим зеркалом. И у зеркала сестры Чугуновой, близняшки. Брюнетки-красавицы... Обе в черном. Одна перед зеркалом очень старательно и показательно мажет помадой губы, сильно орудуя ртом, кругля его и пристально в него вглядываясь. У нее черные брюки в обтяжку, а выше — кителек или еще что-то, тоже обтяжное, короткое и открывающее полосу смуглой спины с ложбиной позвоночника и гладкими мышцами. Кто-то произнес слово «Реквием». Она, как со сцены, восклицает: «Я же пела его! Я пела!»

В гостиной-кухне пригостительная возня, и дядя нас приглашает в комнату, где мы садимся втроем и разговариваем. Кто-то звонит, входит. Дядя срывается, выходит и возвращается с чем-то коньячным в матовой бумаге и морщится, кулуарно и с прохладцей: «Что за манера с бутылками приходиться». И, спохватившись, хлебосольно: «Хотите арманьяк?» И угощает нас арманьяком поразительной мягкости. Мама, любую каплю употребленного мною спиртного обращающая в катастрофу, ни слова не говорит, а я и рад и солидно пригубляю. Дядя к этому времени в преддверии «Ностальгии» побывал в Европе, в Париже, кажется. Речь зашла о лечении зубов, и он рассказал, как ему лечили зуб, и как там все организовано: делают укол и работают двое — врачиха и помощница, и что это страшно дорого, но ему сделали «естественно, бесплатно».

Дядя спрашивает про Енисей. Я говорю, что «вот, в экспедицию туда езжу». Невозможно хочется услышать что-то восторженное о Енисее, и я спрашиваю: «Как тебе места?», а он отвечает, что места действительно великолепные. Спрашиваю, помнит ли он Мирное и Бахту, которые проезжал на барже? Он не помнит, помнит Туруханск.

Я говорю что-то восхищенное про енисейских мужиков, выводя на народ вообще. Он морщится, совершенно как князь Андрей при слове «жена», и тянет: «Дорого-о-ой Ми-и-иша, о чем ты говоришь, русский народ давным-давно-о-о кончился». На меня веет чем-то дворянски-эмигрантским и одновременно убийственным, связанным с отнятием права на будущее.

Мне страшно хочется звать его не Дядя Андрей, а как все — Андреем, но на такое панибратство я не решаюсь. Даже обращение «ты» для меня почти усилие. Спрашиваю: «А вот мне бабушка рассказывала историю, как ты ночевал в тайге и кедрá (специально говорю «кедрá», а не «кедр», небрежно так) упала». — «Да, — как-то сразу, не напрягая память, отвечает дядя, — было такое дело». Я лезу дальше, мол, а ты не придумал, случаем? И он говорит, что придумал. Или подслушал — не помню...

Наконец всех пригласили за стол, за которым Дядя Андрей с женой вдруг заназывали друг друга на «вы». Через какое-то время Дядя Андрей уже совсем застольным вещающим голосом предложил выпить за Ларису Павловну, и угол рта хлестко отыграл на буквах «л». А потом образовался между ними диалог, смысл которого состоял в том, что ей трудно быть женой такого вот человека. И он несколько раз повторил: «Я понимаю, как вам трудно!» А она, понимающе кивая, каждый раз опускала глаза и говорила отрывисто: «Да. Да!»

Больше ничего не помню, и, кажется, мы рано ушли.

В этой же квартире оказались мы с мамой на дне рождения Дяди Андрея, когда он уже был за границей и, видимо, ждал разрешения на выезд семьи. Народу было немного, и смотрели по видеомagnитофону «Ностальгию». Картина

показалась придуманной «Рублёва» и «Сталкера», словно в тех были события, а здесь зашифровка идей.

Присутствовал и друг родственника Дяди Андрея по молодежно-музыкальной линии — очень носатый и прядисто длинноволосый человек в коричневых очках и с висячим подбородком. Волосы у него были мучительно откинуты назад. Мама потом вспомнила, что это «какой-то певец»...

Он смотрел молча, а перед проходом Янковского со свечой необыкновенно значительно и бархатно проконстатировал: «Это важное место». Когда фильм закончился, все как-то перешло на видеомagneтофон, и мы с женой спросили, сколько он стоит, а человек с бархатным голосом сказал, что две с половиной тысячи. И мы, чтобы не показаться бедными, зачем-то переглянулись и сказали, что надо будет «обязательно такой купить».

Потом был сеанс связи с Дядей Андреем по телефону. Всех по очереди приглашали, и настал мой черед. Я пролепетал: «Здравствуй!», поздравил с днем рождения, спросив что-то вроде: «Как ты?», в который раз поражаясь этому «ты» и не зная, что говорить. В ту пору из собиравшегося жить на Енисее я превращался в живущего, и енисейская тема упрощала общение со мной, избавляя от придумывания вопросов, и дядька спросил: «Ты все так же интересуешься птицами? И ездешь на Енисей?» С чувством слова, подтвержденного делом, я сказал: «Я живу на Енисее». — «Это очень хорошо. Там надо жить», — сказал Дядя Андрей совсем издалека. И было непонятно, почему он в том далеке, если надо жить на Енисее.

В 1986 году под Новый год вернулся я в Бахту со своего первого промыслового сезона, точнее до новогодней его части. У меня еще не было жилья, я жил то у своего друга Толи, то у наставника Геннадия. Под Новый год освободилась старая промхозная контора, и я туда заселился. Поставил стол, купленный когда-то бабушкой, на него дедовскую подставку под перья — мельхиоровую с литьем. Морозы стояли под пятьдесят, а я подцепил гуляющий по деревне грипп и валялся с температурой сорок. Встанешь подтурить печку, аж кидает...

Оклемаюсь кое-как к 29-му числу. Слышу, прогремел и остановился «буран», подкатив по гипсово-твердому снегу на уровень окна. Перекатываются хрусткие шаги, отдаются по всей избе — снег так плотно и твердо примыкает к срубу, что образует единый короб. Всплывая из сорокаградусного жара, слышу здоровые и сильные эти звуки, как через вату. Раздаются несколько глухих через рукавицу ударов, и, не дожидаясь ответа, вваливается в клубах пара Геннадий Соловьёв в длинном до пят азяме (суконной куртке). Заиндевелые полы как две плиты. Он с ведром, которое не стал оставлять, чтобы кобели не испакостили, и, понятно, едет по воду. Войдя, рубит своим глуховатым голосом: «Здорово! В общем плохо дело — дядька твой умер!»

И уехал, но не трусливо, а понимающе — оставив меня наедине с известием.

Что-то перевернулось в душе в эти минуты, и кроме чувства дикой потери возникло новое чувство — что шутки кончились: ноши добавилось.

На девять дней меня отпустили в Москву, промхоз чуть ли билеты не оплатил, и был сбор у нас дома, было горе, еще и двойное, оттого, что он где-то там умер, а мы тут... И были люди, разные, каждый со своей судьбой, самостью... Все говорили... Тетя Ира, первая жена дяди, сказала, что, когда увидела его в коридоре ВГИКа, ее как током пронзило — когда она увидела «его глаза, горящие и беспомощные».





Я вернулся в Бахту, и в январе шли по телевизору дядины картины, а в тайге по радики — обсуждения. Мужики никак не могли подобрать оборот, чтобы выразить впечатление необидно и для себя, и для дядьки: фильмы были настолько странны и непривычны, что непонимания было больше. Хотя, что можно увидеть на черно-белом телевизоре с прыгающим светом... Один возмущался: «Смотрел этот Скалт, Стак, Скалкер...» Он так и не прожевал стекла, но этим ломанием языка все было сказано. Потом Саня Устинов (позывной Черемшанный рúчей) сказал: «Не для средних умов», и всех эта формулировка устроила. А Вася Слабодинский, наоборот, сказал: «Да чо вы, мужики, — по мне, дак все понятно».

Так и сидел я на подслухе, слушал отзывы и был меж двух огней: понимал и мужиков, и то, почему им картины чужды. И погибал от страстного желания, чтобы кто-то заразился ими, требующими погружения, безоглядного доверия и сердечного мужества и грозящими потерей всего остального кино — в лучшем случае штукарского, а в остальных пустого и как разбавленного.

Задолго до этого в Москве в кинотеатре «Витязь» мы ходили на просмотр «Соляриса». Сзади сидел с двумя девицами молодой хлыщок артистической повадки. Маленький, круглобошкий, лысоватый. Весь фильм он пошлейшим образом комментировал происходящее на экране, а девы прыскали со смеху. Когда по коридору космической станции проходила под звон колокольцев бывшая гиборяновская возлюбленная — в чем-то коротком, зеленом и невыносимо прозрачном, — он сказал, что он обязательно бы «такой девочкой» воспользовался. Подружки снова прыснули... А хлыщок еще долго пытался пошлить, а потом сказал, сам от себя устав и словно остывая: «Он, конечно, сумасшедший...»

Кастет

От бабушкиного сына мне достались кастет, шапка и ремень. Кастет — времен его молодости и дворово-уличных боев. Очень грамотно сделанный, небольшой, грозного вида — с колючими вперед зубьями. Шапка-ушанка с ржавым твердым мехом и кожаным верхом — коричневым и испорканным. Верх круглый, как шлем, и шит из долек. Ремень — офицерский, редкий — с разрезной бляхой и шпичечком, на который ремennyй охвосток надевался дырочкой. И шапку, и ремень я износил по лесам... Мало меня драли в детстве, а еще меньше в юности. Ремнем-то в аккурат было бы...

Кастет я нашел завернутым в тряпку в шкафу. С ним вышла история.

От Стремянного к школе вел земляной проулок. И в нем рыли траншею, и туда провалился задним колесом грузовик, вековечный темно-зеленый ГАЗ-51. Шофер остановил проезжавшую по Стремянному грузовую машину, зацепил трос, та потянула, но лишь забуксовала и задергалась. Рядом стоял здоровенный мужик в рабочей одежде и, качая головой, повторял: «Не-е-е, я грю, сюда груженого МАЗа надо».

Вот по этому проулку, идя из школы, я перебежал Стремянный перед грузовиком, едва под него не угодив. Это мгновенно стало известно: «Мишка безобразно написал урок. Весь расхлябан. Разбил, ложась спать, белый абажур — уронил со своего столика лампу, пятился, чтобы пропустить меня к его

кровати. Вчера (из-за Кольки Лианозова) чуть не попал под грузовик. Глаза его чесучие здесь ни при чем».

А вышло вот что: после школы я показал Лианозову кастет, но вместо того, чтобы испугаться, Колька мгновенно завалил меня и, отобрав кастет, начал им же меня и дразнить. Я кинулся за ним, и мы перебежали Стремянный перед грузовиком, который меня едва не подмял — тормоза закричали ржаво-крикливо. К моей скорости мерзопакостно добавилась наддача хода, постыдный затылочный холодок... А после на тротуаре нелепое замедление, чувство вины и оглушительной подавленности.

Грузовик косо остановился у тротуара, и из него, не закрыв дверь, выскочил с белым лицом водитель и, нагнав меня, несколько раз показательно шарахнул по голове кулаком — костяшками вниз. «Будешь еще так делать?! Будешь?» Когда он уехал, подошел Лианозов, вернул кастет и проверил по-хозяйски, все ли во мне цело, — но не ради меня, а так, для общей безопасности. Кастет я дома потихоньку убрал в шкаф и больше не видел. Бабушка, видно, его «ликвидировала».

Так еще одной памяти не стало.

Лето после девятого класса я провел в Туве в противочумной экспедиции. Так закончилось наше деревенское векование с бабушкой. Это сейчас сжимается сердце от слова «закончилось», а тогда лишь брезжили сибирские дороги и была лишь помехой бабушка со страхами, что меня «испортят» и приучат к «вину».

Рассказывали, что она действительно звонила начальнице и беспокоилась, не «испортят ли» меня. Но не испортила меня ни дорога на поезде в Абакан, ни переезд через Саяны по Усинскому тракту, не говоря уже о полете в Мугур-Аксы и всем остальном фантастическом лете, закончившемся выездом через Монголию на машине, поскольку перевал через Цаган-Шибэту был закрыт облачностью и АН-2 не пускали.

Не испортили меня и вершины, как по линейке посеребренные инеем и присыпанные сухим сибирским снежком. Не испортили настолько, что от одного вида остроконечных саянских елок и пихт у меня сбилось дыхание и этого хватило, чтоб навсегда вернуться.

Третье зеркало

По возвращении из Тувы я всю жизнь жил жизнью десятиклассника, возвращаясь из школы, от друзей, из лесу, куда ездил на каждые выходные, в нашу с бабушкой комнату.

Одно воспоминание об этом родстве и соседстве доводит сердце до замирания, и меня интересует лишь одно: чего было больше — бабушкиных огорчений моим невниманием и грубостью или теплых минут нашей близости.

Скорее, все-таки огорчений. Бесконечные пикировки и пререкания, касавшиеся каких-нибудь словечек и слов, моего поведения, уважения к ней и ее обычаям и, конечно, всего того, что касалось ощущения бабушкой современного мира, меня в его лице и всего, что я приносил домой из школы, компании, с улицы.

Так и стоят в ушах бесконечные: «Не груби», «Не осли» и «Не переговаривай». Переговаривать означало править бабушку или поддразнивать.





Какое-нибудь слово могло быть серьезнейшим поводом для разлада — именно оттого, что бабушка очень хорошо чувствовала время и состояние поколений. Особенно ее огорчало, что люди с отбитыми корнями и без чувства истории часто стыдятся простых слов, на которых росли деды и бабушки. Слова эти, по их представлениям, будто бы свидетельствуют о некоей «некультурности», и эта падкость на лжекрасивое, лжекультурное, вырвиглазное для бабушки было источником извечного раздражения, особенно когда я, набравшись расхожего духа, лил воду на подобную мельницу.

Война шла вокруг какого-нибудь нелепого слова, и чем сильнее была его нелепость, тем больше страсти вкладывал в свою линию каждый. В те годы в обиход входило стыдливое слово «туалет», настойчиво теснившее привычную «уборную». Как ни пыталась бабушка объяснить, что «туалет» — это столик, за которым женщина приводит себя в порядок, я нет-нет да и сбивался на нововведение, а то и «переговаривал», то есть поддразнивал бабушку за ее «уборную». Или «ослил» — пытался вышучивать «уборную», а заодно и бабушку с ее пристрастиями и непривычкой к разжёвке.

У бабушки начиналось «сердцебиение». Она просила «перекратить», а яправляя: «Не перекрати, а прекрати!», а бабушка еще сильнее молила «перекратить» и объясняла, что от каждого моего слова сердцебиение сильнее и сильнее.

Зависимость от моих слов ее здоровья казалась капризом, спекуляцией, чем-то даже и возмутительным: ведь раз так, то я какой-то губитель, а я-то хороший! Изнемогая, бабушка так и говорила: «Зачем ты меня губишь?»

Иногда от безвыходности она могла списать вину на кого-то из моих обобщенных старших товарищей: «С этими великовозрастными балбесами ты совсем охолпел». Слова: «великовозрастные», «охолпел» казались мне раздражающе вывернутыми, и я только пуще «ослил».

У меня был одноклассник Пястолов. Я закривлялся, а бабушка пригвоздила, опознала: «Ну всё — это Пястов!» В тоне ее я услышал гордость за то, с какой точностью она определяет любой объект моего обезьянничения. Досадно было страшно, потому что, во-первых, мальчишку звали не Пястов, а Пястолов, а во-вторых, Пястолов был абсолютно образцовым отличником, тихо-спокойным и еще и освобожденным по здоровью от физкультуры. Он не кривлялся вообще.

Случалось, бабушка и гордилась мной: была в школе олимпиада по биологии с вопросами по птицам. Я победил на классной, школьной, районной олимпиадах, а на городской взял хорошо баллов — почти победил. В одной из школ набирали биологический класс. Мне предложили пройти собеседование. Я прошел и был принят.

Но вообще, школьная жизнь меня не особо занимала, и главным оставались лесные компании, сапоги-телогрейки, ночевки у костра с винишком, которого панически боялась бабушка. И гитара была, на которой я всю долбил аккордами, а бабушка раздражалась и требовала, чтобы сыграл мелодию. Плохо, обидно и бессильно было бабушке — налаживала в лес, а тот вылез не дружкой со зверюшками, а кострами да компаниями.

Была горчайшая история.

После того как я «сломил палочку» вьюжной старушке, я, приехав домой, ни слова не сказал о случившемся бабушке. Боялся растрогать, да и слишком своим считал и это воодушевление, и гордость за способность к состраданию, и свое сладостное ошеломление...

Ввалившись и скинув рюкзак и воняющую костром одежду, я замер у зеркала, изучая свою физиономию — меня интересовало, насколько она обветрена и достаточно ли хорошо заметна эффектная царапина от сухой еловой ветки, через которую я продирался за хворостом для костра. Подошла бабушка, остановилась рядом со мной так, что я и ее увидел в зеркале. Она была ниже меня и лицо ее казалось белым по сравнению с моим, нажаренным ветром. В перевернутом слева направо бабушкином изображении обнаружилась непривычная асимметрия: правый глаз чуть ниже и угол рта слегка будто обвис. Я искренне и научно удивился наблюдению и воскликнул: «Бабушка, какая ты кривая!» А бабушка дрогнула лицом и сказала негромко: «Да. Кривая и старая». Заплакала и ушла в свою комнату.

Бабушка на собрании

Бабушкина забота сопровождала меня все старшие классы. Я плохо учился по математике. На уроке меня подняла учительница, маленькая, черненькая в очках, с беличьим личиком. Спросила что-то, но я опять прослушал и не знал. Она выговорила: «Опять ты работать не хочешь. Отвлекаешься. А потом бабушка будет приходить четверку вымалывать». Вымалывать... Стыдно было перед одноклассниками и обидно за бабушку — мне в голову не приходило, что она за меня просила.

Ходила бабушка и на собрания. Одноклассник рассказывал со слов родителей: после собрания все делились достижениями своих детей. У кого-то горные лыжи, музыка у кого-то. Бабушка сказала: «А мой Мишка все в лес норовит. Мешок на себя навьючит и только его и видели!»

Дедушкины шутки

На кухне бабушка раскладывала пасьянс — «картинную галерею», «косынку» и «могилу Наполеона». Сидела в каком-то, как мне казалось, вынужденном сосредоточении, будто занимая время, отвлекаясь от грустного. И тоже будто падение: бабушка и карты, от которых всегда пошлинкой веет, особенно от дам и валетов. У бабушки и здесь свое деление: терпеть не могла, когда говорят «крести» — надо «трефы», ну а уж «вини» предел вырвиглаза. Хуже, чем «буби». Разложив пасьянс, сгребала и убирала карты в коробочку из карельской березы, всегда стоявшую на кухне. Я тоже научился раскладывать и, помню, даже увлеклся бездумным этим занятием.

К бабушке приходили разные люди. Сидела с ними на кухне, курила, долго выдыхая через ноздри, говорила увещевающе твердо, по обыкновению объясняя явление одним каким-то всеильным словом. Особенно рьяно ходила Валя-Контральто, с которой они уединялись, и та обрушивала свои любовные незадачи, а бабушка сдержанно наставляла.

Стала названивать бабушке наша учительница литературы Римма Зиновьевна, пожилая в очках и с претензией на неказенный подход в обучении: на литературном вечере поставила пластинку Высоцкого. Пригласила дочь, видную девицу в брюках, тоже в очках, но свежеекастую. Глядя поверх голов, та читала Блока леденяще актерски, и молодые люди сглатывали и переглядывались.





Римма Зиновьевна прорвалась к бабушке в гости, принесла стихи свои, заставила читать и «высказываться». Потом выпросила у бабушки тетрадь с девдовыми стихами (будто для литературных изысканий) и долго не возвращала. Хотя приходила, чего-то от бабушки требовала, а бабушка потихоньку дозревала до развязки. В конце концов Римма навсегда убежала, а бабушка бросила: «Институтка».

Приходила тетя Ира Шигорина, бабушкина кинешемская подруга, самая мною любимая. Сидели с ней в комнате — бабушка вышла, а я стал рассказывать, как хорошо бродить по родным просторам, и что бабушка тоже вдоволь отбродила, особенно по Заволжью... Разговаривал с тетей Ирой по-взрослому, ощущая вольность, которую не позволял с бабушкой. Тетя Ира согласилась: «Да. Что может быть лучше такого брождения... Особенно если с милым...» И это с «милым» прострелило, показалось и правильным, и почти излишним, открывающим тетю Иру с другой, ненужной стороны... Поссорились они с бабушкой из-за пустяка.

Иногда к нам заезжал и дед с женой, и мне в который раз казалось, что дед мучит и, несмотря на другую жену, не отпускает, держит на привязи бабушку. Вынуждая сидеть покорно-сосредоточенно, и все равно... светясь его присутствием.

Ездили и мы к деду, чаще с мамой. Дед был балагур, то говорил перевертышами, которые мы потом долго повторяли: «Кулочная-бандитерская». Или: у мамы зеленый плащ, я говорю, что она, как гусеница: «мама гусеница». Он: «гама-мусеница». То вдруг сыпал двустушьями: «Философ древности Сократ купил по случаю домкрат». «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что я с приветом». То цитировал будто бы открытого им поэта Голованова. «Старичок, вдруг так захотелось домой». «Кто здесь Голованов? Я здесь Голованов». («Спит моя любимая — сердце океанов» — это продолжение я узнал позже). Или

Больной убегает из замка
При свете вечерней зари.
Не вскрикнула даже цесарка,
И ключ оказался в двери.

Цесарка его умиляла. А я представлял этого Голованова каким-то сумасшедшим, бедовым и бездомным старичком и спустя годы был удивлен, что за этим именем скрывался московский кинодраматург, вполне вменяемый и почти маститый и написавший примечательное посвящение Есенину. «Я знаю, Вы ушли не своей волей, что декорацией была петля».

У деда была распечатка стихов, и он специально выискивал именно детски-странные или бредоватые строки. После «цесарки» дедушка мог добавить, продолжая куриную тему: «Как у Чехова, “Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет!”» — и повторит, радуясь, что и нам смешно: «Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет!» Потом вдруг процитирует: «Упыьем уодки. Уолт Уитмен».

Потом вдруг вспоминал анекдот про английский юмор: «Немцы в войну построили деревянный завод, а англичане бомбили деревянными бомбами». И смеялся, чуть трясясь. Байка оказалась правдой, только речь шла не о заводе, а об аэродроме.

Научил нас куплетам про обезьян, которые страшно понравились бабушке, и она долго их повторяла и всячески распространяла. Пелись они на мотив «По-забыт-позаброшен». Там были такие слова:

«Ах, Саргассы, Саргассы,
Здравствуй, мой капитан!
Не привез ли ты мяса
Для моих обезьян?»

А капитан отвечает:

«Обезьяньему классу
Верно служит матрос:
Не привез я им мяса,
Но бананы привез!»

Тогда заваривался следующий куплет:

«Ах, Саргассы, Саргассы...
Здравствуй, мой капитан!
Ты привез ли бананы
Для моих обезьян?»

И следовал ответ, что «не привез он бананы, а котлеты (конфеты, пакеты) привез». И так до бесконечности.

Бабушка легко поддавалась полосам увлечений, и такая песенка могла стать мотивом целой недели или месяца. Помню как-то раз ее подруга по Кинешме Нина Юрьевна Алексеенко научила ее допотопной будто бы морской песенке про океанский пароход, груженный дурачками пассажирами.

Из Нью-Йорка в Лиссабон
Пароход в сто тысяч тонн
Шел волнам наперерез
И на риф налез.

И погиб трансатлантик
С экипажем в тот же миг,
И никто не был спасен,
Кроме трех персо-о-о-н:

Мисс Кэ-э-эт, двадцати пяти ле-е-ет
Из Монтельеро. Дочь миллиардера.
Один матрос — Юпитер-Питер Досс
И вождь индейцев Лисий Нос.

Ритм ломался и следовал куплет:

Плыли они в бочке
Из-под керосина
Иль из-под бензина:
Это все равно.

А дальше шел куплет, который очень бабушку смешил:

Вождь индейцев был умней:
Он развел костер на ней...





Мне подобная ирония казалась неуклюжей и старомодной. А бабушка все это запоминала, напевала и теплую радость испытывала...

Или вот есть названия театров — имени Станиславского... И дед придумывает не театры, а драматургов. Например, «Станиславский имени Немировича-Данченко». «Островский имени Сухова-Кобылина». Скорее всего, его это действительно смешило, но мне казалось — он больше для нас забавлялся, чтоб не мучили серьезным. Общение ему становилось с годами все тяжелее. Он то развлекал нас стихами и куплетами, то просто сидел, постукивая костылем и чуть улыбаясь на мамины слова — появилось у него даже вроде тика: соборивать и выдвигать морщинисто губы, словно хотел кого-то поцеловать.

Однажды так соборивал-соборивал и вдруг сказал: «Войны не будет. Такие арсеналы накоплены».

Дедушкин вечер

Был вечер в Политехническом музее, на котором дедушка выступал в наборе с известным гитарным певцом, дедом — сыроедом и академиком, и молодым общественным проходимцем самонадеянной повадки. Выступали по очереди.

Бард спел про Моцарта, который не выбирает Отечества, но зато напиливает на скрипке, невзирая на то, что окружающая жизнь «то гульба, то пальба». Несмотря на гниловатое содержание песня впечатляла мелодичностью. Выступавший следом политик впал в историю и, рассказывая о древних временах, все время ссылаясь: мол, жизнь у наших предков была... как вот тут «наш уважаемый бард» спел, то гульба, то пальба... «Хе-хе»...

Дед-академик с южнорусским говорком был одержимым. Громко и с жаром проповедовал он свое питание, рассказывал, как с утра съедает огромную тарелку крупно нарубленных овощей — и что эту грубую пищу, *клетчатку*, обязательно нужно есть, чтобы запустить желудок. К слову, несмотря на чудаковатую повадку, человек этот много сделал в медицине.

Потом вышел мой дедушка и прочитал стихи, которые я до этого видел лишь в книге и, как оказалось, недочувствовал. Оворожило стихотворение «Вот и лето прошло» открытием, ясным образом света, строкой «день промыт, как стекло», тщетой какой-то, душевным знанием и покаянной бессильностью этого извечно «мало». Глубоко, сложно поразили «Первые свидания», которые, я не сомневался, посвящены бабушке. Была там и пульсирующая в хрустале вода из первых моих замоскворецких весен — мама принесла вербы и поставила в длинную хрустальную вазу... Годы спустя с разочарованием и досадой узнал я, что речь шла не о бабушке. Точно так же собственнически я считал, что «Марина», «стирающая белье», — моя мама.

Третье стихотворение, которое запомнил я столь же ясно, называлось «Игнатъевский лес»...

Слушали зачарованно, особенно запомнился еврейский дяденька, в блаженстве полуприкрывший глаза. Эти характернейшие полуприкрытые глаза я частенько наблюдал в те годы на культурных сборищах. Надо сказать, их обладатели деду благоволили и даже приписали стихотворение про верблюда на свой счет, усматривая в нем едва ли не гимн.

Дед выступал в костюме, на костылях. Стоял, лоя равновесие и держа одной рукой книжицу — видимо, наизусть не помнил. Читал, чуть подрагивая голосом, и выделяя «я» — «несет землянику», «девочка Серебряные Руки».

К моему раздражению в конце дедовского выступления планово вклинился известный актер, рослый, породистый, с круглым черепом и большой зальсиной. Необыкновенно вертлявый и похожий на оживший галстук из мультфильма, он некоторое время шикарно вился, метался и изливался у микрофона во славу деда, а потом очень живо и артистично прочитал поэму «Чудо с щеглом». Улыбаясь в наиболее забавных местах и прикрывая глаза в самых лирических. Дед одобрительно сидел все это время, а когда поэма закончилась, чтец приобнял его и, сияя, удалился.

Из зала стали передавать записки — сложенные в несколько раз бумажки. Дед, балансируя на протезе и костылях, держал записки в руке и читал по очереди.

Спросили, как он относится к творчеству своего сына. Дед ответил, чуть улыбнувшись: «Положительно», и все захопали. А по завершении вечера сидящая рядом маленькая пожилая и загадочная женщина сунула мне букет: «Поди поздравь деда — как следует», и я выперся на сцену. Удивленно, как Дядя Андрей возле Хутора, дед протянул мне руку. Я не понял, признал ли он внука. Он очень волновался и устал.

Мама и бабушка были со мной рядом на этом вечере, но, к стыду, не помню их вовсе.

С претензией на выси

Одноклассник попросил показать деду свои стихи. Были они с замашкой на высоту — в одном воспевалось нечто, что, «наверно, временем зовется», в другом он ждал вдохновения. «Я чувствую грядущие стихи». Я показал деду и попросил написать несколько слов. Дед написал письмецо на целых полстраницы. Одноклассник надулся, мол, тоже поэт, а такие общие места говорит. «Это мне любой рядовой писака сказать бы мог...» Позже он заключил фиктивный брак с финкою и уехал за границу, но не на берег моря, северного или южного, а в Европу. Перед отъездом сказал в телефон томно и в нос: «Я отбыва-а-аю». И поделился своими опытами в области «дрейфа искусства».

Дедушка же написал примерно так:

«Молодой человек, работа над стихами — тяжелейший и подчас невыносимый труд. В поэзии недопустима неопределенность понятий и образов и не бывает ни одного случайного слова. Даже в самом сложном и лирически многослойном стихотворении поэт четко должен знать, что хочет сказать. Желаю вам терпения на этом нелегком пути».

Еще «стыдобушка»

Была еще одна стыднейшая встреча с дедом... Огребя тройков по математике и химии, я не поступил в университет и год проработал на биологическом факультете в виварии кафедры зоологии позвоночных — той самой, на которую метил. Считалось, что за зиму я подучу химию и поступлю со второго раза, а работа вращает меня в факультет. Требовалось кормить разнообразных мышевидных



и убирать в клетках. Напялив грязный халат, таскал мешки — то с опилками, чистыми и грязными, то с капустой и морковью. Штатно забегали студенты кафедры с портвешком — место было давно облюбованным, — шли в ход морковки с кочерыжками. Работа требовала аккуратности и дотошности, но при всех моих зоологических интересах, к уборке мышей душа, как выяснилось, не лежала... При этом замечательные воспоминания оставили муйские полевки — из-за своего происхождения в Муйской котловине в Забайкалье: Восточной Сибирию я бредил. Большие, почти черные и запредельно пушистые. Ворс торчал под девяносто градусов, и полевки выглядели смешно тупомордыми. Ими заботливо занималась одна милейшая женщина, писала по ним диссертацию.

К чистке клеток я относился все халтурней, еле доживая до вечера пятницы, чтобы свалить с товарищами в лес. А там телогреечка, костерок, гитарка... К весне сиреневой поволокой взялись дали, налились, переходя в нежную зелень, светясь салатovým контурком... Все постылей казался город с воньким виварием, клетки с мышиным пометом. Еще и подготовка к экзаменам добавляла... валентности хрома.

Виварий располагался на четвертом этаже, но иногда я спускался и на второй — главный. Факультеты университета были сделаны богато — как первый класс пассажирского парохода: лакированные двери и окантовки темного дерева, греческие парапеты и широкие лестницы. Понесло меня в замаранном халате на второй, парадный этаж. И вот приближаюсь к двери деканата, особо лакированной и породистой. Вдруг она открывается и навстречу мне выходит дедушка Арсений.

На костылях, по своему обыкновению, шагает широко, галсами. На расстегнутом пиджаке планка орденов. В замешательстве подхожу, он тоже будто в замешательстве сует мне руку.

Я мгновенно догадался, что он просил декана помочь мне поступить и что его, в свою очередь, просила мать или бабушка... И что это от меня скрывалось, и я взял деда с поличным. Годы спустя выяснилась и зацепка: дед знал деканова отца — поэта Виктора Гусева...

В университет я не поступил, хоть мне и натянули четверку по математике — трояк по химии и сочинению никуда не делись. В августе я поступил в пединститут с пятерками. Даже участие деда не привело меня на биологический факультет. Но Бог знает, как сложилась бы жизнь, поступи я на зоологию позвоночных: вдруг до Енисея бы не доехал.

Головизна

После первого курса тетка по отцу тетя Нина Ерошенко по моей просьбе устроила меня к друзьям в экспедицию в Бодайбо. Экспедиция была от того же института НИГРИЗолото, от которого ездил Дядя Андрей на Курейку, только теперь институт назывался ЦНИГРИ. Мы работали неподалеку от поселка Кропоткин, где стояли на ключе небольшим отрядом. Мое дело было долбить молотком породу и выбирать кварцевые жилы с кристалликами золота. Образцы я клал в мешочки, которые тащил в рюкзаке к машине, шестьдесят шестому «газону». Мы приезжали в нужное место горы и оттуда шли пешком к жилам, траншеям или шурфам. У меня оставалось свободное время, и я отпрашивался у начальницы, очень интеллигентной пожилой женщины, к стыду, забыл имя,



кажется, Екатерина Александровна. Меня отпускали, я брал рюкзачок, где лежала закопченная банка с проволочной ручкой (для чая) и фотоаппарат. Переваливал за сопки, пил чай у ручья с рыжими камнями, искал, ловил, переживал образ Восточной Сибири, сверял с вычитанным. И то находил, то нет: тайги густой и сплошной здесь не росло, только по долинам, распадкам. И больше было гольцов с лиловым курумником, сопок, мягко-мохнатых от кедрового стланика. Набрел я однажды на таежку из худосочных елок и кедров и рад был сердечно, испугнув с пола двух каменных глухарей.

Пожалуй, сильнейшим и наиболее драгоценным из тех впечатлений был образ трудовой Сибири, промышленной, промысловой, старательской. Трудовой этот и нежданно народный дух, который я хватил лишь краем, произвел на меня сильнейшее впечатление и окончательно наставил на сибирскую долю. В ту пору я был студентом, и мое возвращение в город к лекциям в теплых аудиториях казалось постыдным по сравнению с жизнью бодайбинских работяг. И страстно хотелось вернуться в Бодайбо и уйти в осень, в зиму.

Жил я на подбазе в Бодайбо, где меня поселили в пустом бараке, указав на раскладушку со спальным мешком. В этом неизвестно чьем спальном мешке я подцепил вшей. Одновременно у меня воспалился зуб и вспух целый флюс. Зуб я пытался еще на лагере полоскать одеколоном, наливая в крышку от футляра своей подозрительной трубы. Даже глотнул для эксперимента одеколону — не плевать же.

Вшивость я определил не сразу, пребывая в настолько очарованном состоянии, что чесотка, начинавшаяся ночью и не дававшая заснуть, была чем-то непонятно-невнятным — я решил, что чешусь от грязи. Сходил в баню, не помогало. Поехали на Бодайбинку по ягоду, и, идя по лесной дороге, я поймал на себе небольшое насекомое, но, продолжая недоумевать, допустил, что на меня прыгнули с дерева.

Надо сказать, что патлат я был в те годы по плечи и моим поселенцам обиталось вольготнейше. Поэтому жили крепко, откладывали личинки и выводились. Пока мы ждали самолета на Иркутск, я расчесал голову до струпьев.

Упоение экспедицией перевешивало все. Довершил дед в иркутском аэропорту, сухой, бледно-синий, с несусветными руками. Кисти с распухшими суставами так и застыли полуковшами. «Промывальщик», — подумал я зачарованно. А он все говорил сидящему рядом пареньку, как искать золото. Поразили слова. «Падун» (водопад) и «проходнушка» (деревянный шлюзик для промывки золота) лишь детский лепет по сравнению с тем, что я слышал, да не запомнил. Дед не наставничал, он проповедовал, громко и страстно, не глядя на слушателей, и что-то трагическое, ярое, авакумовское было в тщетном и страстном его посыле.

И вот московский большой самолет. Пока вырливаем, проводница объявляет, что погода ясная и что, когда взлетим, по левую мы сможем увидеть «заснеженные вершины Восточных Саян». Едва я услышал магические эти слова, как мураши поползли по спине и теплой щипучей волной стопило глаза.

Вваливаясь в нашу квартиру, я почти догадывался, что творится с моей головой: «Мама, посмотри мою голову, мне кажется, у меня лишай!» Отца дома не было, мама с бабушкой потащили меня в ванную, где мама чесанула гребнем, и все, кто там жил, по выражению бабушки, «с треском посыпались» на дно ванны. Потом бабушка сказала: «Давай головизну». Я дал головизну, и бабушка



полила ее керосином и надела на нее мутно-прозрачный полиэтиленовый пакет. Не помню, долго ли напityвали расчески и струпья керосин и сколь вышагал я по квартире, пока бабушка не раскабалила головизну.

Я все не стриг шевелюру, несмотря на бабушкин указ, и на практикуме по зоологии беспозвоночных, показательно порывшись в волосах, извлекал белую точку и совал на предметное стекло, всячески остря. Вскоре настала военная кафедра, и подстриженная головизна утратила последнее материальное свидетельство моего бодайбинства.

Зато память как с цепи сорвалась: я сочинял о Бодайбо песни, кипятил на газовой плите чифирь и мешал со спиртом, хотя никто у нас в отряде так не делал, и все я взял у Астафьева и Куваева...

Дед Сережа

В Бодайбо меня отпустили с геологической практики с условием, что привезу образцы. Я и привез кусок породы с кварцевой жилой и кристаллами золота. Начальник практики положил их под стекло в кафедральный музей. Как отблагодарил я тетю Нину за экспедицию, не помню. Позже она заболела и написала мне письмо: «горжусь, что оправила тебя в экспедицию со своими друзьями». Видно, чего-то хорошего наговорили обо мне ее друзья, среди которых был знаменитый специалист по золоту Сергей Дмитриевич Шер.

Сергеем Дмитриевичем звали и тети-Нининого отца, дедушку Сережу, сварившего мне станок на королёвском заводе.

Когда умерла тетя Нина, мы с ее сыном Митей, моим двоюродным братом, отправились в Болшево сообщить дедушке Сереже. Он жил один, бабушки Марии Макаровны уже не было в живых.

Как дед обрадовался, когда мы с Митей к нему приехали! Как засуетился, заполошился, засновал меж столом, холодильником и балконом!

— Ребята! Внуки! Ой, ты смотри! Внуки приехали! Сами! Наконец! Вот это да! Ты смотри! Сейчас, сейчас! Ребята...

Стал накрывать стол, достал с балкона пыльные бутылки с доисторической какой-то водкой. С выгоревшими этикетками и густой пылью... И вот наконец мы втроем сели за стол... И вдруг — как время остановилось... Дед замер, потемнел лицом и вскричал:

— Что? Говорите! Не молчите!

Митя сказал:

— Мамы не стало.

У Мишки обед есть?

Дедушка Сережа заболел. Я поехал в Подлипки в больницу, и он сразу расспрашивал про Енисей, сунул ручку с бумагой, велел рисовать карту Енисея, избушек, речек и чуть ли не каждого капкана и кулёмки. «На ручку, вот! Вот! Рисуй! Где вот ты живешь? Где, что?» — почти выкрикивал он. Я водил ручкой, а он, прилипнув к листку, следил: «В-о-о-о... Вот так во-во! Вот так во-во!» С искренним и спасительным для себя интересом, будто названия ручьев и порогов вдыхали в него жизнь.

«Рисуй! Рисуй!» — требовал с дрожью...

«Рисуй!» Не помогли рисунки. Ушел и дедушка Сережа...

Но какую силу вкладывали в Батюшку-Енисея люди, ни разу его не видевшие! Поверившие в него безоглядно через полстраны просто за то, что он Енисей, и посылающие своих сыновей, внуков, кого угодно — напитать от него силы и веры.

А он и принимал как родных...

И все-таки рано или поздно придется подойти к той минуте, когда на енисейском яру в струнку вытянулись и без того прямые листьяги и содрогнулся наждачной рябью двадцативерстный плес, еще недавно так серебряно сливающийся с небом на горизонте.

Случилось это 5 октября 1979 года. В течение нескольких лет она перенесла два удара, а потом обнаружился рак легких, «север» с «прибоем» знали дело туго.

Я приехал с Енисея из экспедиции, по обыкновению отхватив не то полсентября, не то больше и прикрыв пропуск неразборчиво написанной справкой от бахтинского фельдшера о какой-то дежурной хвори. Бабушка уже лежала. Мама колола уколы, и мы жили волнами: когда действие обезболивающего кончалось и боль становилась невыносимой, бабушка просила укол. Был уговор, что, когда понадобится, она будет стучать: кружкой ли по табуретке, ложкой ли по чашке. Набат этот раздавался все чаще, бабушка, как мне казалось, начинала капризничать, грохотать даже почти «назло», «понимая», что мы слышим, но пользуясь договором чересчур настойчиво. Ко мне пришел друг по Туве, Паша, и при нем на ее стук я прокричал грубость, а когда вошел к ней, она сказала: «Ну зачем же ты так? Ведь *потом* жалеть будешь, плакать...»

И снова уколы, и через каждые пятнадцать минут: «У Мишки обед есть?»

Дядя Андрей приходил. Встреча в коридоре: отец с судном, тот с розой.

Я лежал на своей кровати, и бабушка вдруг неожиданно тихо и трезво сказала: «Умирает бабка». Меня кинуло к ее кровати. Кротко, испуганно и тихо ткнулся губами в висок, в щеку любимой бабушки. И ничего не мог сказать, убитый еще и контрастом меж горем и своим бессилием... Не зная, что прокричать, как перевернуть мир, чтоб спасти бабушку, остановить это безумие...

Сколько она мне потом снилась! Сколько раз, обливаясь слезами, таскал ее на руках, выносил из каких-то больниц, из избушек в тайге, утешал, гладил... Сколько раз просыпался, объятый горем и рычал среди ночи, закусив губу, обезоруженный, залитый сном-горем, в котором, как заведено по сонным законам, все сильнее и подлиннее, чем в воспоминаниях и в жизни.

Настал день, когда все кончилось: мама с потемневшим взором вышла от бабушки. Мы с отцом вошли в комнату. Бабушка недвижно лежала на кровати. С угла рта стекала багрово-темная струйка.

Приехал Дядя Андрей, и мы сидели на кухне с ним и с матерью, мама плакала, а он говорил:

— Это себя жалко...

Мол, она там. А то, что лежит на кровати, — это не она.

Были похороны на ближайшем Востряковском кладбище. Собрались люди, давнишние и как из небытия выуженные, собранные горем. Черный газ косынок... Скорбная темень в глазах... Женщины с их непонятным для меня переходом в подробности: шепот... четное-нечетное число цветов в букете... как подоткнуть ткань... И страшность этого прижима к земному, словно вечность



ввалилась, и никто не знает, как с ней быть, и спасается подручным. Мамино лицо с похudevшим ртом и с подбородком, замершим на переходе к абрикосовой ямке.

И вот кладбище. Шли сначала по центральной аллее, справа от которой высились надгробья со звездами Давида, огромные и казавшиеся мне кощунственно богатыми по сравнению... Да не знаю, с чем по сравнению... С бабушкиной долей, наверное... С русской участью... И надо пройти дальше, а потом еще два раза свернуть в тесноту могил под деревьями. Стояли там, и я ничего не помню, кроме чувства беды и какого-то всем необходимого спасительного завершения, упрятывания горя с глаз долой. Под землю.

Вдруг выяснилось, что у ворот кладбища стоит Терехова и мне велят ее встретить и привести. Я воодушевился хоть какой-то своей полезностью, пошел к воротам, за которыми горе обманчиво ослабло — на ветерке, в шуме машин. Встретил ее, стремительно напряженную, летящую, с цветами, огромно-темными розами... И уже, как здешний, знающий, повел ее по кладбищу, но, пройдя нужное расстояние, понял, что путь к бабушкиной могиле намного сложнее, чем я думал, и я его не помню.

Сколько мы носились по кладбищу... Сколько я, холодея от стыда, нарастающей паники, рыскал по дорожкам — совсем как тот, пятилетний, потерявший бабушку в Ленинском скверике. Только на мне взрослые ботинки и в метре несется Терехова в чем-то крылатом... Сколько вырыскивал нужный поворот, бормотал, что «вроде здесь»... Пока наконец сама не выплыла на нас бабушкина могила.

Гораздо ближе к воротам...



Капитолина КОКШЕНЁВА

ВЛАСТЬ ЖИЗНИ, или ОСТРОВСКИЙ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ*

Пьесы Александра Николаевича Островского (1823—1886), безусловно, были новаторскими. Но их художественное новаторство (гениальный и совершенный русский язык, например) прочно стояло на его глубочайшем понимании театра, даже можно сказать — на знании о «веществе театральности». Он хорошо понимал, что такое актерский труд, а потому смог выписать роли так, что они навсегда останутся желанными для актеров. У Островского нет бледных и проходных персонажей — а это значит, что даже в маленьких, эпизодических ролях артисту есть что играть, потому что и они наполнены жизнью. Естественно, чтобы сказать новое слово, чтобы вдохнуть его в изрядно заезженную театральную форму, нужно было хорошо понимать, как поставлено драматическое дело.

Свое понимание проблем состояния современного ему театра (в том числе и прославленного императорского Малого) Островский изложит, например, в статье «О причинах упадка драматического театра в Москве», где покажет себя глубоко театральным человеком: он не просто даст характеристику публики, журналистики, что вертится вокруг театра, не просто покажет проблемы, возникающие как следствие театральной государственной монополии (будет отменена в 1882 году), но напишет и о театральном начальстве, о состоянии драматической труппы и управлении ей, о репертуаре и постановочной культуре и вознаграждении творческого труда. Театр он знал досконально.

Особенное театральное новаторство Островского связано, конечно, с национальной природой его драматургии — огромной самобытностью его персонажей (с «разнообразием местностей», по словам Аполлона Григорьева), с его глубочайшей русскостью, которая регулярно в разные эпохи и времена становится проблемой. Собственно, уже при жизни Островского вокруг его творчества началась серьезная интеллектуальная борьба, до сих пор идущая все по тем же смысловым и критическим рельсам.

«Темное царство» русской жизни, в котором изредка сквозит «луч света» (протест Катерины в «Грозе»), — эта добролюбовская концепция, которой уже больше полутора столетий, пожалуй, все еще доминирует в массовом сознании, в том числе и театрально-корпоративном. Ведь Островского, волей советских исследователей, писавших историю русской литературы, превратили в борца

* Все спектакли по пьесам А. Н. Островского, о которых пойдет речь в данной статье, автор видел в «живом» формате в последние пять сезонов.



с семейным и социальным самодурством, в жесткого критика купеческого «темного царства», утвердив тем самым в отечественной культуре бетонно-тяжелый «демократический взгляд» критика Добролюбова как не требующий доказательств и не допускающий иного прочтения драм писателя.

Может ли эта, казалось бы, выжженная до основания и превращенная в штамп «концепция» по-прежнему работать?

Должна сказать, что может. Социальность Островского современному театру интересна. Она всегда на виду. С ней проще работать.

Но социальность социальности рознь.

Путем Добролюбова

Режиссер Сергей Федотов, создавший пермский «Театр у моста» и руководивший им более тридцати лет, поставил знаменитую «Грозу» Островского в Государственном академическом театре драмы им. В. Савина (респ. Коми). «Фирменный стиль» Сергея Федотова в постановке классики, естественно, проявился и в сыктывкарском спектакле. Такие мощные декорации нынче в театрах не строят — а тут они обрушиваются на публику всей своей живописной мощью. Косенькая часовенка притулилась ближе к левому portalу (какая вера — такая и часовенка); высокая набережная забрана в деревянные «скаты», а на ней красуется беседка — отнюдь не условная; от центра до правой кулисы стоят огромные тесовые въездные ворота, и, когда они вдруг откроются, покои дома Кабановых напустят на нас такой старины, что от их исторической достоверности чуть не задохнешься в радостном вскрике...

И как только в эту «картину бытописания», сотканную из света, цвета, предметов, войдут актеры в исторических костюмах, она завершится до своей безукоризненной полноты.

Поэзия кондовости — старинности, исконности, плотности и прочности — спектакль буквально пронзает. Зримую мощь декорации Сергей Федотов соединит с актером. И это — главное. И это существенно «уточняет» концепцию Добролюбова. Кабанова Надежды Пешкиной и сама, как «матица» в деревянном доме, «подпирает» жизнь в городе Калинове. Катерина Марии Шучалиной — светлая, порывистая, мятущаяся, трагически страстная. С явной и немалой степенью наслаждения играют свою вольно-любовную линию Владимир Рочев (Кудряш) и Ангелина Комлева (Варвара): оба полыхают страстно-красным (у Кудряша — красная рубаха, у Варвары — огненно-рыжая коса и красная юбка). Покорный матушке Тихон Константина Карманова будто вообще сошел с картины русских передвижников, а Дикой Вадима Козлова выскакивает на сцену как черт из табакерки — он с явными акцентами «восточного характера», выраженного в безудерже по поводу денег.

Все актеры на месте, все работают на спектакль. Такие слаженные актерские ансамбли, такие цепко выстроенные характеры нынче тоже не в моде. Но Сергей Федотов всегда крепко держит курс на аутентичную классику — классику с погружением. И вещность всех его спектаклей работает эстетически точно, как и дает опору артистам.

Режиссер нынче часто из страха быть не современным боится принципов, боится слишком глубоко исследовать человеческую душу. Боится. И часто не умеет.



Продается всегда лучше легкость, а сложный человек — неудивителен, неинтересен, потому как требует труда понимания.

Здесь же, у Федотова, напротив, живое дыхание прошлого мощно о себе заявило. Казалось бы, прошли уже кички и купеческие русские платки на головах женщин, прошло уже и понимание измены в строго христианском смысле, прошла тяжелая семейная обрядность, но... только «то, что прошло, стало действительно совершенным бытием», а потому мы снова пришли к тому, что обрело смысл, что состоялось, что стало «отсадками» в вечности (как говорил критик Аполлон Григорьев). Всякий глобальный футуризм рушится на наших глазах, а потому мы вновь на «Грозе» сыктывкарского драматического театра учимся узнавать сегодняшний смысл, который сохранила классическая пьеса: о грехе, о беде запретной любви, об обряде без сердечного подключения, о ложно и праведно обустроенной душе.

Хотя эта «Гроза» и шла путем Добролюбова («темного царства» за мощными воротами Дикого и Кабановой было предостаточно), само погружение в фактуру прошлого (костюмы, декорации, «утяжеленная» и хрестоматийная игра артистов) скорректировало социальность, привнесло в нее ту поэзию старой жизни, восхищение и защита которой (поэзии) принадлежала совсем другому направлению критики и мысли, лично мне более близкому.

Поэзия в театре Островского

14 февраля 1847 года на квартире славянофила и профессора Московского университета Степана Петровича Шевырёва, что в Дегтярном переулке, в присутствии множества лиц, среди которых был профессор Грановский, поэт и философ Алексей Хомяков, поэт и критик Аполлон Григорьев, Александр Островский читал свою пьесу «Картина семейного счастья». Плавная русская речь полилась простодушно и просторно — слово было колоритным, купеческим. Островский только пробовал перо, но уже выдал характерность и фактурную лепку героев; из множества мелочей прорисовал он особенный уклад жизни; ловко схватил драматические силовые линии и согнул их нужной ему дугой. Так что хозяин дома, когда молодой драматург закончил читку, поздравил всех присутствующих с «новым светилом в отечественной литературе!» Особенно точен в оценке оказался (как, впрочем, и всегда) критик Аполлон Григорьев: «Ты победил, Александр, и в новости быта, до тебя еще не початого, и в новости своего отношения к быту и лицам, и в новости языка — все ново и самобытно!»

Александр Николаевич Островский пришел в современный театр с новым русским словом, новым бытом, новыми персонажами. Благословение же Аполлона Григорьева дорого стоило. Этот критик никогда не ошибался. Именно этот критик дал нам такой взгляд на русскую культуру и Островского, в частности, который тысячекратно глубже и талантливее демократической критики. Григорьев и сам был бесконечно талантлив, умен и очень любил и понимал театральное искусство.

Допустим, скажет нам просвещенный читатель: быт был в театре и до Островского. Даже была специальная постановочная культура, когда целые «комнаты-павильоны» выносили на сцену, независимо от того, чья пьеса игралась. Конечно, опираясь на Аполлона Григорьева как критика другой, антидобролюбовской и органической русской интеллектуальной школы, мы вслед за



ним подчеркнем, что «писатель из народного быта, специально посвятивший себя воспроизведению этого быта», был весьма и весьма заметен в театре и в литературе, начиная с сороковых годов XIX столетия.

Одни из писателей такого рода прославились тем, что вели себя как будто иностранцы (продолжаем мысль Григорьева), то есть всюду следовали с блокнотом, куда тщательно вносили что-либо *чуждое, странное из речей и быта русских людей*. Ну да, получалась некоторая *деланность, ландшафтность*, и вообще, включает Григорьев, «это *пейзанская*, а не народная литература».

Другие были «чистые специалисты», жанристы — как очень популярный драматург Потехин. Он даже следовал за Островским, разрабатывая созданные предшественником типажи. Получалось хуже, приземленнее, более мелко и не всегда талантливо, зато узнаваемо, с мужицким, так сказать, размахом — с «общедоступной патетикой».

А что Островский? А он был настоящий художник! А это значит, что ему было достаточно «тронуть несколькими художественными штрихами» какого-нибудь Петра Ильича («Не в свои сани не садись»), — и на тебе, выходила «размашистая до беспутства широта русской природы!» А самое главное — выходил не дикий и неумный пьяница, как у Потехина, а *поэтический* тип. Вот в «поэтическом»-то и вся суть дела! «Где жизнь, там и поэзия» — эта шеллингианская истина была развернута Григорьевым на своем, домашнем материале. «У поэзии вообще есть великое, только ей данное чутье на различение жизни настоящей от миражей жизни» — это суждение критика разделяют, совсем не зная его формулы, некоторые режиссеры и поныне.

Самую поэтически чистую «Грозу» А. Н. Островского я видела в Новом художественном театре (Челябинск) в режиссуре Евгения Гельфонда. Белокипящий спектакль взял на себя особую задачу — показать главное в Островском, не «прикрываясь» купеческой сочностью и живописной жирной натурностью. Если уж набившие оскомину демократические трюизмы о «темном царстве» отодвигать, то делать это решительно: как и получилось у художника Елены Гаевой. На сцене доминирует бело-молочный цвет и чистый свет белизны, сохранившийся и в декорации — «галерее».

Но внешнее и внутреннее не могут быть не связаны. А потому вторая задача в «Грозе» труднее: увидеть моральную христианскую традицию как «геральдику чести», как облако идеалов, а не историю о «насилии в семье» или «борьбы личности за свои права». Если обряды, чинопоследования и традиции понимать как инструкции, с помощью которых легче осуществлять неусыпный надзор за семьей, то все непременно закончится трагедией Катерины. И самое сложное для всякого героя «новохудожественного» спектакля — присвоить себе традицию и сделать обряд личным. Впрочем, эта задача выходит за пределы спектакля и опирается, как мост, одним концом в художественную реальность «Грозы», а другим — в саму жизнь, в нынешнего русского человека.

Несколько «стихий» двинутся друг на друга, создавая атмосферу «грозового фронта» спектакля Е. Гельфонда. Стихия игры, где выбран жанр «репетиции с антрактом», а все герои Островского представлены как чеховские интеллигенты, играющие Островского. С другой стороны, стихия народной обрядовой культуры в этом спектакле как раз для самого Островского «своя», «отеческая», и режиссер создает просто каскад роскошных мизансцен, опираясь, например, на заплачки и причеты, как в сцене проводов Тихона. Глаша, девка в доме Кабановых,

не могла не выдвинуть актрису Ксению Бойко на первый план именно в данном спектакле: не могла уже хотя бы потому, что кто иной (если не она, из народа) знает причитания, подходящие для таких случаев?! Казалось бы, ведь «все завещано», в «Домострое все прописано» — ан нет, Катерина-то, приезжая, не умеет сделать то, что с таким диким усердием выдвывает Глаша. И вся эта роскошная сцена прощания с Тихоном протекает с большим наслаждением для всех ее участников, а главное — на людях. На людях красуется Кабанова сыном, собой, своим почитанием традиций. Люди же, публичность ничуть не мешают и Катерине (Марине Оликер) оставаться свежей, милой, искренней. Обряд немного театрален сам по себе. Вот и Кабанова-старшая Татьяна Богдан велит сыну «наказывать жене как жить», но сын это делает на ее вкус без должного пафоса, говорит слова скучным голосом, будто казенный манифест жене зачитывает... Зато Глаша лицедействует по полной программе. «Начать надо вкрадчиво!» — учит она Катерину, а уж потом выть на все лады... Правда, немного позже мы узнаем, что в проводах Тихона Глаша не только обучала его жену обрядовому поведению, но и добавила личного чувства. А оно у Глаши к Тихону было. Как сказала бы странница Феклуша (очень точная и заметная работа Евгении Зензиной): «Шила в мешке не утаишь!»...

И, конечно же, христианский пласт пьесы как ее идеальный, правильный камертон тут нельзя было театру обойти (душа христианская знает разные свои движения, знает и про обуздания страсти, и про инерцию распада души в грехе; помнит о «незаконной любви» и неизбежности суда над собой).

«Гроза» Е. М. Гельфонда — ансамблевый, актерский спектакль, где каждая роль от Кулибина до Глаши и странницы Феклуши вызывает восторг и хочется громко высказываться о том, что поддается высказыванию, и молчать о том, что в настоящем художественном явлении остается за пределами слова. Любовь всегда больше, чем слова о ней.

Об Александре Майере (Диком) и Петре Оликере (Борисе), Татьяне Богдан (Кабановой) и Дмитрие Николенко (Тихоне), Марине Оликер (Катерине) и Татьяне Кельман (Варваре), Александре Балицком (Кулигине), Константине Талане (Кудряше), Евгении Зензиной (страннице Феклуше) и Ксении Бойко (Глаше) можно только возопить словами купцов, для которых Островский был современником: «Как играют-то, как играют, злодеи!» И смахнуть слезу, невольно возникшую от художественного мимолетного театрального счастья...

Такого мужественного красавца Тихона, такой «форсированной выразительности» Кулигина, такой обескураживающе тривиальной и одновременно простодушно-доброй Феклуши, весь спектакль сыплющей поговорочками и прибаутками народной мудрости (вот, мол, народ уже все сказал и нечего нам выдумывать), — таких героев Островского современная сцена еще не знала. Катерина Марины Оликер здесь просто полыхает, обожженная своей неожиданной страстью. Грех пожаром бушует в ее душе. Такие пожары до добра не доводят...

Впрочем, и сама Кабанова страстна (любовная связь с Диким стала почти «тайным супружеством», в котором давно и привычно понимают друг друга: от неуловимого движения бровью до особенным образом вскинутой шали). Кабанова-старшая статна, «в соку». В искусной игре Татьяны Богдан она не гневливая «самодурка», но всегда владеет собой, вкрадчива... если и пилит сына



с невесткой, то делает это не без изящества, как и с удовольствием соблюдает всякий *внешний* обряд и порядок. Но может и натуру предъявить, во всей своей обширности: броситься на пол, узнав об измене сыну, забиться и криком кричать. Страшным. В ней все поставлено на службу самоутверждения — она и живет потому напоказ. Дикой Александра Майера ей в пору: ему тоже нравится выставлять напоказ свою власть. Над племянником ли, над Кулигиным ли... неважно. За внешним (даже «интеллигентным») обликом тут тоже заметна своя «первозданность» — актам гнева, когда «сердце расходится», совершенно необходим зритель! Любовный дуэт Дикого и Кабанихи, когда слова говорят, чтобы слышать в них совсем другое, просто предъявил публике красоту и тонкую вязь настоящего драматического актерского искусства.

Отношения страсти и отношения власти в спектакле связывают героев друг с другом так тесно, что и шагу не ступишь без того, чтобы не задеть чью-то тайну. Страстны все женщины: Марфа Игнатьевна, дочь ее Варвара (наиболее приспособленная к жизни внешним; нет в ней нужды личного освоения традиции), невестка ее Катерина, даже девка работная Глаша страстно влюблена в хозяина своего Тихона... В общем, почти как у Чехова — все любят друг друга. Правда, градус любви принципиально разный: у Островского это страсть, которая еле-еле сдерживается обрядом и правилом, поговорочкой и приметой. Не будь их охраняющей и охлаждающей силы, вся эта женская стихия попросту «сомкнулась бы над головой», утопила бы город... и исчез бы он с равнины Русской.

Евгений Гельфонд в своей «Грозе» был великодушно весел. Он отпустил актеров импровизировать: в нравоучительный рассказ Кудряша, обращенный к Борису (сцена в овраге) актеры К. Талан и П. Оликер вложили свои силы легко и даже немного по-детски. Когда один — Кудряш — рассказывает об ужасах столичной и местной жизни (о собаке на одной ноге, которую съела вроде как свинья аж в пост!), то другой — Борис — запросто во все верит и все это представляет! Даже если сам кто в Москве (как наши героини) никогда и не был, то все равно знает, что эту самую Москву кто-то черный посыпает сверху серым и уж, ясное дело, в ней «проституируют добродетель».

Вообще в «Грозе» челябинского НХТ все как-то демонстративно делается напоказ, какое-то удовольствие от публичности получают буквально все. (Впрочем, и «репетиция» этого требует, на которой вспоминаются Мейерхольд и Таиров, например, с их «другим» Островским.)

Все в «Грозе» НХТ становятся вмиг зрителями жизни друг друга. До всего происходящего в семье Кабановых или Дикого есть дело решительно каждому герою и, я бы даже сказала, всему городу. Вот и Катерину с мужем Тихоном с трудом (после многочисленных понуканий) оставляют с большой неохотой наедине: а что скрывать и зачем, если скрыть ничего нельзя, а можно только делать вид, что чего-то не знаешь?!

Мизансцены кружения друг вокруг друга (так кружат птицы перед грозой), хождения друг за другом создает к финалу нарастающее чувство тревоги. Катерина «душу свою погубила» и нашла смелость это сказать самой себе, но только никто не понял, что и «душа», и «грех» для нее предельно наполнены. Наполнены важным и живым жизненным смыслом. И Тихон вроде готов ее простить, и Борис вроде ее жалеет, но никто не сделал главного: не вспомнил об обряде (что именно тут было бы крайне важно!), помогающем выбрать жизнь, а не смерть.

Снова спасает «репетиция»: финал спектакля читается (а не играется) актерами, которые «выходят из ролей», снимая трагедийность. Но спектакль совсем не упраздняется постепенно нарастающей тишиной. Высказанное театром — вполне внятно.

Штампы бывают не только «академические»...

Изношенность форм, выжженность до полной усталости сценического языка — дело в искусстве привычное и неизбежное. Вот Островского тоже играли, играли и заиграли до штампованного академизма. А потому, когда в Московском Художественном театре в сезон 1909/1910 года решали вопрос о третьей премьере, Немирович-Данченко предложил «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского. Выбор был не характерный для художественников, и Немирович объяснял: «Драмы Островского — это совсем иная форма сценической литературы, чем, например, у Чехова, и некоторые особенности этой драматической техники ценны и должны будут войти в ту будущую драму *характеров*, которая народится же у нас когда-нибудь, — конечно, в совсем иных тонах и духовных перспективах, чем у Островского». В общем, задача была в том, чтобы уже сейчас дать «более глубокое и обобщенное истолкование», а значит — «побороться» со штампами постановки Островского, которыми к этому времени оброс театр. Они хотели жизни в «Мудреце», того «чувства Островского», которое «было свежо 40 лет назад и испарилось впоследствии». В эту пору, говорит О. А. Радищева, в Художественном театре был в ходу поиск эпического начала. Станиславский в «Месяце в деревне» был намерен показать «эпический покой дворянской жизни». И в «Мудреце» тоже искали эпическое как неизбежное. Герои должны были не просто «никуда не торопиться», но пребывать в состоянии душевной активности, противостоя тому, что «нарушает устоявшуюся жизнь». Станиславский играл Крутицкого, и его интерпретация образа стала театральной классикой. Как-то на репетиции Немирович-Данченко ему сказал: «Представьте себе покривившийся особняк на Садовой». И Станиславский потом увидел этот замечательный дом, напоминающий ему старика. И тогда, говорит О. А. Радищева, *эпический покой* «преобразился для него из литературного образа в сценический». Что было важно еще в работе художественников?

Эпический покой Островского был принят обоими режиссерами. Но Станиславский видел тут «опасность для темпа».

Как бы там ни было, но спектакль, работа над которым шла согласно и легко, преодолел и эту «опасность» и стал долгожителем репертуара. Играли его до 1927 года.

Современный режиссер мало знает об эпическом покое. Будучи крепко привязан к современности, в которой доминирует не культура слова, но культура визуальная, он, прежде всего, ориентирован на ритм, темп, каскадерство и сценический трюк. И если актер оказывается подчинен только этой внешней режиссерской задаче, получается разнузданная актерская вакханалия, потому как сам Островский подарил актерам роскошные роли.

Но не все то роскошь, что выглядит «богато» и эффектно. Есть роскошь поддельная.

Конечно, восприятие драматургии А. Н. Островского в разные исторические времена кардинально отличалось. Например, когда лидер «Театрального





Октября», активный реформатор театра Всеволод Мейерхольд поставил в Театре Революции в 1923 году «Доходное место» (ответив, так сказать, на призыв наркома А. В. Луначарского «Назад к Островскому»), то вызвал большое недоумение левой революционной критики. В частности, В. Блюм написал в газете «Правда» статью, в которой говорил о неуместной для Мейерхольда «вспышке пиетета к Островскому, апостолу серединности и всяческого мещанства». Критика страшно раздражало, что Мейерхольд в этой постановке был не похож сам на себя, не переключился решительно пьесу, а прочитал Островского «с постыдной объективностью», «с полной добросовестностью <...> Малых, Художественных и прочих провинциальных театров».

А каков Островский в современных провинциальных театрах?

Спектакль Вологодского драматического театра «На всякого мудреца довольно простоты» — ни то и ни сё (как гоголевский Чичиков). Спектакль нельзя сказать, чтобы был «красавец» (то есть режиссерски умный и талантливый), но он «и не дурной наружности»: чистенькие декорации, правда, не исторические, но и не современные, а так... — два пространства — *типа бедного* и *типа богатого*. Актеры опять-таки приодеты — приодеты в аляповатые костюмы околосторонние, но и не без некоторого провинциального шика. А вот отдельные, как Манефа, просто сногшибательны, с декадентским, так сказать, уклоном в облик (и, вообще, Манефа тут женщина-вамп, оглушительно визжащая, демонстрирующая длинный мундштук и сильную вульгарность манер, — прямо дама из «Околородячей собаки»).

В общем, «ни слишком толст, ни слишком тонок» спектакль главного режиссера Владимира Гранова. Не то чтобы Островский и не то чтобы не Островский... «Нельзя сказать, чтобы стар», то есть академически выверен, с точно поставленными актерскими задачами; «однако ж и не так, чтобы слишком молод...», — нет, совсем не харизматичен. Даже Глумов в исполнении молодого актера Александра Андреева «тащит жизнь» без азарта, скучно, без разбору отдаваясь всякого рода сексуальностям (что пожилой барыни, что молоденькой барышни). Конечно, молодой артист старается, конечно, он работает...

Если его «полет гуся» (на качелях-трапеции) в зачине спектакля — это более-менее понятная театрализация сна о возвышенной в чинах будущей жизни, то его финальное доминирование над всеми все в том же полете как-то мало подготовлено режиссером. Что это? Уверенность, что и компромат на него не компромат? И их суд, суд «тузов города», — ему не суд, а как-нибудь бочком-бочком да и обойдется? Или он считает, что карьеру сделал, хотя ее и вроде провалил в глазах сильных города сего, или без него уж они никуда? В общем-то «если бы гусь не сер, не там бы и сел». Сер, сер Глумов. Но даже и «серость» можно было бы сыграть с большим азартом.

Нет драйва в спектакле — ни от мощной и сочной кондовости Островского, ни от обещанной комедии в стиле танго. Собственно, стиль как собственный режиссерский почерк в спектакле блистательно отсутствует.

«Стиль танго» и ритм танго уловить в «Мудреце...» трудно, если, конечно, он не исчерпывается тем, что разные мелодии звучат в спектакле и среди них — *Libertango* гениального Астора Пьяццоллы, который вывел демократический жанр на классическую высоту. Простите, но «страсти», что поручены режиссером актерам спектакля в моменты «включения танго», — несколько, скажем акkuratно, невнятно, и Пьяццолла тут получается явно «пострадавшей стороной».



Не получилось присвоить каждому из героев «свое танго». То ли Островский несовместим с ритмами танца, рожденного в XX веке в пограничной ситуации, в смешении местностей и культур (то есть буквально — на границе Уругвая и Аргентины). То ли вся режиссерская мысль на самом деле много проще, и «танго» приложено к Островскому *так*, как «прилагательна» дверь недоросля Митрофанушки, поскольку она «приложена к месту».

Но танго, как всем известно, есть танец страсти, любовный поединок мужчины и женщины (не случайно, говорит история, родился танец в борделе). Правда, в спектакле вологодского режиссера Глумов и с матушкой пускается в танго, что, возможно, несет и некий большой смысл, чем эмоциональная «разгрузка» публики. Но мне не удалось его (смысл) извлечь.

В спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» в некотором роде все же есть «страстная» подоплека танго. Режиссером (в ряде мизансцен с безудержной актерской вольницей) эта «первородная черта» танго явно учтена: Клеопатра Львовна Мамаева (актриса Нина Скрябкова), например, откровенно «возвышенно»-похотлива. Поцелуи «старухи» и молодого человека Глумова стеснительно прикрыты мужской спиной. Ну, понятное дело, молодой карьерист без труда манипулирует мамаевской «страстью» (пускается, так сказать, во все тяжкие танго).

Сценическая фрагментация ткани драмы, когда никакая режиссерская мысль не тянется дальше одной мизансцены, когда категорически нельзя ответить на вопрос «почему, собственно, Глумов талантлив, умен, образован?» (что обещал нам театр в релизе), — неизбежно ведет к тому, что всякий выход актеров на сцену — это отдельный номер. Актеры, видимо, не всегда понимая, о чем им играть, активно окарикатуривают персонажей, комикуют и паясничают. Подмалевывают. И тут уж куда кривая вывезет — несет всякого в меру его «органики». Развертывают, так сказать, во всю ширь свои интуитивные находки, а вот контрольный аппарат актеров при этом напрочь отключается.

Актеры в спектакле существуют по принципу циркового представления. У каждого есть поставленный режиссером «свой номер».

К тому же режиссер явно любит трюки (падение Глумова и иных персонажей в «яму», «под сцену», «мужские обмороки», некие танцевальные па-выходы и пр.). Можно, безусловно, получать наслаждение от собственной акробатики. Иногда. Но Островский, конечно, катастрофически избыточен для такой режиссуры. Социально-сочный концентрат комедии Островского про «отцов города» (в комедии это Москва) и «обширную говорильню», когда «места добываются» не талантом и умом, — в спектакле явно разбавлен водицей. Разжижен. Кабы чего не вышло...

Бедные актеры рвут страсти в клочья и дико ревут, — и это, очевидно, реакция на то, что режиссер порвал в клочья мысль Островского, расчленил так, что не собрать уже с помощью слов. (Признаюсь, что это я пустила по залу слова «ну просто пластика Байдена» об игре Андрея Светоносова в роли Крутицкого — его *рукопожатия в пустом пространстве* и прочее вызвали в публике актуальные эмоции.) Вообще мне показалось: что-то *паническое* было в игре артистов, несмотря на заливистость, залихватскость и вульгарную отчаянность. Артистов жаль.

Общепринятое обыденное восприятие — это, конечно, чаще всего «враг искусства», но не больший ли враг необязательное и необязательность?!



Неутоляющее питье — таким оказался в итоге Островский в Вологодской драме в режиссуре Владимира Гранова.

Да, публика в аплодисментах выразила театру свой «груз симпатий». Можно запросто успокоиться на административном комфорте от полного зала. Но публика ведома, и аплодисменты имеют самые различные оттенки. Как и смех... А вообще, как хорошо было бы жить, если бы не было театральной критики. Все бы друг другом были вечно довольны!

И тем не менее она есть.

К тому же в моем лице критика уверена: чтобы делать художественски подлинное, нужно найти силы увидеть *реальное* положение вещей. «Немного получилось» (слова режиссера) — это критически мало. Да и вообще объявлять пьесы Островского то комедией-вальсом (спектакль «Волки и овцы» 2019 г.), то комедией в стиле танго (2022 г.) — по сути, быть безразличными к Островскому.

И снова «Мудрец» («На всякого мудреца довольно простоты», 2023), и снова богатая историей русская провинция. Теперь уже художественный руководитель Воронежского академического театра драмы имени А. Кольцова представил свою работу. Режиссер старшего театрального поколения, Владимир Петров, конечно, держит руку на пульсе современной театральной жизни, в которой зачастую сценический образ и постановочные эффекты спектакля определяет многое, если не все.

Кому хочется оказаться вне театрального мейнстрима, то есть быть носителем «старых вкусов»?!

Конечно, сколько бы современные режиссеры ни боролись с Островским, сколько бы ни был он для них только «поводом» для иных высказываний (о себе и времени), полностью преодолеть текстовую нагрузку трудно. Все равно, пусть много поживе, чем у Станиславского с Немировичем, но мысль предъявить все же нужно.

Владимир Петров увидел «вечную тему» «Мудреца» так: «Пробиться наверх без обмана, подлости, лицемерия и лжи — и без протекции — молодому человеку трудно везде и всегда, не только в нашей стране. Старики занимают все места, никто не хочет уходить и пускать других вместо себя. Прийти к цели помогают только хорошие знакомства, которые достигаются не всегда высокоморальными средствами». Учитывая, что режиссер и сам в том самом возрасте глубокой зрелости, то, смею предположить, он знает, о чем говорит. Да, Глумов Егора Козаченко вполне себе карьерист. Но глуп он или умен — понять сложно, потому как стратегия роли весьма размыта. Как и в вологодском спектакле, здесь тоже много актерского премьерства (в спектакле собраны ведущие актерские силы Воронежского театра). Но, к сожалению, нет цельности — соподчиненной друг другу ансамблевой игры, драматического взаимодействия, которые заложены самим Островским. И это не просто «принцип», за этим принципом стоит *власть жизни*, особенное ее течение.

Владимир Петров совместно со сценографом Игорем Капитановым и художником по костюмам Фагилей Сельской «сыграли» своего Островского: сценическое пространство, конечно, пустое. Ни стен, ни дверей, ни комнат, ни стульев нет и в помине. Быт Островского переведен в своеобразный конструктивизм. Черно-белые клетки планшета сцены (будто большая шахматная доска)

«сигнализируют» нам о том, что тут ведется игра! Глумов начнет свою партию, переходя от покровителя к покровителю. А сильные мира сего, в случае удачных стечений обстоятельств, будут, в свою очередь, двигать, как пешку по полю, Глумова. И тоже играть в свою игру. Как говорится, «простенько и со вкусом». Основное сценическое пространство занимают огромные панели, движение которых (под тем или иным углом) поддерживает идею жизни-конструкции и создает возможности для некоторого мизансценического разнообразия. На этих же панелях появится текст из тайного дневника Глумова, где он дает волю своим чувствам (пишет об обществе и покровителях всю доступную ему правду, но больше эти панели не работают никак).

Очень большие гимнастические черные шары — еще одна конструктивная часть постановочного решения. Правда, актеры не всегда понимают, что с ними делать, если не сидеть на них (прямо скажем, актерам нужно проявлять чудеса балансировки, чтобы усидеть на черном шаре, — происходит этакая эйзенштейновская «циркизация театра», которой увлекались в 20-е годы XX века).

Почему я так подробно рассказываю о пространстве спектакля?

Это простое геометрическое решение настолько, видимо, было концептуально важно режиссеру, что оно и определило в Островском все: текст и актер тоже должны были стать «определенными», тяготеть к театру формы. А учитывая, что экзотические, будто бы «винтажные» (на мой взгляд, вполне безвкусные) костюмы далеки, само собой, от всякой исторической достоверности, а текст Островского остается плотным, нагруженным «своим временем», — учитывая все это, нельзя не увидеть серьезного противоречия между конструкторским минимализмом среды и пониманием режиссера, что не стоит отбирать роли у артистов, нужно дать им поиграть. Актер в таком случае оказывается скорее иллюстратором текста, чем живым полнокровным лицом. Актерам так и не удалось, как мне думается, пробиться к чувству автора как чувству стиля. И конечно, никакой *народности и таинственной глубины* этой народности в данном «Мудреце» нет и в помине. Впрочем, режиссер и сам признавался, что «Островский прямолинеен, но эта лозунговость, четкая расстановка акцентов не отменяет его мастерства и знания жизни. Он создал русский театр». Как говорится, всем сестрам — по серьгам. Спектакль действительно получился весьма *прямолинеен* (я бы даже уточнила: прямоуголен и шарообразен).

Третий, также недавний, опыт общения с Островским касается еще одного провинциального театра дружественного нам государства Беларусь. Но я не хочу называть имя этого молодого режиссера, как и имя старинного театра: мне тут важен опыт спектакля, в котором Островский стал только поводом для режиссерского сочинения на «свою любимую тему». Сочинения, должна сказать, крайне вульгарного, но евроидейного. Речь идет о спектакле «Бешеные деньги».

У Островского в пьесе в центре стоит на редкость симпатичный главный герой Васильков: он обучался за границей «экономическим законам», он занимается делом, но честно. Берет подряды, последний из которых обещает ему большие деньги. Умен. Образован. Прекрасно говорит по-французски, знает по-гречески. При этом он влюблен в красавицу Лидию Чебоксарову, склонную, как все хищные красавицы, к неоправданным тратам (Васильков ей честно говорит: «как бы ни увлекался — из бюджета не выйду»). Она выходит за него по расчету, но случается «укрощение строптивой» на русский лад. И Лидия





в конце концов его полюбит за его личные качества, а не за деньги. Вокруг главного героя роятся все другие любители бешеных денег, ради которых преступаются любые нравственные пределы.

Режиссер — с петербургским образованием. И это важно в данном случае только потому, что говорит о безусловной *насмотренности* в области «современного театра» (увы, нет ни одного режиссерского приема в данном спектакле, который отличался бы оригинальностью и не был использован кем-либо прежде).

Текст Островского абсолютно не важен в этом спектакле — его пробалтывают буквально все актеры, выделяя в нем только то, что позволяет публике хоть как-то улавливать сюжетный ход.

Действие пьесы перенесено в некий клуб (это может быть закрытый элитный клуб, ночной игорный клуб, танцевальный, ЛГБТ-клуб — как хотите). Пустое сценическое пространство иссечено неоновыми огнями, на авансцену иногда выносятся мебель, чтобы обозначить гостиную, например, маменьки и Лидии Чебоксаровых. В соответствии с клубной идеей костюмы героев — это костюмы хипстеров и светских дам (содержанок или желающих стать таковыми). Двое из активных посетителей клуба и прожигателей жизни (Телятев и Гумов), которых играют актер и актриса (в голубых и малиново-розовых перчатках), — просто откровенные трансгендеры. Безусловно, все это в тренде евроценностей, среди которых «проблема ЛГБТ», так сказать, на первом месте в рейтинге актуальности. О правах ЛГБТ пекутся, зато культурные права классика Островского запросто нарушают (он, естественно, ни о чем подобном никогда не писал).

Артистка, играющая мать Лидии, по воле режиссера говорит голосом Ренаты Литвиновой (уехавшей из России). И раньше в спектаклях этого режиссера актрисы говорили ее голосом, это, конечно, так сказать, «посыл для своих» (Р. Литвинова — идол «высокого» лесбийского стиля).

Васильков — этакий дурак-простодыра, занесенный в элитную тусовку непонятно каким ветром и принимаемый окружающими лишь потому, что они знают — он миллионер. Он и внешне от них отличается — с советским портфелем-дипломатом (был такой «символ» делового стиля), в кожаной немодной куртке, говорит «хэ» вместо «гэ», — одним словом, представитель дремучей традиционной (семейной) культуры, человек из мира «древних», значит, сугубо устаревших ценностей. Тусовка над ним шутит, глумится и стебается с большим наслаждением (еще бы — ведь этот неотесанный мужик даже во время невинного танца с невестой не расстается со своим дипломатом).

Все «элитарии» из тусовки не просто ухаживают за Лидией, но она им отвечает вполне плотской взаимностью, причем на глазах у мужа (только Васильков почему-то не видит и не понимает, что он рогоносец). Васильков, конечно, истерик. Актер прокричит все главные слова — и правильно, все равно они здесь не важны! Его никто не слышит и слушать не намерен. В том числе и режиссер.

Если вначале (в период ухаживания и сватовства) Васильков уйдет с Лидией в глубину сцены и на спине его будет приклеен плакатик со словом «лох», то и в финале Лидия не станет искренней женой, любящей мужа. Мизансцена зеркально повторится: уводит Лидия мужа со сцены, а на спине его все та же надпись — «лох».

Всё поперек Островского, всё вопреки главной драматической пружине.

Играли-играли нечто на протяжении всего спектакля, чтобы прийти к тому, с чего начали...

Конечно, в спектакле много музыки, танцев, коллективного динамического сцен-движения (актеры ходят даже по бордюру лож). Конечно, молодой публике категорически не понравится такой тупой истерик Васильков и непременно «зайдут» персонажи элитно-богемного, яркого прожигания жизни.

Так зачем им, режиссерам, непременно нужны Островский, Чехов, Достоевский? Островский и его драмы *уже* расположены в культурной памяти зрителей, а потому они являются, так сказать, агентами проникновения. Под именем Островского и его знаменитых пьес модные творцы проникают в наш зрительский мир и наводят в нем уже свой новый порядок. Классика — это код доступа к зрителям. Представьте, если бы в афише было имя Мани Петровой, пусть даже и написавшей пьесу про «бешеные деньги»? Вряд ли афиша в таком случае привлекла бы публику. Она попросту не была бы столь мощно культурно нагружена.

Героя в спектакле «Бешеные деньги», по сути, нет; он превращен в антигероя; текст Островского сокращенно пробалтывается — а фокус удался! Они (Островский и его пьесы) работают как торговые марки. Это так. И это факт. Даже если режиссер ни минуты об этом не думал.

Мы видим, что Островский может быть угнетен — угнетен усиленным «переосмыслением» режиссера. Островский может быть освобожден — от самого себя, примет исторического времени и драматического достоинства, зато изрядно формализован. Островский, наконец, как в нашем белорусском случае (и он типичный, потому о нем и говорила), может быть просто «крышей» для высказывания режиссера о «самом главном» для него.

Островский, конечно, выдержит все. И в Островском мы вычитываем прежде всего самих себя, а потому, если личностный объем режиссера вмещает критически мало от объема драматургии Островского, то, конечно, это уже проблема наших современников, а не драматурга-классика.

Островский в Доме Островского

Островский и Малый театр — тема хрестоматийная, изученная, большая. Собственно, вся судьба Островского (с 1853 года) была связана с этим театром, а потому и памятник перед Малым, и именной фестиваль — совершенно органичны. Уникальность фестиваля «Островский в Доме Островского» в том, что нам предлагается в современных условиях этический и эстетический опыт переживания *своей национальной культуры* — опыт, заключенный в драматургии важнейшего для самосознания русского театра автора, А. Н. Островского. Безусловно, данный фестиваль предлагает публике (как и критике) тот тип спектаклей, которые не относятся к разряду «экспериментальных», но созданы для зрителя, обращены к современному человеку не как к «чужому», но как к тому, с кем можно вести серьезный разговор о человеке и рассчитывать на то, что тебя поймут. Театр человеческий. Театр родной земли, который знает про «одушевленный порядок», когда «со страниц произведений Островского человек предстает средоточием и вместилищем незримой духовной вертикали русского мира», как пишет Нина Шалимова.





В этом, 2023 году, фестиваль отметил тридцатилетие своего существования и стал тринадцатым по счету (проходит раз в два года). Речь пойдет о спектаклях фестиваля 2018 года.

Очень важная тенденция фестиваля «Островский в доме Островского» проявилась в том, что драматург предстал в спектаклях разных театров совсем не чуждым христианской традиции мирочувствования и миропонимания (прежде всего, это спектакли Малого театра и Губернского театра). Другая тенденция — Островский сыгран в мифопоэтическом ключе (Молодежный театр на Фонтанке, Рижский русский театр). И, наконец, третья связана с тем, что социальность осталась. И острота ее, с точки зрения театров, скорее, «навязана нашим временем» («наше время» обнаружило себя в спектаклях Югославского драматического театра, Рыбинского и Нижегородского драматических театров).

«Сердце не камень» Малого театра (режиссер Владимир Драгунов) — работа сколько художественно основательная, столько и особенная. Весь зримый, визуальный облик спектакля — красив. Перед нами дом купца с тонким вкусом: стиль модерн тут виден во всем. Собственно, и жена у Потапа Каркунова — это тоже в своем роде «произведение искусства». Красавица, античная богиня, изящна и благородна. И ужасно высока по своим моральным качествам. Именно так и играет ее Лидия Милюзина (холодного мрамора и христианской правильности в ней больше, чем живого чувства к мужу).

Конечно, весь тон спектакля, вся его внутренняя драматическая и психологическая партитура опирается на игру Василия Бочкарева (Потапа Каркунова), талант которого позволяет в самой грубой роли (а купец его именно груб, богат, непримирим, эгоистичен, своеволен и своекорыстен) видеть глубокое *человеческое свечение*. Так горят свечи в храме на подсвечниках во время всеобщей, когда за окном уже темно-темно. И вся эта *темнота*, вся эта непросветленная человеческая натура значительно переменится на наших глазах. Высветлится. Светом Христовым... Актерская суть Василия Бочкарева — теплое живое мерцание — делают и его работу в спектакле, и весь ход спектакля глубоко существенным и поэтичным.

Собственно, перед нами история о том, как человек, обремененный большим богатством, готов все его спустить *на механическую о нем память*: раздать по пять копеек, зато сотням людей, а сотни как начнут молиться о нем, так ему будет сразу же вымолена *другими (не им самим)* самая надежно-счастливая загробная жизнь! Жизнь вечная. В общем, эту самую трудную работу души он решил передать другим, то есть, по сути, *купить* себе заранее жизнь вечную и рай небесный...

Такое решение означает, что завещание лишает его главных наследников (жену и племянника) вообще всякого наследства.

Однако медленно, очень трудно актер ведет публику к пониманию существа своего героя: он приходит от формального, внешнего и дикого благочестия к подлинному пониманию и подлинной христианской любви к своей жене, которая сумела самым лучшим образом (и честно) распорядиться его делами, когда он заболел.

И этот *подвиг изменения себя* (что вообще в христианской культуре самое трудное) он совершает. Вся роль строится Василием Бочкаревым как восхождение к сердечной молитве, делающей и каменное сердце горячим и живым. Вся

его роль строится как движение вверх — к пятидесятому псалму, которым завершается спектакль.

А вот жена его, Вера Филипповна, проходит не менее сложный путь: от холодного и формального благочестия — к сердечной вере. Сердце не камень — и она честно говорит своему старому мужу, что после его кончины выйдет замуж.

Конечно, Островский — это всегда большой актерский круг. Тут ничего не решает один актер. А потому стоит отметить блестящую (динамичную, нервную, подвижную как ртуть) работу Глеба Подгородинского (племянника Константина), кума Каркунова Исаяи — Владимира Дубровского, сохраняющего трезвый взгляд на мир; Ирины Жеряковой (его жены) — все они держат на себе груз таких ролей, в которых нет столь существенных драматических изменений, как в Потапе Каркунове и его жене, но зато есть вся цветистость купеческих манер, жестов и укорененных обычаев (например, вкусно и картинно выпить рюмочку) — все, что сохраняется в Малом театре каким-то загадочным образом со времен Островского.

Югославский драматический театр (Белград) представил на суд публики и критики «Доходное место». Режиссер Эгон Савин не стал совсем уж перекраивать своей властью Островского: его актеры не марионетки в руках режиссера, но, скорее, это «марионетки в жизни», потому как в спектакле нет веры ни в высокие нравственные постулаты и слова о любви (Полина и Юленька любви предпочитают в результате выгодный брак), ни в такую силу чувства, что могла бы противостоять деньгам. Для режиссера вопрос решен однозначно: нет вообще таких людей, которых нельзя было бы купить. Купить можно и любого «человека с принципами» — весь вопрос в цене, на которой он сорвется с высоты своих принципов. Тема доминирования денег в современном мире, коррупции как нормы жизни общества привлекли театр и режиссера к А. Н. Островскому. В спектакле мы видим ровные актерские работы. Пожалуй, стоило бы выделить как раз Кукушкину в гротескном исполнении Елизаветы Саблич и «страшный комизм» Белогубова Срджана Тимарова.

Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург) назвал не случайно свой спектакль (по пьесе «Женитьба Белугина») «Любовные кружева» (режиссер Семен Спивак).

Красивые любовные отношения, полные искренности, чувственности, переменчивости, плетутся вокруг молодого купца Андрея Белугина (тонкая, умная работа Юрия Сташина), полюбившего ту, что не по чину и сословию, — дворянку Елену Кармину (богато оснащена роль Анны Геллер, цель ее героини — укротить себя). Спектакль, по сути, о красоте чувств и человеческих отношений, которые кому-то (как дворянке Елене) дают даром, то есть от рождения дарятся (та самая данность, о которой мы говорили выше), а кому-то, как молодому Белугину, приходится за них бороться, добывать душевным трудом. Ну, конечно же, здесь важны абсолютно все актерские работы: у каждого из героев свой нрав, своя хваточка, свои любимые приемчики и жизненные привычки. Дворянство и купечество тут не сходятся в презрительной схватке, но с ходом спектакля постепенно притираются друг к другу лучшими сторонами своих человеческих натур, а лучшие стороны, как известно, внесловны. Это любовь, любовь и еще раз любовь (материнская, семейная, мужа к жене — и наоборот).





Но, собственно, ей противостоит и твердыня сословных установлений, и новые идеи «новых людей», которые никогда у нас не переводятся (блестяще сыграл интеллектуального соблазнителя и циничного «воспитателя» Елены Карминой артист Андрей Кузнецов).

Праздничный, полнокровный, глубокий Островский выступил в спектакле петербуржцев. Тайна сценичности пьесы Островского, безусловно, понята и «разгадана». Прямота молодого Белугина — важнейшее качество русского характера.

Рыбинский драматический театр представил на фестивале пьесу «Волки и овцы» А. Н. Островского (режиссер Петр Орлов). Спектакль ориентирован на *социального* Островского: режиссер откровенно манифестировал свое критическое отношение именно к современности. Свое режиссерское концептуальное решение он продемонстрировал уже в сценографии: принцип матрешки взят за основу. Матрешка-храм, матрешка-дверь, матрешка — ворота в усадьбу. Все они движутся отдельно, и каждая может преобразовывать пространство: например, матрешка мгновенно превращается благодаря драпировке в «символ» женского будуара. Особенную роль в спектакле сыграет дверь. Просто дверь на колесах. Над проемом написано: «это он». И все.

В эту дверь будут иногда входить актеры (ее абонировали гуляки праздные, и часто она — вход в их пьяный и веселый мир). Но вот в финале она читается зловещим символом: понаехавший из Петербурга Беркутов («понаехали тут питерские»!) ломает провинциальный привычный ход жизни, ломает его «через колено» (большие деньги, большие планы по преобразованию всего вокруг и женитьбу).

Есть тут доля социальной злости, конечно: уж очень как-то примитивненько, косоватенько, кривоватенько, черноватенько и уныло все вокруг.

Нет, режиссер, конечно, не «убил» актера. Он подробно прочертил роль каждого, настаивая на лживости натуры Мурзавецкой (точная работа Светланы Колтиловой), позволяя Сергею Молодцову (играет молодого Мурзавецкого) быть феерически наглым и при этом страшно обаятельным (с его пьяными экстазами) — не живет он, а все время комедию ломает! Актерский ансамбль тут просто отменный: и Мария Калинич, и Алла Смоленкова, и Владимир Калюкин, и Эдуард Иванов, и Алексей Батраков — все на месте, все смело и уместно вступают в полноводную реку спектакля.

Мне показалось, что финальные мизансцены (когда, собственно, уже не играют актеры) отданы под высказывание режиссера. Вновь появляется дверь на колесиках. И охраняют ее теперь медведь и человек Беркутова. И дверь эта ведет в никуда, в черную дыру и пустоту. От Беркутова добра не жди.

Я вижу некоторое противоречие между этим жестким высказыванием режиссера и актерским ходом спектакля, в котором было так много смыслов, чтобы вот так вдруг исчезнуть, — быть поглощенными тьмой (стать черной дырой) они никак не могут без сопротивления...

Московский Губернский театр представил спектакль «Нашла коса на камень» (режиссура Сергея Безрукова). Этот сложносочиненный (составленный из драмы «Бесприданница» и комедий «Бешеные деньги», «На всякого мудреца довольно простоты»), с привлеченным живым оркестром, с большим

количеством действующих лиц, продемонстрировал подлинно русский размах. Где-то там, «за горизонтом», за далью волжских берегов начинались эти любовные истории, эти куражи с женихами, эти душегрейные экстазы и эта страшная тоска по подлинному чувству, которое не купишь за деньги.

Живая, разнообразная картина жизни! Прошлой цветастой жизнью, ее ушедшими ясными типами тут просто наслаждаются. Как не почувствовать аромат той поры, — поры, когда «еще стояла царская Россия». Когда деньги (а государственными кредитными билетами разного достоинства, как постерами, выстелена вся коробка сцены от пола до потолка) не только были «бешеными», но и устойчивыми. И этот рубль обеспечивал каждому сословию свой образ жизни — «свой шесток».

Есть имперский аромат жизни в безруковом спектакле: и в каруселях с дамами, и в духовом оркестре с живой музыкой, и в гимне «Боже, Царя храни!», исполнением которого сопровождается появление с «высоты власти» портрета императора Александра III.

Ну и как же без цыган! Русская культура, созрев, впустила в себя и цыганщину. Видно, *вольность* тут — общее качество природы.

Со сцены в трактире, в котором купцы и деловые люди привычно торгуются, договариваются и просто чаевничают (а кто-то и из чайника шампанское с утраца кушает!), начнется движение сюжетное. Начнет спектакль набирать ход... Появится в трактире странный, не местный, окающий по-волжски, слишком прямодушный, но при этом и хваткий купец Савва Васильков (пламенная роль Дмитрия Дюжева). Островский и режиссер дело повернут так, что и Савва этот, и выбранная им в жены из бедных дворянок Лидия Чебоксарова (искрометная роль Карины Андоленко), собственно, расскажут вечную историю о том, что выйти замуж и стать мужней женой — «дистанция огромного размера». Да и сам влюбленный купец прошел большой путь с женой — коварной красавицей. Но он научится держать голову в холоде, а сердце — в тепле.

От уверенности, что «красота должна приносить прибыль» (спор вокруг Ларисы Огудаловой); от метания Лидии от жениха к жениху (чтобы только прислониться к мужскому плечу, — какая уж тут эмансипация!); от эксцентричного князюшки Кучумова, жизнь в кредит у которого — давно привычная норма (точная работа Виктора Шутова); от фантастического типа Ивана Телятева (Сергей Вершинин повернул своего героя к публике самыми разными сторонами, сохранив при этом его добродушие даже при полном разорении, — кроме халата и подштанников уже нет ничего в собственности!); от феерических сцен между Глумовым (блестящая работа Антона Хабарова) и его иссохшей до мумии покровительницы (он в альфонсы торжественно поступил!) — спектакль идет к прочному чувству и коренной мысли: нравственное выздоровление возможно, страдание помогает стать «полным» человеком даже красавице, нашедшей свою счастливую жизнь в домостроевских принципах и объятиях мужа-купца. Как и тут не вспомнить снова *пушкинскую меру*, как и онегинскую историю вызревания любви.

Спектакль Сергея Безрукова обильно украшен: то торт везут в виде купленного Вожеватовым парохода «Ласточка» и всех угощают; то паровоз выкачают, то лошади и медведи крутят карусель (и жизнь) с господами и купцами по кругу... То листья осенние из карманов выбрасывают... Все это работает, создает тот милый «дряг жизни», в котором ухо и глаз различают множество оттенков.



Все дышит, борется за счастье и удачу, за любовь и деньги.
 Островский и Губернский театр никого не осудили.

Спектакль Нижегородского театра драмы имени М. Горького «Волки и овцы» не получился (режиссер Алла Решетникова). Кажется, будто артистам и самим скучно играть то, что им предлагает режиссер (сценография в спектакле — откровенно бутафорская, отчего получается безжизненный, пластиковый Островский). Очень пестрые костюмы актеров, не выстроена стратегия ролей, и не понята актерами сущность конфликта, их игра не мотивированная. Беркутов совсем не кажется человеком из другого (столичного) мира. Он в спектакле мало отличается от иных сословий, будучи дворянином. Жест, которым пользуются актеры, часто нелеп. Отчего Беркутов все время бросается на одно колено? Отчего в слезные истерики бросаются героини? Отчего хватают дворянина Беркутова за грудки и героини шлепают друг друга по мягкому месту?

Вот уж, поистине, «копеечная жизнь» на сцене. Музыка в спектакле — псевдорусская (эстрадные простецкие обработки народных песен и пр.).

В этом спектакле нет никакой ясной цели — ясной режиссеру и актерам, а следовательно, и зрителям. Перед нами был приблизительный Островский — как бы Островский.

Грамотный, крепкий и профессиональный спектакль «Не все коту масленица» показал Рижский русский театр им. Михаила Чехова (режиссер Игорь Коняев). В спектакле есть стиль: деревянная разноуровневая конструкция расписана в духе наивной крестьянской живописи (птицы, херувимы, кентавр, цветы). Спектакль обрамляет (задает ритм и создает эмоциональный настрой) группа парней и девчат, неплохо исполняющих народные песни (не аутентичные, но уже скорее адаптированные под городскую традицию — правда, частушки финала спектакля были несколько пошловаты). Перед нами снова позитивный Островский: не деньги побеждают, а нравственный выбор, сердечная склонность. Мужские роли актеры играют размашисто: что Ермила Ахова, богатея, тяжелого телом и нравом (Игорь Чернявский), что Ипполита-приказчика (Алексей Коргин). Борьба «старого» и «нового» типов деловых людей идет не на поле коммерции или дела, а в пространстве любви, брачных обещаний, любовных ухаживаний. Побеждает симпатия Агнии к молодому Ипполиту не без помощи маменьки Дарьи Федосевны Кругловой (Галина Российская) — при воспоминании о покойном муже-купце у нее начинается нервный тик, так что дочери она такого не желает. Чистая и бедная радость сейчас победила — она им дороже сорока пустых и мрачных аховских купеческих комнат.

Спектакль играют с некоторым актерским нажимом и преувеличением — каркас спектакля держит не психология, а броский, утрированный «балаганный» прием (Ипполит много двигается, совершает гимнастические упражнения и даже прыгает со стены, Ахов изображает еще мужчину «хоть куда» и замирает, скованный болью; умная маменька иногда впадает в аффектацию — не всегда помнит уроки собственной жизни (особенно когда получает тысячные украшения для дочки); зато Феона (из дома Ахова) все видит насквозь, и в откровенной иронии актриса Светлана Шиляева не отказывает своей героине.

Фестиваль «Островский в Доме Островского» получился интересным и содержательным. Актеры царствовали здесь, опираясь на умение работать



и творить *внутри русского культурного типа*: мы видели в них способность к воссозданию купеческой типичности и оригинальности понимания природы делового человека; мы чувствовали бессмысленную удаль, размашистость природы и *серьезный* комизм, задушевную теплоту и умение извлекать человеческие ноты даже в «водевильных» ролях. Мы видели, что они умеют тронуть и рассмешить зрителя, что *в их комизме остается затаенное страдание*. Мы поняли, что в русской культуре повинную голову не секут и *могут просто так, без всяких условий, навсегда простить — от радости!*

Благоуханное исполнение пьес Островского, характерное для Малого театра, сегодня стало интересно и многим театрам страны. И это очень важно в ситуации, когда национальный театр полагается многими прогрессистами устаревшим именно потому, что он национальный. Между тем никакой культурный суверенитет невозможен без Александра Николаевича Островского на современной сцене.

Такая разная «Гроза»

«Гроза» Островского — самое востребованное театром произведение писателя. «Гроза» Островского всегда в моде. Нет такого периода в истории театра, когда бы «Гроза» ушла со сцены. И есть ли драматическая актриса, которая не хотела бы сыграть Катерину?

Создавая второй, сценический мир, классик зорко и объемно видел актера. А сегодня, как ни крути, драматурги-современники не пишут для актера лучше него — первого из столпов национальной драматической культуры. Дерзая предположить, что и человеческие страсти «Грозы», и выписанные в ней роли утоляют желание актеров играть и режиссеров ставить спектакли не ради *иммерсии*, не ради *deformatio* и даже не ради *a mensa et toro* — последнее латинское выражение есть формула развода, то есть супруге отказывается «от стола и ложа». «Развода» с Островским современный театр как раз не хочет — «Гроза», как оказалось, способна пройти испытания любыми сценическими стилями, а современный театр все же не так увлечен ролью карателя и обличителя самодурства, как полтора столетия велела партийная критика (куда я отношу родоначальника ее — Добролюбова).

Что же было прежде?

Андрей Могучий в БДТ дал «Грозу» в русском стиле неоавангарда: никакой «усталости форм» и «усталости культуры» в спектакле нет (как нет и в помине добролюбовских дыр от бесконечных прочтений про «темное царство»). Тут доминирует ритмизированная речь, слова героев драмы «положены» на частушечный говорок, на бойкий речитатив, на молитвенную интонацию. Островский — в рамке палехского роскошного занавеса, в кокошниках, рубахах, кафтанах и сарафанах (черный фон тут только оттеняет все иные цвета, глядящиеся как всполохи и крики), с актерами, которых вывозят на платформах, выставяя, так сказать, нам напоказ, — Островский получился не «темным»: то торжественно-мелодичным, то ярким, приправленным балаганной дерзостью.

Уланбек Баялиев, напротив, актера не заковывает в жесткий панцирь режиссерского приема, как А. Могучий. Его *вахтанговская* «Гроза» просторна, психологична, продумана и обжита актерами. Надломленная мачта (но даже и в надломе рвущаяся в небо), и придуманный им кот (он носит темные очки,

ест блины со сметаной и утешает Катерину), и бочка с живой водой (в нее, как в колодезь, весело прокричит Катерина свой монолог «Отчего люди не летают?»), и парные озорные сцены Варвары с Катериной (роскошная Евгения Кругжде), и антагонизм гордой, прямоспинной и страстной (не растрчена в ней женская сила) Кабанихи Ольги Тумайкиной, и стертого ею же, обезличенного Тихона (Павел Попов), все же могущего стать мужчиной (пойти на бунт против матери, превратившей его в невротика), — все это живет полнотой сценических типов, все это (и все эти герои) прошли отменную художественную обработку.

О неисчерпаемости «послания Островского» театру говорят и «Гроза» в НХТ, о которой говорила выше, и усиленная повторением «Грозагроза» Евгения Марчелли (на сцене Театра наций). Два спектакля противостоят друг другу как черное и белое: Марчелли не вышел за рамки заштампованного «дикого царства» («это все наше — русское», к которому «не местный» Борис привыкнуть не может), в котором Катерина протестантка — #свободна#свободна. Замечательная актриса Юлия Пересильд играет Катерину «наотмашь», порывисто, чувственно и широко. Собственно, только ее «спектакль в спектакле» о любви как свободе интересно ощущать и понимать. Все остальное (и все остальные) — усечено, обрезано, обыгровано, «заболочено» и живет мизерно, обходясь минимумом актерских приспособлений и часто сваливаясь в аттракцион. Вулканический темперамент Анастасии Светловой (Кабанихи) здесь даже не разрушительная сила, но сплошной неистовый (и самоудовлетворяющийся) истеризм. Вытолкнутая режиссером на первый план, вечно за всеми доглядывающая мерзкая Феклуша (в пошлейшем платье-перьях и «русском» кокошнике) «заговаривает мир», «смиряет», так сказать, своими сказками о том, как плохо в иных странах, — в спектакле она стала «ключевой фигурой» (со сцены буквально не согнать!). И в этой агитаторше от «партии власти» — «темного царства», так много навязчивости, что вопиет она попросту о режиссерской зависимости от обязательных фенечек как примет современности. Мне же остается повторить слова Аполлона Григорьева (его назвали в программке к спектаклю, но и близко духа его нет в марчеллиевской «Грозегрозе»): «Вообще всякая истина — свободна. Все несвободное есть софизм или сознательно, или бессознательно подлый». Жаль, что Евгений Марчелли отказался от силы тяжести истины, от художественного объема пьесы и предпочел своеобразную «полицейскую формулу» темного и светлого, свободного и несвободного. «Грозагроза» Евгения Марчелли вышла в мир темной#темной, страстной#страстной. И только...

В «Грозе» Даниила Безносова, поставленной на сцене Молодежного театра Краснодара, тема личной обрядности (веры в обряд, чувствования красоты обряда и легко-радостного счастья, что он дает, когда ты внутри него) связана только с Катериной. Для Островского это реальность, вложенная в героиню (церковные службы, необыкновенный столб света, ангельская легкость пения). Вера героини — живая. Именно живая вера в Бога и наследуемые вместе с ней представления о доме, о муже, о любви, верности и грехе сойдутся в душе ее с трагической силой, вступят в конфликт с незаконной страстью. И правильно разрешить этот конфликт не хватит у нее сил. Разрешить покаянием. Ее уверенность — «ведь все равно я душу свою погубила» — тут сродни полному отчаянию героини Достоевского. Финальный монолог Катерины: «...Жить нельзя!



Грех! Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться...» — предвестие Кроткой Достоевского, которой тоже «просто стало нельзя жить», и она выбросилась из окна, с четвертого этажа, с образом Богородицы в руках. Островский предвосхитил эту идею «безотрадного позитивизма» (а таков дом Кабановых, несмотря на привычку к обрядам, потому как позитивизм может быть и религиозным), когда «душа не выдержала прямолинейности явлений».

Режиссер не «сократил» эту важнейшую (дающую ключ к драме) линию в образе Катерины, но все же не домыслил тут до конца. Скорее, личная актерская природа Полины Шипулиной (искренняя, порывистая, живая) «вызволила» в Островском христианские сущности.

Вместе с тем Даниил Безносков явно прислушивался к этим мотивам Островского: Барыню не «сократил», как это часто бывает, а сделал фигурой броской, мистической: безумная Барыня не вполне безумна, скорее она в краснодарском спектакле эффектная «пророчица», которой никто не верит и которую никто не слышит (горячая вера ведь и в безумии творится). Тут в пору пришлись и красное платье актрисы Людмилы Дорошевой, и зловецкий остов зонтика (только ребра торчат, и ни от какого дождя он не укроет).

Да, конечно, и «красное платье», и лодка, и живая, настоящая вода, и льющийся с театрального неба дождь — все это уже было. Было не только в Островском: бочка с живой водой — у вахтанговцев, гламурный бассейн с водой и русалками-моделями — у Марчелли в «Грозе» же; в водный же бассейн поместил «Утиную охоту» В. Панков. Актеры сегодня часто принимают настоящий душ, а дожди идут и идут на многих сценах страны.

И все же у краснодарского спектакля есть свой поэтизм сцены. Подлинная фактура живого дерева отлично сочетается с холстинными серо-синеватыми платьями героинь; помост-причал, окруженный настоящими плавающими бревнами (надо полагать, Дикой и сплавом леса по Волге занимается — отчего бы и нет?), на котором происходит вся городская и частная жизнь (в Калинове ничто не утаишь — все насковзь проглядывается), как и живая вода, — все это, безусловно, работает (художник Анастасия Васильева). Как лодка — и место свиданий, и «орудие» гибели Катерины. В лодке она произнесет свой прощальный монолог и уплывет куда-то вдаль, к настоящей Волге с ее крутым берегом. И так не хватило какого-нибудь знака беды во всей этой тяжелой, натуральной сценографии — например, белой (или красной) косынки Катерины, бьющейся у причала.

Да, в спектакле нет никакой поэзии вольной и широкой Волги. Вода в спектакле не *вешняя* и не *большая* — вода *застойная*. А всем этим бревнам, вылавливать которые работники не спешат (а только имитируют их сплав) — одна судьба. Стать топляками, уйти на дно, утонуть. Волей-неволей возникает ассоциация между этими бревнами-топляками и Катериной — горькой утопленницей.

Задача переиграть такую подлинность фактуры (живая вода, подлинное дерево) должна давать актеру «известную степень наслаждения».

Только Тихон Александра Техановича да Катерина Полины Шипулиной достигают (на мой вкус) художественно-цельного результата — при всей пугающей ровности исполнения иных ролей. Не хватило в них актерского строительного материала — собственно пружин творчества в образах.

Дикой и Кабанова режиссером «ужаты», в Кулигине Дмитрия Морщакова (интеллигенте-диссиденте) костюм играет больше, чем актер, хотя режиссер

жирно подчеркивает и его роль в спектакле. Да, все читается: он больше других жалел Катерину — но жалостью бесплодной, резонерской; и его готовность что-то изменить, «внести инновации в жизнь» предлагаются другим вяло и неотчетливо. Он будто и сам не верит, что это нужно и важно. Борис Алексея Замко — какой-то шагающий циркуль, чистоплюй, не к месту носящий белый костюм (его костюмная элегантность и инаковость приезжего крепко посажена на однообразное и невыразительное актерское интонирование).

Повторю: актерская природа Полины Шипулиной, с ее свежим природным лиризмом и чистотой овала лица (древние не описывали красоту женщин, а потому о женщине говорилось мало, например что у нее округлые щеки — и все!) вызывает доверие к ее Катерине. Кротость, внятность, порывистость натуры. Она — настоящая, не притворная, хватающаяся сначала за мужа (чтобы взял с собой и упас от греха), потом — за Бориса (но и он, жалкий и ничтожный, не заберет с собой). Ни тот ни другой не видят ее гибельной любви и гибельной печали.

Катерина Полины Шипулиной, собственно, и держит весь спектакль.

Чистота против фальши, порыв против обыденности, власть любви против равнодушия — все так, все читается в спектакле краснодарцев, но до христианской драмы, *все разрешающей*, спектакль не дотягивает. И я не ставлю это в вину режиссеру. «Как я буду мыслить, верить и чувствовать, а вместе с тем, по свойству художества, заставлять мыслить, верить и чувствовать других — иначе, нежели я сам мыслю, верю и чувствую?» — спрашивал (и одновременно обнажал «свойства художества») Аполлон Григорьев. Личный художественный мир режиссера, ясный для него, для каждого другого есть проблема, «предмет познания» и область понимания. А для режиссера, таким же образом, является «предметом познания» мир Островского. Значит, войти во внутренний мир Островского режиссер может только через то, что *для него самого не является чужим и находится уже в его собственном внутреннем мире*. Поэтому и я, как критик, могу только видеть разницу этих миров, но совсем не призываю режиссера Д. Безносова казаться не тем, кем он является, и ставить христианскую драму, не входя в дух веры. И все же я не теряю надежды, что настанет день, взойдет заря и на обломках атеизма и постнигилизма вырастет режиссер-христианин, держащий крепко в руках профессию и обладающий одновременно художественным талантом. Что-то в эту сторону сдвигается в современном театре. Вот ведь и «Король Лир» Дениса Бокурадзе («Грань», Новокуйбышевск) и «Преступление и наказание» Аттилы Виднянского в Александринке продвигают нас в этом христианском направлении (правда, тут уже новый игрок появляется — критика, от способности которой читать — или не читать, что очевиднее, — эти смыслы зависит новое концептуальное движение в театре).

Любовь в спектакле краснодарского театра всех калечит. Кабаниха Светланы Кухарь (актриса оспаривает принятую грузность и грубость своей героини) так залюбила своего сына, что унижает его, женатого (не понимая всей неуместности и нелепости такой любви). Унижает приказами садиться к ней на колени и прочими «физическими действиями», вызывающими у него уже не «скрежет зубов», а попросту апатию. Потому и бунта против маменьки у Тихона (Александр Теханович) не случится в финале — а только тупое бессилие. В алкоголе «спасается». И артист выдержал тут свою роль: ежедневное тупое «непротивление»

сыграл на «трех струнах», незамысловато, как и требовалось. Любовь Варвары (Евгении Стрельцовой) и Кудряша (Александра Киселева) — бесшабашная, заведенная, возможно, «от скуки», но вполне себе молодая и животно-безотчетная (началом любовной игры становится «ржание» — прием, нередко встречающийся нынче, модный, но тут вполне годящийся — так прежде кричали чайками наши актрисы в спектаклях). Да и вряд ли Тихон бросится искать утешение у девки Глаши после смерти жены — снова любовь выходит пустой. Такая «любовь» не разгоняет тьму, она не довлеет — она пугает и запугивает, она становится зловещей. Эта «любовь» не знает о первой заповеди, а потому и не свободна — она не сильнее горя Катерины и обиденных дрызг Калинова.

Катерина ведь тоже не выдержала своей страсти.

В финальный круг поставит на помосте-причале режиссер всех обывателей Калинова, всех героев спектакля, а в центр круга поместит погибшую Катерину. Помост станет погостом. Это все они, все виноваты в том, что погибла жизнь в лучшей, в светлой, в такой подлинной, но и в такой ожегшейся своей страстью героине. Живое — всегда с недостатками, это смерть разглаживает все морщины...

Для меня «Гроза» — религиозная драма, и без такого ее понимания никогда (и ни в какой концепции) концы с концами не сойдутся. Только с христианской точки зрения становятся понятны и фрески Страшного суда, и безумная Барыня, пифически обещающая омут за красоту-то («Ха-ха-ха! Красота! А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь погибель наша! Себя погубишь, людей соблазнишь, вот тогда и радуйся красоте-то своей. Много, много народу в грех введешь! Куда прячешься, глупая? От Бога-то не уйдешь! Все в огне гореть будете в неугасимом!»). Тогда и гроза будет не просто эффектным театральным-атмосферным явлением, а грозной метафорой Суда Божия — ведь не случайно именно так — «Гроза», а не «Катерина» — назвал замоскворецкий житель (буквально окруженный благочестивым купечеством) свою драму.

Апофеоз

Александра Николаевича Островского все чаще стали называть «русским Шекспиром». Не думаю, что это делает ему честь. Во-первых, зачем русского драматурга мерить не своей меркой, а европейской? Вряд ли европейцу как раз понятна поэтика и поэзия театра Островского (помимо социальности, которая, безусловно, усваивается проще).

Культ Шекспира регулярно возникал в европейской культуре. Шекспир — великий драматург. «Русский Шекспир» — тема вообще отдельная и законная, как и «русский Гамлет». Кто не помнит знаменитые слова А. С. Пушкина: «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив»? Кто не знает, что в поздний период абстрактного человеколюбия (непротивления злу) Л. Н. Толстой пишет статью «О Шекспире и о драме» (1903—1904), в которой буквально сбрасывает английского драматурга с мирового культурного пьедестала?

Конечно, наш Островский более «домашний». Культура трагического (как взглядывание в бездну, стояние у черты) у Островского отсутствует. Пушкин, например, знал этот ужас трагического и вечность эпического (Пушкин, как известно, состязался только с одним поэтом — Гомером: «...божественный Омир, ты, тридцати веков кумир!»).

Власть жизни у Шекспира и Островского принципиально различна.

Русская жизнь в пьесах Островского имеет, безусловно, свое плодovitое зерно, до сих пор дающее всходы в нашей культуре, то есть воспринимается нами как «своя», которую мы запросто узнаем, несмотря на двухвековое расстояние от времени жизни драматического писателя. Островский не всматривался в трагедию власти, но давал нам житейски-вечную историю о власти денег, о власти обряда, о власти привычек и моды. Он не писал о выдающихся личностях (и даже его хроники носят отпечаток народной срединности — не о царе, но о Минине он размышляет). «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет» — о силе зла, о силе мира, подминающего под себя человека. Герои Островского — не титаны, они часто совершенно не выстраивают линии своей судьбы, они не делают трагического выбора поперек истории, не задаются пограничным вопросом «Быть или не быть?».

Герои нашего национального драматурга живут в пространстве нравственного богословия, практического урока — их мир всегда человечен. Все высокое в нем всегда жизнеобразующе конкретно (связано с бытом, характером, типажом). Но, конечно, при всем при этом Островский не принадлежит сугубо обыденному сознанию как антитезе трагического. Обыденный опыт для него отнюдь не исчерпывается только тем, что содержит поверхность жизни. В драматургии А. Н. Островского много той подлинной творческой свободы, созерцательной любви к героям, которая и дает нам ощущение радости, огромной правоты драматурга в понимании русского человека.



Елена САФРОНОВА

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ДЕТЕКТИВ

О книге Аси Володиной «Протагонист»*

Тяжелый «легкий жанр»

Многие авторы считают, что описывать психологические (в том числе и психопатологические) переживания человека возвышеннее, чем вести крепкую сюжетную интригу. Просто потому, что крепкий сюжет — признак условно-развлекательного жанра, а развлекательные книги — это фи!.. Многие авторы умеют (или думают, что умеют) описывать различную «психоделику» лучше, чем строить крепкий действенный сюжет с увлекательной интригой. Думаю, это закономерность самого бытового толка. Изливать душу значительно проще, чем придумывать фабулу. О своих «болячках» каждый из нас горазд потолковать и в беседе с друзьями, и в соцсети. Тогда как забыть о своих болях, абстрагироваться от обстоятельств собственной жизни, чтобы написать совершенно чуждую оным обстоятельствам интересную историю — это качественно иной уровень профессионализма.

Я не раз отмечала, что считаю высшим пилотажем историко-приключенческий роман Роберта Штильмарка «Наследник из Калькутты». Штильмарк начал писать его в сталинском исправительно-трудовом лагере в обмен на освобождение от общих работ. Впрочем, это пример из серии экстремальных, каких много по определению быть не может. Но и относительно других книг развлекательного характера, рожденных не в такой трагической обстановке, с уверенностью можно сказать: легкий жанр дается немногим авторам. Может, именно поэтому те, кому он не дается, считают едва ли не своим долгом всячески принижать «масслит» и находят аргументы, почему тот — не вполне литература. Такое отношение к жанровой литературе сложилось в массовую рецепционную установку. Не говоря о том, что массе литераторов просто нравится писать про переживания.

И вот, когда сходятся воедино сразу несколько установок (что «развлекалово» — это пошло, а душевная травма — более благородно и гуманно; что лучше возвышать читателя до своего уровня, чем опускаться до его и т. д. и т. п.), рождаются такие книги, как «Протагонист» молодого автора Аси Володиной. Роман живо напомнил мне «Кто не спрятался» Яны Вагнер. Обе эти книги могли бы стать детективами, но «не захотели». Точнее, этого не пожелали их авторы.

Аналогично рассуждает критик Татьяна Веретенкова в своей рецензии на «Протагониста», вышедшей на портале «Литература»: «Но перед нами совсем

* Ася Володина. *Протагонист*. — М.: АСТ, РЕШ, 2022. — 320 с.

не детектив; следователь хотя и мелькнет пару раз где-то на третьих ролях, но причин самоубийства студента философского факультета престижной Академии... Никиты Буянова так и не озвучит. “Загадочная смерть”... к последним страницам не станет менее загадочной, и “Протагониста” следует считать, скорее, романом психологическим и так называемым университетским». Веретенова отмечает еще один возможный литературный прототип «Протагониста» — пьесу Дмитрия Данилова 2018 года «Свидетельские показания». Рецензент добросовестно фиксирует сходства и различия этих двух произведений. Похожих черт две: «техника» самоубийства главного героя посредством выхода в окно и текстуальные аналогии. Пьеса Данилова тоже «представляет собой последовательность монологов знавших погибшего людей (безымянных, обозначена лишь их гендерная принадлежность — М/Ж)». Отличие же существенно и проходит, как ни странно, по линии «жанровости». Хотя Данилова никто детективщиком не считает, «...герои этой пьесы в ответ на вопросы невидимого следователя стараются говорить именно о погибшем, не перескакивая на свои личные истории, но при этом дистанцируются от него насколько возможно, а в финале звучит рефреном: “Я ничего не могу о нем сказать”». По мнению коллеги, в «Протагонисте» читатель сам «оказывается... в роли если не судьи, то присяжного заседателя». Он волен сделать собственные предположения о криминалистической стороне драмы Никиты Буянова, которой, как справедливо подмечено, в романе исчезающее мало.

Веретенова как раз подчеркивает достоинства книги Володиной. Например, хвалит слог романа, его «психологическую и языковую достоверность», выделяя «вскрытие калечащих моделей поведения», в том числе с детьми, и даже называет автора перфекционисткой за изящное построение повествования. Реакция Веретеновой означает, что у «Протагониста» уже нашлись «свои» читатели, принимающие уход из руслу остросюжетного повествования в бескрайность «психологии». Все это по отдельности подмечаю и я, однако оцениваю иначе.

Имитация трагедии

В моем прочтении, роман о том, как студент престижнейшей Академии совершил суицид, оставив предсмертную записку, напрямую обвиняющую преподавательницу немецкого Ирину Олевскую, мог бы стать неплохим детективом. Однако вместо того он стал подражанием греческой трагедии, где Хор ведет повествование, а актеры меняют маски.

Важное для понимания сути книги уточнение прячется в начале, в монологе декана философского факультета Василия Евгеньевича Аникеева. Автор рисует его человеком настолько не от мира сего, что пожилой ученый даже в мысленном разговоре с самим собой то и дело привычно переходит на латынь и цитирует античных мудрецов, — хотя именно этот монолог представляет Аникеева приспособленцем и карьеристом. Именно Аникеев рассказывает непосвященным, что в древнегреческом представлении было не более трех актеров. Они меняли маски, играя не собою, а этими самыми масками. Нетрудно понять, что фактически древнегреческие артисты ничего не чувствовали и не переживали на сцене! Потому когда каждая из масок-рассказчиков («Бледная, с взъерошенными волосами», «Безбородый», «Бледный», «Менее бледный», «Девочка», «Кожаная», «Молодая женщина» и сразу две «Остриженные девы») приступает



к изложению своего видения рокового поступка Никиты Буянова и не удерживается в рамках темы, а переходит на себя, любимую, и начинает излагать все свои страдания и комплексы, то... Гибнет сюжетная линия романа — раз. Маски ничего на деле не переживают — два. Согласно декларированному принципу построения древнегреческой трагедии, эмоции передаются личинами, которые меняют артисты. А уж то, что оный принцип имеет значение для книги «Протагонист», несомненно. Тут все проникнуто греческим духом. Даже части повествования названы словами греческого происхождения: агон (состяжание, а также бог — его символ и покровитель), коммос (общий скорбный плач актеров и хора), эпилог. Текст являет собою целую копилку исповедей, постоянно уводящих весьма далеко от кончины студента. Ведь каждую маску волнует не разбившийся Никита, а она сама. При этом выкладываемый автором набор детских травм, сложностей с родительским гнетом, непониманием близких, собственным несовершенством и его осознанием и прочей психопатологией выглядит не исповедями, а имитацией. Причем линия имитации выстроена чрезвычайно логично. Должно быть, еще и потому, что все надевают трагические маски, а не переживают даже собственные душевные травмы. Почти все деяния, совершенные актерами-рассказчиками, в коммесе, подытоживающем книгу, кажутся психологически неубедительными, не объясненными и необъяснимыми. Даже самый, казалось бы, благородный жест сестры Никиты Ники (он как гром среди ясного неба грянет в конце романа, в ходе общения Ники с Ириной Олевской, которую сделали «стрелочником»). Не хочу гуманный поступок Ники описывать, а то неинтересно будет читать тем, кто еще только подбирается к этой книге. Но без одного обращения к тексту не обойтись. По мне, суть и соль романа выражена устами злополучной Олевской, пострадавшей от выходки студента не меньше, чем его кровные родственники. В итоге ее «попросили» из Академии и она полностью деморализована в финальном разговоре с сестрой погибшего Вероникой.

«Нет никаких нормальных семей. И людей нормальных нет. Каждый человек искалечен сам по себе. Семья может как подлечить, так и докалечить. Берегите себя, Вероника», — «завещает» девушке бывшая преподавательница. Думаю, что это позиция не столько литературного персонажа, сколько самого автора. Опасаюсь, что лишь ради этих слов вся книга и писалась.

Какая боль!..

Для чего автору такой художественный прием, как дотошное изложение масками своих душевных травм, которые сами по себе не более чем маски? По прочтении «Протагониста» мне представился один ответ на этот вопрос, навеянный строками современной художественной прозы. Мне показалось, тут надо ставить вопрос не «зачем/для чего?», а «почему/отчего?». Оттого, что «большая литература» сегодня упорно производит себя от слова «боль» и приверженность оной активно муссирует. Об этой тенденции я уже сетовала в статье «Катамаран современной русской прозы» (см. журнал «Традиция & Авангард», № 5 за 2019 год) и в некоторых других. Но потом нашла и другой вариант ответа в формате «почему?», а не «зачем?». На него меня навело интервью Аси Володиной для ресурса «Прочтение».

Напомню — Ася Володина родилась в 1991 году в Крыму, окончила МГУ им. Ломоносова, в настоящее время живет в Москве, преподает в университете

и имеет степень кандидата филологических наук. Литературная известность к автору пришла в 2020 году. Тогда рукопись ее романа «Часть картины» вышла в финал премии «Лицей» и попала в длинный список премии интеллектуальной литературы им. А. Зиновьева. «Протагонист» был написан раньше, но издан во вторую очередь. Впрочем, как отмечали рецензенты, обе книги увидели свет почти синхронно. По мнению критика Елены Васильевой, оба романа Володиной можно рассматривать как диалогию. Писательница в интервью Полине Бояркиной с этим согласилась: «Без “Части картины” не было бы “Протагониста”, но и такой “Части картины”, какой она получилась после всех редактур, тоже бы не случилось без моего опыта работы со вторым текстом». Для меня не так важны отсылки к книге «Часть картины», которую я не читала, как другие признания Володиной в этом интервью. Так, она говорит, что в центре обеих книг поставила проблемы с образовательными институциями. Это мир, в котором она «варилась» так долго, что сейчас испытывает дискомфорт и пытается оттуда уйти. В этом контексте очень показателен следующий фрагмент интервью:

«— О чем бы ты никогда не стала писать?»

— Запретных тем для меня, пожалуй, нет, но есть сложные формы, с которыми я не умею работать. Например, я не представляю, как работают полнокровные фэнтезийные миры со своими законами. Или мне довольно сложно представить, как писать исторические романы — в силу того, что я не умею писать не с условной природы».

Как по мне, так автор написала книгу «с условной природы», вплетя в нее не только характерные травмы нынешнего российского социума, но и собственные душевные метания. Возможно, «Протагонист» отражает не следование мейнстриму современной российской прозы, а всего лишь желание писательницы «выговориться». В конце концов, каждый автор имеет на это право. Потому у нас сейчас в тренде автофикшн — смесь автобиографии и художественной прозы, в которой реальные события и факты переплетаются с авторским вымыслом...

В чем я действительно согласна с Веретеновой, так это в том, что стиль для книги выбран удачно. Несмотря на тяжелое содержание, она читается легко и быстро. Предполагаю, что книга легко читается не только потому, что Володина умеет писать о травмах, но и потому, что мы уже сто раз про это читали и привыкли. Сегодня в каждой второй книге встречаются детское горе, незалеченные обиды, безразличие других людей, невозможность компенсации, бремя вины... Из-за этого читательской эмпатии не хватает относиться ко всему этому хотя бы восприимчиво.

Из всех рассказов масок эмоциональный, художественный и сюжетный смысл, способный действительно тронуть, имеет только самый большой — история маски «Кожаная», матери Никиты. Во-первых, ее судьба реально, а не выдуманно драматична. Во-вторых, эта глава проливает свет на формирование личности Никиты и хотя бы косвенно приоткрывает причины его трагического финального шага. Событийная насыщенность этой главы и есть литературность в ее хорошем смысле. Остальные главки статичны, а финальный ход — чистое конструирование. Но если можно конструировать драму, почему нельзя конструировать книгу с увлекательным детективным сюжетом?..

В текущей российской прозе избыток всевозможных травм и несоразмерно мало жанровых произведений достойного уровня. Еще одна травма ситуацию

не изменит, а один хороший психологический детектив мог бы. Он прекрасно складывался в истории «Протагониста», чуть перестрой автор оптику. Ведь она отчетливо проводит линию, что каждый отчасти виновен в гибели Никиты. В детективной фабуле просматривалось несколько вариантов. Например, юношу кто-то конкретный (а не фатум) подтолкнул к гибели или же за самоубийство выдали насильственное преступление. Найти и указать на виновника мог бы мелькавший в начале повествования в Академии следователь. Впрочем, это мог бы сделать и Хор!.. В разговорах коммоса так и напрашивался некий «луч света», состоящий вовсе не в том, что «каждый человек искалечен сам по себе» (эка невидаль!). При таком раскладе все человеческие драмы и писательские укоры в адрес системы высшего образования и науки могли бы остаться на своих местах и нести еще больший смысл. Этого не произошло. Искренне жаль конкретной книги и грустно от выстроившейся в нашей «боллитре» тенденции.



Александр ТИХОНОВ

ЛОВЕЦ ВРЕМЕНИ ВАЛЬТЕР ВИЛЬДЕ

Летом 2022 года омские тележурналисты отправились на север региона, в таежный город Тару. Им хотелось понять, в чем заключается особенность местной культуры, почему в небольшом провинциальном городе, в трехстах километрах от Омска, на протяжении многих лет вызревают самобытные яркие поэты и прозаики, живописцы и музыканты. Свой документальный фильм они назвали «Тарская культурная аномалия».

И ведь не поспоришь — в Таре аномально много творческих людей. Одни из них родились и выросли здесь, другие жили в Таре некоторое время. Однако все без исключения внесли вклад в развитие местной культуры, порой не осознавая важности соприкосновения с городом. Так, в ссылке в Таре жили декабрист, публицист, просветитель Владимир Штейнгейль, брат поэта Иннокентия Анненского Николай Анненский с супругой. Проезжал через Тару Александр Радищев. Здесь провел детство артист Михаил Ульянов, раскрылся как большой художник Николай Кальницкий, развил свой талант знаковый поэт Леонид Чашечников. Перечислять можно долго... Действительно, культурная аномалия!

Все дело в людях, неразрывно связанных с городом Тарой и ставших подвижниками культуры. Один из них — замечательный художник Вальтер Вильде. Он — пример того, как творческий человек может делать мир лучше. Созидая, распространять творческий импульс вокруг себя, заряжать собратьев творческим задором и верой в успех.

Вальтер Густавович Вильде родился 29 января 1953 года в селе Ясная Поляна Кокчетавской области Казахстана. По воспоминаниям друзей семьи, мальчик с ранних лет увлекался рисованием. Близкие поддержали начинание Вальтера. Его дед Герман, хорошо владевший техникой рисунка, стал для мальчика первым наставником на пути художника.

С годами творчество полностью захватило юношу, и к моменту окончания школы он решил, что свяжет свою судьбу с живописью. В 1975 году Вальтер Густавович окончил художественно-графический факультет Омского педагогического института. Его учителем в вузе был легендарный мастер пейзажа Алексей Николаевич Либеров, член Академии художеств СССР.

Получив диплом, молодой художник был направлен в Тару преподавателем в школу искусств. На новом месте Вильде тут же оказался в среде единомышленников, в живом культурном пространстве.

Одним из друзей Вильде стал художник Геннадий Соловьев, вместе с которым они загорелись идеей создать в Таре полноценную картинную галерею. Инициативу поддержал председатель горисполкома Борис Голубев, и работа началась.

Возглавлявшая в ту пору отдел культуры горисполкома Галина Нечаева вспоминает: «Ремонтом занималось РСУ горисполкома. Интерьером занимались все работники культуры — кто принес шторы, кто тумбочку... Символический ключ был вручен на торжественном открытии галереи 6 ноября 1987 года. Для Тары это было грандиозным событием!»

Первая выставка в стенах Тарской картинной галереи называлась «Художники — Октябрю». Посетителям были продемонстрированы полотна омских живописцев Владимира Белова, Владимира Долгушина, Алексея Либерова и ряда других. Рядом с работами омичей выставлялись картины тарских художников Геннадия Соловьева и Вальтера Вильде.

С тех пор картинная галерея стала местом притяжения любителей живописи, привлекая их яркими экспозициями местных авторов, художников из Омска и иных регионов России, совместными проектами с музеями Омска. Творческие успехи тарских живописцев неизменно сопровождались представлением их работ в картинной галерее.

Со временем о тарских художниках заговорили и за пределами города. Уже в 1988 году преподаватели Тарской школы искусств Светлана Борисюк, Вальтер Вильде, Ирина Рассомахина, Нина Каргаполова и Геннадий Соловьев приняли участие в выставке в омском Доме художников. В 1989 году в Тарской картинной галерее состоялась персональная выставка Вальтера Вильде.

О своем приезде в город и истории создания картины «Древняя Тара» Вальтер Густавович вспоминает: «Я приехал в Тару в середине августа 1975 года. Меня манила история этого города и таинство тайги. В моей фантазии уже создавались будущие полотна. Образ древнего сибирского города вырисовывался и намечался еще в Омске. Так рождалась моя картина “Древняя Тара”. В Омске на выставке приняли картину со смешанными чувствами. Наиболее точно выразился Станислав Кондратьевич Белов: “Эта картина — как белая ворона среди ворон”. Омский художник-шестидесятник Геннадий Арсеньевич Штабнов назидательно назвал меня славянофилом. Мистика и таинство прошедших столетий не увязывались с партийностью в искусстве того времени. Новизна подхода к истории прошлого пугала тех, кто определял, что можно, а что нельзя. С позиции времени могу утверждать, что для меня создание картины вне времени было большой удачей. Как говорят на Западе — *zeitlos*»*.

Поработав некоторое время завучем школы искусств, Вильде был назначен руководителем отдела культуры горисполкома. О том, как работа на ответственной руководящей должности сказывалась на творческом процессе, Вильде пишет: «По долгу службы много времени проводил в дороге от одного села до другого. Сколько счастливых моментов пережил от встреч с людьми, от красот сибирской тайги, от белоснежных русских берез, от речных заводей и могучего Иртыша! Встречи в Литковке с заведующей Дома культуры Т. Л. Вольтер,

* *Zeitlos* — вечный, лишенный отпечатка времени (нем.).





в Опытно-производственном хозяйстве им. Фрунзе с талантливой и преданной своему делу семьей Гуляевых, односельчанами всегда давали заряд позитива. Не случайно спустя столько лет рука с кистью тянется создать сибирский пейзаж с дымами, снегом, с “горящей” разными цветами осенью, с переливами весенних красок, с цветочными и ягодными полянами, с рыбаками на берегу Иртыша или Фрунзенского озера».

Для музыкантов и художников, артистов театра и писателей Вильде старался сделать все возможное, чтобы помочь, поддержать. Творческий человек даже на административной должности способен преобразовать культуру вокруг себя.

Одним из товарищей Вальтера Густавовича стал молодой фотохудожник, журналист Сергей Мальгавко. В ту пору о сибирском фотографе из глубинки заговорили на крупнейших фотовыставках СССР. Сергей трижды удостаивался медали ВДНХ СССР, получил Гран-при Международного конкурса фотографии соотран Восточной Европы «Ассо-фото», но своей фотостудии у него не было.

«Пришлось многое сделать, чтобы создать фотостудию под руководством Мальгавко, — вспоминает Вальтер Вильде. — Мы были близки в своих творческих поисках. Порой беседы с Сергеем продолжались до 3—4 часов ночи. В спорах о жизни, о творчестве, о житейских проблемах шел обмен мнениями о происходящем в великой стране Советов. Мы чувствовали надвигающуюся катастрофу развала Советского Союза. Удивляет другое, что уже тогда были планы о большой библиотеке, о драматическом театре, о собственной картинной галерее. Созданные в 1990-е годы черно-белые фотографии Сергея Мальгавко тоже отражают дух того времени. Это был пик творчества Сергея как фотохудожника. Параллельно формировалась удивительная поэтика этого талантливого человека».

Вильде довелось дружить с известным музыкантом, композитором Владимиром Шевелевым. О первом знакомстве с творчеством Владимира Александровича он вспоминает: «Это было в 1973 или 1974 году. Я приехал из института на квартиру, которую снимал на улице Степной у семьи Янковских. Хозяин дома сидел у радиоприемника и слушал певца с сильным голосом, напоминающим Магомаева. Я спросил: “Кто это поет?” Хозяин с видом знатока ответил: “Да это же «тарский Магомаев» — Владимир Шевелев!” Так я впервые услышал пение Владимира Александровича Шевелева, не подозревая, что дальнейшая моя жизнь будет связана не только с В. А. Шевелевым, но и с другими людьми, вносившими свою лепту в культуру города Тары».

По инициативе Вальтера Вильде в Таре был создан муниципальный музыкальный коллектив. Молодые исполнители находились в штате местного Дома культуры, в теплое время выступая на открытой танцевальной площадке города, а зимой — в здании учреждения культуры. Поскольку играли регулярно, уровень музыкантов рос от выступления к выступлению.

«Одной из задач было добиться строительства новой библиотеки. В области вроде бы не возражали, но, как всегда, все упиралось в финансирование... — вспоминал Вильде. — Я рад, что эта задача спустя 20 лет все же реализовалась».

Библиотеки всегда привлекали Вальтера Густавовича, он посещал библиотечные мероприятия, был вдумчивым читателем, особенно интересуясь книгами об истории России. Новые знания и впечатления находили отражение в его творчестве.

В 1991 году Вальтер Вильде с супругой Галиной покинули Тару и переехали в Германию. В ФРГ Вальтер Густавович 23 года проработал художником-терапевтом, проводя занятия с людьми с ограниченными физическими возможностями. В этот период он создал свою школу искусств для детей и взрослых.

Сейчас Вильде принимает участие в европейских художественных выставках. Его полотна можно встретить в музеях и частных коллекциях России, Европы и Соединенных Штатов Америки. Коллекция работ художника собрана в Тарском художественном музее, у истоков которого стоял Вальтер Густавович.

Годы спустя художник в своих воспоминаниях часто возвращается к периоду жизни в Таре. Он пишет: «Впервые в Таре увидел деревянные тротуары. Это своего рода смекалка сибирского мужика. В ряде картин они снова и снова возникают, как дань памяти тому времени. В портретной живописи появляются лица русских мужиков (портрет “Старый колхозник”), красавиц женщин (“Пионерка Таня”). Гравюра “Пейзаж с молодой мамой” — это своего рода философское изложение: древность Тары и новое молодое поколение, продолжающее жизнь, традиции и культуру этого города. Меня всегда поражали традиции и обычаи сибиряков: гадание, масленица, ряженые, сватовство. Это отразилось в работах “Гадание со свечой”, “Проводы зимы”. Наступили 1989—1990-е — годы перелома и падения. Я не мог не откликнуться на эти события — появилась картина “Падение”. Но Тара выжила благодаря своей вере, своим традициям, культуре, сохранив то, что не смогли уничтожить никакие жизненные перипетии».

Время от времени я обращаюсь к Вальтеру Густавовичу с просьбой использовать его картины для иллюстрации очерков об истории Сибири в немногочисленных исторических глянцевах (и такое бывает!) журналах. В результате на лощеных страницах появляются то «Древняя Тара», то иные линогравюры, удивительным образом отражающие связь и единство эпох. Исходит желтизной фонарей картина «Вечер в пригороде», став обложкой небольшой книжечки моих стихотворений, дымятся печи в домишках на берегу реки Аркарки — это поселилась на форзаце книги «Тара, до востребования» картина «Зимнее утро у Аркарки».

И вот уже нет расстояния между «тарской культурной аномалией», где, как прежде, дымят зимой печи частного сектора, и немецким городом Даун, где в желтом фонарном свете растворяется вечер европейского пригорода. Ни времени, ни расстояний — лишь искусство, которое цепляет в тебе невидимую струну и побуждает дышать полной грудью.

Zeitlos, Вальтер Густавович! Воистину, zeitlos!



АВТОРЫ НОМЕРА

Алексеев Владимир Николаевич родился в 1943 г. в Москве. Окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Один из организаторов отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, его руководитель с 1967 по 2010 г. Кандидат филологических наук, доцент кафедры древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета НГУ. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Новосибирске.

Астафьева Анастасия Викторовна родилась в 1975 г. в Вологде. Окончила ВЛК при Литинституте им. А. М. Горького и СПбГИКиГ по специальности «Киноведение». Член Союза российских писателей с 2000 года. Печаталась в журналах «Нева», «День и Ночь», «Искусство кино», «Юность», «Двина» и др. Автор нескольких книг, среди которых сборник рассказов «Для особого случая», в 2022 году отмеченный специальной премией литературного конкурса «Чистая книга» им. Федора Абрамова и вошедший в шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна». Живет в Костромской области.

Васюнов Максим Александрович родился в 1988 г. в Нижнем Тагиле Свердловской области. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В настоящее время обозреватель отдела культуры «Российской газеты». Кинокритик. Публиковался в журналах «Наш современник», «Дружба народов», «Знамя» и др. Автор сборника стихотворений и книги прозы. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премий им. Александра Куприна, им. Валентина Распутина, им. Василия Белова. Живет в Москве.

Кокшенёва Капитолина Антоновна родилась в г. Таре Омской области. Окончила театроведческий факультет и аспирантуру ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Литературный и театральный критик, публицист, кандидат искусствоведения, доктор филологических наук. Главный научный сотрудник Института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. Автор книг художественной критики «Раскольники и собиратели», «Революция низких смыслов», «Русская критика», «С красной строки» и других.

Кузьмина Мария Александровна родилась в Новосибирске в 1980 году. С отличием окончила гуманитарный факультет НГУ. Кандидат филологических наук. Преподавала в НГУ стилистику русского языка. С 2019 года — научный сотрудник Института филологии СО РАН. Преподает церковнославянский язык в Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского. Публикуется в различных научных изданиях и литературных сборниках. Живет в новосибирском Академгородке.

Лютый Вячеслав Дмитриевич родился в 1954 г. в Легнице (Польша). Окончил Воронежский политехнический институт, Литературный институт им. А. М. Горького. Работал радиоинженером, звукооператором театра драмы, заведующим московской редакцией журнала «Континент». В настоящее время — заместитель главного редактора журнала «Подъем». Публиковался в журналах «Подъем», «Наш современник», «Москва» и др. Автор нескольких книг о современной литературе. Лауреат ряда литературных премий. Председатель Совета по критике Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Мелёхина Наталья Михайловна родилась в Вологодской области. Окончила факультет филологии, теории и истории изобразительного искусства Вологодского государственного педагогического университета. Публиковалась в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Октябрь», «Сибирские огни», «Север» и др. Дважды лауреат Международного Волошинского конкурса, финалист Всероссийской литературной премии им. Федора Абрамова «Чистая книга» (2020) и лауреат ряда других конкурсов и премий. Автор нескольких книг прозы. Живет в Вологде.

Павловская Анна Славомировна родилась в 1977 г. в Минске. Окончила Институт журналистики и литературного творчества. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия» и др. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии журнала «Сибирские огни». Живет в Домодедове.

Поклад Юрий Александрович родился в 1954 г. в Свердловской области в семье

военнослужащего. С 1961 г. жил в г. Куйбышеве (Самара), где окончил в 1977 г. нефтяной факультет политехнического института. Работал в геолого-разведочных экспедициях глубокого бурения в Крыму и на Крайнем Севере, на нефтяных промыслах Западной Сибири. Строил морские буровые платформы в Южной Корее. Публиковался в журналах «Москва», «Юность», «Сибирские огни», «Урал», «Дон», «Аврора», «Север», «Подъем», «Подвиг», «Кольцо “А”», «Милиция», «Северные просторы», «Мир Севера» и других. Автор книги очерков и трех книг повестей и рассказов. Живет в Мытищах.

Попов Артем Васильевич родился в 1980 г. в Северодвинске. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работал корреспондентом городской газеты. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Публиковался в «Роман-газете», «Юности», «Нашем современнике», «Сибирских огнях», «Литературной России» и др. Автор трех книг прозы. Живет в Северодвинске.

Сафронова Елена Валентиновна родилась в 1973 г. в Ростове-на-Дону. Прозаик, литературный критик-публицист. Постоянный автор журналов «Знамя», «Октябрь», «Урал», «Бельские просторы», «Вопросы литературы», портала открытой критики *Рага Avis* и др. Редактор рубрик «Проза» и «Критика, публицистика» литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо “А”». Редактор информационного портала о культуре «Ревизор.ги». Лауреат ряда литературных премий в критических и прозаических номинациях. Автор ряда прозаических и литературно-критических книг, в том числе романа

«Жители ноосферы» (М.: Время, 2014). Живет в Рязани.

Тарковский Михаил Александрович родился в 1958 г. в Москве. Окончил Московский педагогический институт. Работал полевым зоологом, охотником-промысловиком. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», «Сибирские огни» и др. Автор многих книг. Лауреат литературных премий «Ясная Поляна» (2010), им. А. Дельвига (2015), им. В. Шукшина (2016) и др. Живет в Красноярске.

Тихонов Александр Александрович родился в 1990 г. в п. Большеречье Омской области. Заведующий экскурсионным отделом Исторического парка «Россия — моя история» (г. Омск). Произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Молодая гвардия», «Сибирские огни» и др. Автор нескольких романов и книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Омске.

Челноков Андрей Геннадьевич родился в 1964 г. во Фрунзе Киргизской ССР. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. Горького. Работал в ряде региональных и центральных изданий. Публиковался во многих отечественных и зарубежных СМИ. Инициировал создание и принимал участие в издании региональных вкладок в газетах «Комсомольская правда», «Труд» и «Трибуна». Избран председателем Общественной организации журналистов Новосибирской области Союза журналистов России, председателем Международной общественной организации «Евразийский союз журналистов». Живет в Новосибирске.



СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

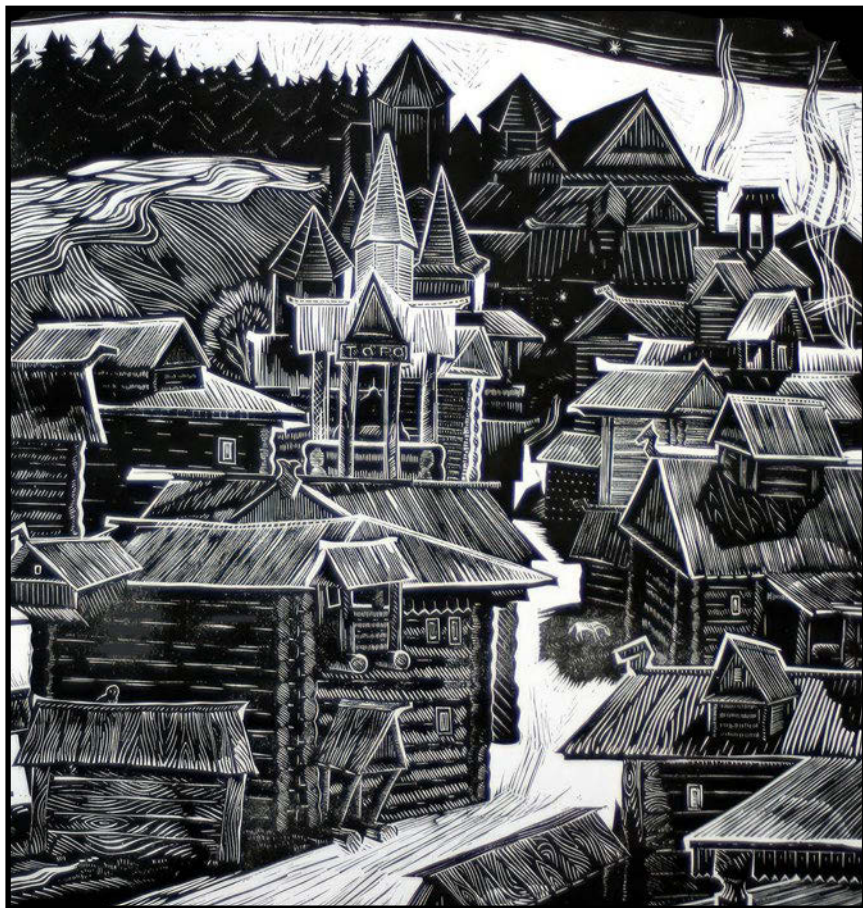
<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 21.08.2023. Дата выхода № 9 за 2023 г. в свет 21.09.2023.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 12,23. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.

Вальтер Вильде.
Древняя Тара.
1987



Вальтер Вильде. Петушинный бой. 2016

